

Юрий КАЗАКОВ

Рассказы



ImWerdenVerlag
München 2005

СОДЕРЖАНИЕ

НА ПОЛУСТАНКЕ	3
ТИХОЕ УТРО.....	6
НОЧЬ.....	13
НА ОХОТЕ	21
ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ	26
НЕКРАСИВАЯ.....	42
СТРАННИК.....	47
ТЭДДИ.....	56
НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ.....	72
АРКТУР – ГОНЧИЙ ПЁС.....	80
ОЛЕНЬИ РОГА	91
МАНЬКА.....	97
ТРАЛИ-ВАЛИ	104
В ГОРОД	112
НИ СТУКУ, НИ ГРЮКУ	118
КАБИАСЫ	125
НЕСТОР И КИР.....	131
ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ	146
«ВОН БЕЖИТ СОБАКА!»	155
АДАМ И ЕВА	161
ДВОЕ В ДЕКАБРЕ	175
НОЧЛЕГ.....	181
ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР	188
СВЕЧЕЧКА	198
ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ.....	205

НА ПОЛУСТАНКЕ

Была пасмурная холодная осень. Низкое бревенчатое здание небольшой станции почернело от дождей. Второй день дул резкий северный ветер, свистел в чердачном окне, гудел в станционном колоколе, сильно раскачивал голые сучья берез.

У сломанной коновязи, низко свесив голову, расставив оплывшие ноги, стояла лошадь. Ветер откидывал у нее хвост на сторону, шевелил гривой, сеном на телеге, дергал за поводья. Но лошадь не поднимала головы и не открывала глаз: должно быть, думала о чем-то тяжелом или дремала.

Возле телеги на чемодане сидел вихрастый рябой парень в кожаном пальто, с грубым, тяжелым и плоским лицом. Он частыми затяжками курил дешевую папиросу, сплевывал, поглаживал подбородок красной короткопалой рукой, угрюмо смотрел в землю.

Рядом с ним стояла девушка с припухшими глазами и выбившейся из-под платка прядью волос. В лице ее, бледном и усталом, не было уже ни надежды, ни желания; оно казалось холодным, равнодушным. И только в тоскующих темных глазах ее притаилось что-то болезненно-невысказанное. Она терпеливо переступала короткими ногами в грязных ботинках, старалась стать спиной к ветру, не отрываясь смотрела на белое хрящеватое ухо парня.

Со слабым шорохом катились по перрону листья, собирались в кучи, шептались тоскливо о чем-то своем, потом, разгоняемые ветром, снова крутились по сырой земле, попадали в лужи и, прижавшись к воде, затихали. Кругом было сыро и зябко...

— Вот она, жизнь-то, как повернулась, а? — заговорил вдруг парень и усмехнулся одними губами.

— Теперь мое дело — порядок! Чего мне теперь в колхозе? Дом? Дом пускай матери с сестрой достается, не жалко. Я в область явлюсь, сейчас мне тренера дадут, опять же, квартиру... Штангисты-то у нас какие? На соревнованиях был, видал: самолучшие еле на первый разряд идут. А я вон норму мастера жиманул запросто! Чуешь?

— А я как же? — тихо спросила девушка.

— Ты-то? — Парень покосился на нее, кашлянул. — Говорено было. Дай огляжусь — приеду. Мне сейчас некогда... Мне на рекорды давить надо. В Москву еще поеду, я им там дам жизни. Мне вот одного жалко: не знал я этой механики раньше. А то бы давно... Как они там живут? Тренируются... А у меня сила нутряная, ты погоди маленько, я их там всех вместе поприжму. За границу ездить буду, житуха начнет — дай бог! Н-да... А к тебе приеду... Я потом это... напишу...

Вдали послышался слабый, неясный шум поезда; унылую тишину хмурого дня прорезал тонкий тягучий гудок; дверь станции хлопнула, на перрон, прячась в воротник шинели, вышел начальник станции с заспанным лицом, в красной фуражке с темными пятнами мазута.

Он покосился на одиноких пассажиров, вытащил папиросу, помял ее в пальцах, понюхал и, посмотрев на небо, спрятал в карман. Потом, зевнув, сипло спросил:

— Какой вагон?

Парень тяжело повернул голову на короткой толстой шее, посмотрел на новые калоши начальника станции, полез за билетом.

— Девятый. А что?

— Ну-ну... — пробормотал начальник и снова зевнул. — Девятый, говоришь? Так... Девятый. А погода — сволочь. Ох-хо-хо...

Отвернулся и, обходя лужи, побрел к багажному отделению. Поезд показался из-за леса, быстро приблизился, сбавляя ход, прокричал еще раз, устало и тонко. Парень поднялся, бросил папиросу, посмотрел на девушку: та силилась улыбнуться, но губы не слушались, тряслись.

— А ну, хватит! — проворчал парень, нагибаясь за чемоданом. Слыхала? Хватит, я говорю!

Они медленно пошли по перрону навстречу поезду. Девушка жадно заглядывала парню в лицо, держалась за рукав, говорила, путаясь и торопясь:

— Ты там берегись, слишком-то не подымай... А то жила какая-нибудь лопнет... О себе подумай, не надрывайся... Я что? Я ждать буду! В газетах про тебя искать буду... Ты обо мне не мечтай. Так я это, люблю тебя, вот и плачу, думаю...

— А ну, брось! — сказал парень. — Сказано — приеду...

Мимо них, сотрясая землю, прошел паровоз, обдав их теплом и влажным паром. Потом все медленней и медленней пошли усталые вагоны: один, другой, третий...

— Вон девятый! — быстро сказала девушка. — Подождем!

Вагон мягко остановился возле них. В тамбуре толпились измятые, бледные пассажиры, с любопытством выглядывали наружу. За окном стоял толстый небритый человек в полосатой пижаме и, наморщив маленький пухлый лобик, ожесточенно дергал раму. Рама не поддавалась, и пассажир страдальчески морщился. Наконец ему удалось открыть окно, он сейчас же высунулся, оглядывая с близорукой улыбкой полустанок, увидел девушку, еще шире улыбнулся и слабо закричал:

— Девушка, это какая станция?

— Лунданка, — сипло сказал проводник.

— Базар есть? — спросил человек в пижаме, по-прежнему глядя на девушку.

— Нету базара, — опять отозвался проводник. — Две минуты стоим.

— Как же так? — изумился пассажир, все еще глядя на девушку.

— Закройте окно! — попросили из вагона капризным голосом.

Человек в пижаме обернулся, показывая пухлую спину, потом, жалко улыбаясь, закрыл окно и вдруг исчез, будто провалился.

Парень поставил чемодан на подножку вагона, повернулся к девушке.

— Ну, прощай, что ли, — тяжело проговорил он и сунул руки в карманы.

У девушки поползли по щекам слезы. Она всхлипнула, уткнулась парню в плечо.

— Скучно мне будет, — шептала она. — Пиши почаще-то... Слышишь? Пиши-и... Ведь приедешь?

— Сказано уже, — неохотно и испуганно говорил парень. — Оботри слезы-то... Ну!

— Да я ничего, — шептала девушка, задыхаясь, быстро, по-беличьи стирая слезы и влюбленно глядя в лицо парню. — Одна я остаюсь. Помни, о чем говорили-то...

— Я помню, мне что! — хмуро бормотал парень, задирая голову и поводя глазами.

— А мне... Я всю жизнь для тебя... Ты знай это!

— Сказано... — буркнул парень, равнодушно глядя себе под ноги.

Два раза надтреснуто, жидко ударил колокол.

— Гражданин, попрошу в вагон, останетесь... — сказал проводник и первым полез торопливо на площадку.

Девушка побледнела, схватилась рукою за рот.

— Вася! — закричала она и невидящим взглядом посмотрела на пассажиров: те сразу отвернулись. — Вася! Поцелуй же меня...

— Мне что... — пробормотал парень, затравленно покосился назад и нагнулся к девушке. Потом выпрямился, словно кончил тяжелую работу, вскочил на подножку. Девушка тихо ахнула, закусила прыгающую губу, закрыла лицо руками, но тотчас отняла руки...

Под вагонами зашипело, сдавленно крикнул впереди паровоз, и так же сдавленно отозвалось из леса короткое, глухое эхо. Вагоны едва уловимо тронулись. Заскрипели шпалы. Парень стоял на подножке, хмуро смотрел на девушку, потом покраснел и негромко крикнул:

— Слышь... Не приеду я больше! Слышь... Он оскалился, сильно втянул в себя воздух, сказал еще что-то непонятное, злое и, взяв с подножки чемодан, боком полез в тамбур.

Девушка сразу как-то согнулась, опустила голову... Мимо нее мелькали вагоны, глухо дышали шпалы, что-то поскрипывало, попискивало, а она пристально, не мигая, смотрела на радужное пятно мазута на рельсе, скрывавшееся на мгновение под колесами и снова показывающееся, смотрела задумчиво, робко, незаметно для себя все ближе подвигаясь к этому пятну, будто манило, притягивало оно ее. Она напрягалась, прижимала руку к нетерпимо болевшему сердцу, робкие, почти еще детские губы ее все белели...

— Берегись! — раздался вдруг дикий крик над ее головой.

Девушка вздрогнула, моргнула, радужное пятно посветлело, поскрипывание шпал и стук колес прекратились, и, подняв голову, она увидела, что последний вагон с круглым красным щитком на буфере неслышно, как по воздуху, уплывает все дальше. Тогда она подняла голову к низкому, равнодушному небу, стянула на лицо платок и завывла по-бабьи, качаясь, будто пьяная:

— Уеха-а-ал!..

Поезд быстро скрылся за ближним лесом. Стало тихо. Шаркая по земле ногами, подошел начальник станции, остановился за спиной девушки, зевнул.

— Уехал? — спросил он. — Н-да... Нынче все едут.

Помолчал, потом смачно плюнул, растер плевков ногой.

— Скоро и я уеду... — забормотал он. — На юг подамся. Тут скука, дожди... А там, на юге-то, теплынь! Эти — как их? — кипарисы...

Окинул взглядом фигуру девушки, долго смотрел на грязные ботики, спросил негромко и равнодушно:

— Вы не из «Красного маяка» будете? А? Н-да... Вон оно что... А погода-то — сволочь. Факт!

И ушел, волоча ноги, старательно обходя лужи.

Девушка долго еще стояла на пустой платформе, смотрела прямо перед собой и ничего не видела: ни темного, мокрого леса, ни тускло блестящих рельсов, ни бурой никлой травы... Видела она рябое и грубое лицо парня.

Наконец вздохнула, вытерла мокрое лицо, пошла к лошади. Отвязала лошадь, поправила шлею, перевернула сено, оскользнувшись, забралась на телегу, тронула вожжи. Лошадь подалась назад, вяло махнула хвостом, сама завернула, с трудом переставляя ноги, пошла мимо палисадника, мимо стогов сена и сложенных крест-накрест шпал к проселочной дороге.

Девушка сидела, не шевелясь, глядя поверх дуги, потом в последний раз оглянулась на полустанок и легла в телеге ничком.

ТИХОЕ УТРО

Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не доила коровы и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка.

Он сел на постели, долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок предрассветный сон, и голова валится на подушку, и глаза слипаются, но Яшка переборол себя. Спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху.

Поев молока с хлебом, Яшка взял в сених удочки и вышел на крыльцо. Деревня, будто большим пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и, казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.

Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: один громче, другой потише.

Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к сараю, где на сеновале спал его новый приятель — Володя.

Яшка заложил в рот испачканные землей пальцы и свистнул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо.

— Володька! — позвал он. — Вставай!

Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после сна, было бессмысленно и неподвижно, как у слепого, в волосы набилась сенная труха, она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу, рядом с Яшкой, он все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину.

— А не рано? — сипло спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу.

Яшка разозлился: он встал на целый час раньше, червяков накопал, удочки притащил... а если по правде говорить, то и встал-то он сегодня из-за этого... заморыша — хотел места рыбные ему показать, — и вот вместо благодарности и восхищения — «рано»!

— Для кого рано, а для кого не рано! — зло ответил он и с пренебрежением осмотрел Володю с головы до ног.

Володя выглянул на улицу, лицо его оживилось, глаза заблестели, он начал торопливо зашнуровывать ботинки. Но для Яшки вся прелесть утра была уже отравлена.

— Ты что, в ботинках пойдешь? — презрительно спросил он и посмотрел на оттопыренный палец своей босой ноги. — А галоши наденешь?

Володя промолчал, покраснел и принялся за другой ботинок.

— Ну да, — меланхолично продолжал Яшка, ставя удочки к стене, — у вас там, в Москве, небось босиком не ходят...

— Ну и что? — Володя снизу посмотрел в широкое насмешливо-злое лицо Яшки.

— Да ничего... Забежи домой — пальто возьми...

— Ну и забегу! — сквозь зубы ответил Володя и еще больше покраснел.

Яшка заскучал. Зря он связался со всем этим делом... На что уж Колька да Женька Воронковы рыбаки, а и те признают, что лучше его нет рыболова во всем колхозе. Только отведи на место да покажи — яблоками засыпят! А этот... пришел вчера, вежливый: «Пожалуйста, пожалуйста»... Дать ему по шее, что ли? Надо было связываться с этим москвичом, который, наверно, и рыбы в глаза не видал! Идет на рыбалку в ботинках!..

— А ты галстук надень, — съязвил Яшка и хрипло засмеялся. — У нас рыба обижается, когда к ней без галстука суешься.

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от рыбалки и тут же разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята молча, не глядя друг на друга, пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая всё новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... Будто скупой хозяин, он показывал все это только на минуту и потом снова плотно смыкался сзади.

Володя жестоко страдал. Он сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на Яшку и казался сам себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей неловкости, и, чтобы хоть как-нибудь заглушить это неприятное чувство, он думал, ожесточаясь: «Ладно, пусть... Пускай издевается. Они меня еще узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти! Воображалы какие!» Но в то же время он с откровенной завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю штаны и серую рубаху. Он завидовал и Яшкиному загару, и той особенной походке, при которой шевелиются плечи и лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. Проходили мимо колодца со старым, поросшим зеленью срубом.

— Стой! — сказал хмуро Яшка. — Попьем!

Он подошел к колодцу, загремел цепью и, вытащив тяжелую бадью с водой, жадно приник к ней. Пить ему не хотелось, но он считал, что лучше этой воды нигде нет, и поэтому каждый раз, проходя мимо колодца, пил ее с огромным наслаждением. Вода, переливаясь через край бадьи, плескала ему на босые ноги, он поджимал их, но все пил и пил, изредка отрываясь и шумно дыша.

— На, пей! — сказал он наконец Володе, вытирая рукавом губы.

Володе тоже не хотелось пить, но, чтобы еще больше не рассердить Яшку, он послушно припал к бадье и стал тянуть воду мелкими глоточками, пока от холода у него не заломило в затылке.

— Ну, как водичка? — самодовольно осведомился Яшка, когда Володя отошел от колодца.

— Законная! — отозвался Володя и поежился.

— Небось в Москве такой нету? — ядовито прищурился Яшка.

Володя ничего не ответил, только втянул сквозь сжатые зубы воздух и примиряюще улыбнулся.

— Ты ловил ли рыбу-то? — спросил Яшка.

— Нет... Только на Москве-реке видел, как ловят, — упавшим голосом сознался Володя и робко взглянул на Яшку.

Это признание несколько смягчило Яшку, и он, пощупав банку с червями, сказал как бы между прочим:

— Вчера наш завклубом в Плешанском бочаге сома видал...

У Володи заблестели глаза:

— Большой?

— А ты думал! Метра два... А может, и все три — в темноте не разобрать было. Наш завклубом аж перепугался, думал — крокодил. Не веришь?

— Врешь! — восторженно выдохнул Володя и подернул плечами; по его глазам было видно, что верит он всему безусловно.

Яшка изумился:

— Я вру? Хочешь, айда вечером сегодня ловить! Ну?

— А можно? — с надеждой спросил Володя, и уши его порозовели.

— А чего... — Яшка сплюнул, вытер нос рукавом. — Снасть у меня есть. Лягвы, вьюнов наловим... Выползков захватим — там голавли еще водятся — и на две зари! Ночью костер запалим... Пойдешь?

Володе стало необыкновенно весело, и он только теперь почувствовал, как хорошо выйти утром из дому. Как славно и легко дышится, как хочется побежать по этой мягкой дороге, помчаться во весь дух, подпрыгивая и взвизгивая от восторга!

Что это так странно звякнуло там, сзади? Кто это вдруг, будто ударяя раз за разом по натянутой тутой струне, ясно и мелодически прокричал в лугах? Где это было с ним? А может, и не было? Но почему же тогда так знакомо это ощущение восторга и счастья?

Что это затрещало так громко в поле? Мотоцикл? Володя вопросительно посмотрел на Яшку.

— Трактор! — ответил важно Яшка.

— Трактор? Но почему же он трещит?

— Это он заводится. Скоро заведется... Слушай. Во-во... Слыхал? Загудел! Ну, теперь пойдет... Это Федя Костылев. Всю ночь пахал с фарами, чуток поспал и опять пошел...

Володя посмотрел в ту сторону, откуда слышался гул трактора, и тотчас спросил:

— Туманы у вас всегда такие?

— Не... Когда чисто, а когда — попоздней, к сентябрю поближе, — глядишь, и инеем вдарит. А вообще в туман рыба берет — успевай таскать!

— А какая у вас рыба?

— Рыба-то? Рыба всякая... И караси на плесах есть, щука, ну, потом, эти... окунь, плотва, лещ... Еще линь. Знаешь линя? Как поросенок. То-олстый! Я сам первый раз поймал — рот разинул.

— А много можно поймать?

— Гм!.. Всяко бывает. Другой раз кило пять, а другой раз так только... кошке.

— Что это свистит? — Володя остановился, поднял голову.

— Это? Это ути летят... Чирочки.

— Ага! Знаю... А это что?

— Дрозды звенят. На рябину прилетели к тете Насте в огород. Ты дроздов-то ловил когда?

— Никогда не ловил.

— У Мишки Каюённка сетка есть... Вот погоди, пойдем ловить. Они, дрозды-то, жаднющие. По полям стаями летают, червяков из-под трактора берут. Ты сетку растяни, рябины набросай, затаись и жди. Как налетят, так сразу штук пять под сетку полезут... Потешные они; не все, правда, но есть толковые... У меня один всю зиму жил, так по-всякому умел: и как паровоз, и как пила...

Деревня скоро осталась позади. Бесконечно потянулся низкорослый овес, впереди еле проглядывала темная полоса леса.

— Долго еще идти? — спрашивал Володя.

— Скоро... Вот рядом. Пошли ходчее, — каждый раз отвечал Яшка.

Вышли на бугор, свернули вправо, ложиной спустились вниз, прошли тропкой через льняное поле, и тут совсем неожиданно перед ними открылась река.

Она была небольшая, густо поросла ракитником, ветлой по берегам, ясно звенела на перекатах и часто разливалась глубокими, мрачными омутами.

Солнце наконец взошло; тонко заржала в дугах лошадь, и как-то необыкновенно быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на елках и кустах, а туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла.

В омутах раздавались редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась.

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: «Здесь!» — и стал спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его ног, и тотчас же, невидимые, закричали утки, заплескали крыльями, взлетели и потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя облизнул пересохшие губы и прыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной и тиной, вода была черная, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то что верхушки их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было сыро, угрюмо и холодно.

— Тут знаешь глубина какая? — Яшка округлил глаза. — Тут и дна нету...

Володя немного отодвинулся от воды и вздрогнул, когда у противоположного берега гулко ударила рыба.

— В этом бочаге у нас никто не купается...

— Почему? — слабым голосом спросил Володя.

— Засасывает... Как ноги опустил вниз, так всё... Вода — как лед и вниз утягивает.

Мишка Каюнёнок говорил — там осьминоги на дне лежат.

— Осьминоги только... в море, — неуверенно сказал Володя и еще отодвинулся.

— «В море»!.. Сам знаю! А Мишка видал! Пошел на рыбалку, идет мимо, глядит — из воды щуп и вот по берегу шарит... Ну? Мишка аж до самой деревни бег! Хотя, наверно, он врет, я его знаю, — несколько неожиданно заключил Яшка и стал разматывать удочки.

Володя приободрился, а Яшка, уже забыв про осьминогов, нетерпеливо поглядывал на воду, и каждый раз, когда шумно всплескивала рыба, лицо его принимало напряженно-страдальческое выражение.

Размотав удочки, он передал одну из них Володе, отсыпал ему в спичечную коробку червей и глазами показал место, где ловить.

Закинув насадку, Яшка, не выпуская из рук удилица, нетерпеливо уставился на поплавок. Почти сейчас же закинул свою насадку и Володя, но зацепил при этом удилицем за ветлу. Яшка страшно взглянул на Володю, выругался шепотом, а когда перевел взгляд опять на поплавок, то вместо него увидел только легкие расходящиеся круги. Яшка тотчас с силой подсек, плавно повел рукой вправо, с наслаждением почувствовал, как в глубине упруго заходила рыба, но напряжение лески вдруг ослабло, и из воды, чмокнув, выскочил пустой крючок. Яшка задрожал от ярости.

— Ушла, а? Ушла... — пришепetyвал он, надевая мокрыми руками нового червя на крючок.

Снова забросил насадку и снова, не выпуская из рук удилица, неотрывно смотрел на поплавок, ожидая поклевки. Но поклевки не было, и даже всплесков не стало

слышно. Рука у Яшки скоро устала, и он осторожно воткнул удилище в мягкий берег. Володя посмотрел на Яшку и тоже воткнул свое удилище.

Солнце, поднимаясь все выше, заглянуло наконец и в этот мрачный омут. Вода сразу ослепительно засверкала, и загорелись капли росы на листьях, на траве и на цветах. Володя, жмурясь, посмотрел на свой поплавок, потом оглянулся и неуверенно спросил:

— А что, может рыба в другой бочаг уйти?

— Ясное дело! — злобно ответил Яшка. — Та сорвалась и всех распугала. А здоровая, верно, была... Я как дернул, так у меня руку сразу вниз потащило! Может, на кило потянуло бы.

Яшке немного стыдно было, что он упустил рыбу, но, как часто бывает, вину свою он склонен был приписать Володе. «Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит раскорякой... Один ловишь или с настоящим рыбаком — только успевай таскать...» Он хотел чем-нибудь уколоть Володю, но вдруг схватился за удочку: поплавок чуть шевельнулся. Напрягаясь, будто дерево с корнем вырывая, он медленно вытащил удочку из земли и, держа ее на весу, чуть приподнял вверх. Поплавок снова качнулся, лег набок, чуть подержался в таком положении и опять выпрямился. Яшка перевел дыхание, скосил глаза и увидел, как Володя, побледнев, медленно приподнимается. Яшке стало жарко, пот мелкими капельками выступил у него на носу и верхней губе. Поплавок опять вздрогнул, пошел в сторону, погрузился наполовину и наконец исчез, оставив после себя едва заметный завиток воды. Яшка, как и в прошлый раз, мягко подсек и сразу подался вперед, стараясь выпрямить удилище. Леска с дрожащим на ней поплавком вычертила кривую. Яшка привстал, перехватил удочку другой рукой и, чувствуя сильные и частые рывки, опять плавно повел руками вправо. Володя подскочил к Яшке и, блестя отчаянными круглыми глазами, закричал тонким голосом:

— Давай, давай, дава-ай!..

— Уйди! — просипел Яшка, пятясь, часто переступая ногами.

На мгновение рыба вырвалась из воды, показала свой сверкающий широкий бок, туго ударила хвостом, подняла фонтан розовых брызг и опять ринулась в холодную глубину. Но Яшка, оперев комель удилища в живот, все пятился и кричал:

— Врешь, не уйде-ошь!..

Наконец он подвел упирающуюся рыбу к берегу, рывком выбросил ее на траву и сейчас же упал на нее животом. У Володи пересохло горло, сердце неистово колотилось...

— Что у тебя? — присев на корточки, спрашивал он. — Покажи, что у тебя?

— Ле-ещ! — с упоением выговорил Яшка.

Он осторожно вытащил из-под живота большого холодного леща, повернул к Володе свое счастливое широкое лицо, сипло засмеялся было, но улыбка его внезапно пропала, глаза испуганно уставились на что-то за спиной Володи, он съежился, ахнул:

— Удочка-то... Глянь-ка!

Володя обернулся и увидел, что его удочка, отвалив ком земли, медленно сползает в воду и что-то сильно дергает леску. Он вскочил, споткнулся и, на коленях подтянувшись к удочке, успел схватить ее. Удилище сильно согнулось. Володя повернул к Яшке круглое бледное лицо...

— Держи! — крикнул Яшка.

Но в этот момент земля под ногами у Володи зашевелилась, подалась, он потерял равновесие, выпустил удочку, нелепо, будто ловя мяч, всплеснул руками, звонко крикнул: «Ааа!..» — и упал в воду.

— Дурак! — сипло закричал Яшка, злобно и страдальчески искривив лицо. — Недотепа чертова!.. Рыбу распуга-ал...

Он вскочил, схватил ком земли с травой, готовясь швырнуть в лицо Володе, как только он вынырнет. Но, взглянув на воду, он замер, и у него появилось то томительное чувство, которое испытываешь во сне, когда вялое тело не подчиняется сознанию: Володя в трех метрах от берега бил, шлепал по воде руками, запрокидывал к небу белое лицо с выпученными глазами, захлебывался и, окунаясь в воду, все силился что-то крикнуть, но в горле у него клокотало, и получалось: «Уаа... Уа...»

«Тонет! — с ужасом подумал Яшка. — Утягивает!» Бросил комок земли, которым хотел ударить Володю, и, вытирая липкую руку о штаны, не отрывая глаз от него и чувствуя слабость в ногах, попятился вверх, прочь от воды. На ум ему сразу пришел рассказ Мишки о громадных осьминогах на дне бочага, в груди и животе стало холодно от ужаса: он понял, что Володю схватил осьминог... Земля сыпалась у него из-под ног, он упирался трясущимися руками и, совсем как во сне, неповоротливо и тяжело лез вверх.

Наконец, подгоняемый страшными звуками, которые издавал Володя, Яшка выскочил на луг и кинулся к деревне, но, не пробежав и десяти шагов, остановился, будто споткнувшись, чувствуя, что убежать никак нельзя. Поблизости не было никого, и некому было крикнуть о помощи... Яшка судорожно шарил в карманах и в сумке в поисках хоть какой-нибудь бечевки и, не найдя ничего, бледный, стал подкрадываться к бочагу. Подойдя к обрыву, он заглянул вниз, ожидая увидеть страшное и в то же время надеясь, что все как-то обошлось, и опять увидел Володю. Володя теперь уже не бился, он почти весь скрылся под водой, только макушка с торчащими волосами была еще видна... Она скрывалась и опять показывалась, скрывалась и показывалась... Яшка, не отрывая взгляда от этой макушки, начал расстегивать штаны, потом вскрикнул и скатился вниз. Высвободившись из штанов, он, как был, в рубашке и с сумкой через плечо, прыгнул в воду, в два взмаха подплыл к Володе, схватил его за руку.

Володя сразу же вцепился в Яшку, быстро-быстро стал перебирать руками, цепляясь за рубашку и сумку, наваливаясь на него, по-прежнему выдавливая из себя нечеловеческие, страшные звуки: «Уаа... Уааа...» Вода хлынула Яшке в рот. Чувствуя у себя на шее мертвую хватку, он попытался выставить из воды свое лицо, но Володя, дрожа мелкой дрожью, все карабкался на него, наваливался всей тяжестью, старался влезть на плечи. Яшка захлебнулся, закашлялся, задыхаясь, глотая воду, и тогда дикий, небывалый ужас охватил его, в глазах с ослепительной силой вспыхнули красные и желтые круги. Он понял, что Володя утопит его, что пришла его смерть, дернулся из последних сил, забарахтался, закричал так же нечеловечески страшно, как кричал Володя минуту назад, ударил Володю ногой в живот, вынырнул и сквозь бегущую с волос воду увидел яркий сплюснутый шар солнца. Чувствуя еще на себе тяжесть Володи, он оторвал, сбросил его с себя, замолотил по воде руками и ногами и, поднимая буруны пены, в ужасе бросился к берегу.

И только ухватившись рукой за прибрежную осоку, он опомнился и посмотрел назад. Взбаламученная вода в омуте успокаивалась, и никого уже не было на ее поверхности. Из глубины весело выскочило несколько пузырьков воздуха, и у Яшки застучали зубы.

Он оглянулся: ярко светило солнце, и листья кустов и ветлы блестели, радужно светила паутина между цветами, и трясогузка сидела вверху, на бревне, покачивала хвостом и блестящим глазом смотрела на Яшку, и всё было так же, как и всегда, все дышало покоем и тишиной, и стояло над землей тихое утро, а между тем вот только сейчас, совсем недавно, случилось небывалое — только что утонул человек, и это он, Яшка, ударил, утопил его...

Яшка моргнул, отпустил осоку, повел плечами под мокрой рубашкой, глубоко, с перерывами вдохнул воздух и нырнул. Открыв под водой глаза, он не мог сначала ни-

чего разобратъ: кругом дрожали неясные желтоватые и зеленоватые блики и какие-то травы, освещенные солнцем. Но свет солнца не проникал туда, в глубину... Яшка опустился еще ниже, проплыл немного, задевая руками и лицом за травы, и тут увидел Володю. Володя держался на боку, одна нога его запуталась в траве, а сам он медленно поворачивался, покачиваясь, подставляя солнечному свету круглое бледное лицо и шевеля левой рукой, словно пробуя на ощупь воду. Яшке показалось, что Володя притворяется и нарочно покачивает рукой, что он следит за ним, чтобы схватить, как только он дотронется до него.

Чувствуя, что сейчас задохнется, Яшка рванулся к Володе, схватил его за руку, зажмурился, торопливо дернул тело Володи вверх и удивился, как легко и послушно Володя последовал за ним. Вынырнув, он жадно задышал, и теперь ему ничего не нужно и не важно было, кроме как дышать и чувствовать, как грудь раз за разом наполняется удивительно чистым и сладким воздухом.

Не выпуская Володиной рубашки, он стал подталкивать его к берегу. Плыть было тяжело. Почувствовав дно под ногами, Яшка положил Володю грудью на берег, лицом в траву, тяжело вылез сам и вытащил Володю. Он вздрагивал, касаясь холодного тела, глядя на мертвое, неподвижное лицо, торопился и чувствовал себя таким усталым, таким несчастным...

Перевернув Володю на спину, он стал разводить его руки, давить на живот, дуть в нос. Он запыхался и ослабел, а Володя был все такой же белый и холодный. «Помер?» — с испугом подумал Яшка, и ему стало очень страшно. Убежать бы куда-нибудь, спрятаться, чтобы только не видеть этого равнодушного, холодного лица!

Яшка всхлипнул от ужаса, вскочил, схватил Володю за ноги, вытянул, насколько хватило сил, вверх и, побагровев от натуги, начал трясти. Голова Володи билась по земле, волосы свалились от грязи. И в тот самый момент, когда Яшка, окончательно обессилив и упав духом, хотел бросить все и бежать куда глаза глядят, — в этот самый момент изо рта Володи хлынула вода, он застонал, и судорога прошла по его телу. Яшка выпустил Володины ноги, закрыл глаза и сел на землю.

Володя оперся слабыми руками, привстал, точно собираясь немедленно куда-то бежать, но снова повалился, снова зашелся судорожным кашлем, брызгаясь водой и корчась на сырой траве.

Яшка отполз в сторону и расслабленно смотрел на Володю. Никого сейчас не любил он больше Володи, ничто на свете не было ему милее этого бледного, испуганного и страдающего лица. Робкая, влюбленная улыбка светилась в глазах Яшки, с нежностью смотрел он на Володю и бессмысленно спрашивал:

— Ну как? А? Ну как?..

Володя немного оправился, вытер рукой лицо, взглянул на воду и незнакомым, хриплым голосом с заметным усилием, заикаясь, выговорил:

— Как я... то-нул...

Тогда Яшка вдруг сморщился, зажмурился, из глаз у него брызнули слезы, и он заревел, заревел горько, безутешно, сотрясаясь всем телом, задыхаясь и стыдясь своих слез. Плакал он от радости, от пережитого страха, от того, что все хорошо кончилось, что Мишка Каюнёнок врал и никаких осьминогов в этом бочаге нет...

Глаза Володи потемнели, рот приоткрылся, с испугом и недоумением смотрел он на Яшку.

— Ты... что? — выдавил он из себя.

— Да-а... — выговорил Яшка, что есть силы стараясь не плакать и вытирая глаза штанами, — ты уто-о-уто-пать... а мне тебя спа-а... спаса-а-ать...

И он заревел еще отчаянней и громче.

Володя заморгал, покривился, посмотрел опять на воду, сердце его дрогнуло, он все вспомнил...

— Ка... как я тону-ул!.. — будто удивляясь, сказал он и тоже заплакал, дергая худыми плечами, беспомощно опустив голову и отворачиваясь от своего спасителя.

Вода в омуте давно успокоилась, рыба с Володиной удочки сорвалась, удочка прибилась к берегу... Светило солнце, пылали кусты, обрызганные росой, и только вода в омуте оставалась все такой же черной.

Воздух нагрелся, и горизонт дрожал в его теплых струях. Издали, с полей, с другой стороны реки, вместе с порывами теплого ветра летели запахи сена и сладкого клевера. Запахи эти, смешиваясь с более дальними, но острыми запахами леса, и этот легкий теплый ветер были похожи на дыхание проснувшейся земли, радующейся новому светлому дню.

1954

НОЧЬ

Мне нужно было попасть на утинное озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте.

Я шел по мягкой пыльной дороге, спускался в овраги, поднимался на пригорки, проходил реденькие сосновые борки с застоявшимся запахом смолы и земляники, снова выходил в поле... Никто не догонял меня, никто не попадался навстречу — я был один в ночи.

Иногда вдоль дороги тянулась рожь. Она созрела уже, стояла недвижно, нежно светлея в темноте; склонившиеся к дороге колосья слабо касались моих сапог и рук, и прикосновения эти были похожи на молчаливую, робкую ласку. Воздух был тепел и чист; сильно мерцали звезды; пахло сеном и пылью и изредка горьковатой свежестью ночных лугов; за полями, за рекой, за лесными далями слабо полыхали зарницы.

Скоро дорога, мягкая и беззвучная, ушла в сторону, и я ступил на твердую, мозолистую тропку, суетливо вившуюся вдоль берега реки. Запахло речной сыростью, глиной, потянуло влажным холодом. Плывущие в темноте бревна изредка сталкивались, и тогда раздавался глухой слабый звук, будто кто-то тихонько стучал обухом топора по дереву. Далеко впереди, на другой стороне реки, яркой точкой горел костер; иногда он пропадал за деревьями, потом снова появлялся, и узкая, прерывистая полоска света тянулась от него по воде.

Хорошо думается в такие минуты! Вспоминается вдруг далекое и забытое, обступают тесным кругом когда-то знакомые и родные лица, мечты сладко теснят грудь, и мало-помалу начинает казаться, что все это уже было когда-то... Будто проходил уже прохладными от сырости оврагами и сухими борками, и река темнела, с плеском обрывались в нее куски подмытого берега, тихонько стучались плывущие по воде бревна, и появлялись и исчезали черные стога сена, и деревья с искривленными в немой борьбе ветвями, и зарастающие тиной озерца с черными окнами... Только никак не вспомнить, где же, когда это было, в какую счастливую пору жизни.

Я шел уже часа полтора, а до озера было еще далеко. Ночью тяжело идти: надоедает спотыкаться о корни и кротовые кучи, устаешь от боязни сбиться с дороги, заблудиться в незнакомом лесу. Я почти жалел уже, что ушел ночью из дому, и думал, не присесть ли под деревом, не подождать ли рассвета, как вдруг до меня донесся тонкий, дрожащий звук, похожий на песню. Я остановился, прислушался... Да, это была песня! Слов нельзя было разобрать, слышалось только протяжное: «Оооо... Аа-

аоо...», но я обрадовался этому голосу и на всякий случай прибавил шагу. Песня не приближалась и не удалялась, а все так же тянулась тонкой, запутанной нитью. «Кто это? — думал я. — Сплавщик? Рыбак? Охотник? А может быть, как и я, идет ночью, идет впереди меня и, чтобы не было скучно, поет песню?»

Я пошел быстрее, выдрался из елового колка, прошел осиновым подлеском и наконец внизу, в небольшом распадке, окруженном со всех сторон густым лесом, увидел костер. Возле него, подперев рукой голову, лежал человек, смотрел в огонь и негромко пел.

Спускаясь вниз, я споткнулся, громко затрещал валежником. Человек у костра замолчал, живо повернулся, вскочил и стал вглядываться в мою сторону, загоразживаясь ладонью от костра.

— Кто тут? — вполголоса испуганно спросил он.

— Охотник, — ответил я, подходя к костру. — Не бойтесь...

— А я и не боюсь. — Он сделал равнодушное лицо. — Мне что! Охотник так охотник...

Человек, на чью песню я так спешил, оказался кривоногим парнем лет шестнадцати. Он был некрасив, с худой кадыкастой шеей и большими оттопыренными ушами. Одет он был в телогрейку, замасленные ватные брюки и кирзовые сапоги. На голове, будто приклеенная, сидела маленькая кепочка с коротким козырьком.

Несколько секунд он пристально разглядывал меня, потом с видимым любопытством спросил:

— За утями идете?

— Да вот хочу на озеро пройти, — сказал я, снимая ружье.

— Это на какое же?

Я объяснил.

— Ну, тут близко! — успокоил он меня и, повернув голову к реке, прислушался. — Это не вы сейчас кричали? — спросил он немного погодя.

— Нет... А что?

— Не знаю, кричал кто-то. Крикнет, помолчит, опять крикнет... Я хотел было идти, да Лешка забоялся, брат мой...

Он снова замолчал, и я услышал частые легкие шаги. Кто-то бежал от реки сюда, к костру.

— Семен, Семен! — послышался испуганный и восторженный мальчишеский голос.

Из темноты на свет костра выскочил мальчик лет восьми в большой, не по росту, телогрейке. Увидев меня, он сразу остановился и, приоткрыв рот, стал переводить взгляд с меня на Семена.

— Ну что? — лениво спросил Семен.

— Ой, Семен! Сидит кой-то! — Мальчик снова посмотрел на меня и перевел дух. — На двух крайних нету, а на средней сидит! Я рукой взялся, а там — ходит!

— Врешь!

— Большая рыбина ходит! — И он сделал рукой волнообразное движение, показывая, как «ходит».

Семен вскочил, подтянул штаны и, пробормотав: «Я сейчас!», пропал в темноте. Мальчик некоторое время не моргая смотрел на меня, потом, не отводя от меня взгляда, ступил назад раз, ступил другой, повернулся и тоже бросился в темноту, только ноги затоптали.

Скоро я услышал странную возню, приглушенные голоса, плеск воды; затем все стихло, раздались шаги, и ребята вернулись к костру. Семен нес на вытянутой руке небольшую стерлядку. Стерлядка слабо шевелила хвостом.

Запахнув рыбу в полотняную сумку, Семен сел возле меня и, улыбнувшись, сказал:

— Вот так и ловим. Три штуки уже поймали.

— Одну я вытащил, — прошептал мальчик и, потупившись, стал теревить пуговицу на телогрейке.

— Н-но? — веско произнес Семен и зловеще замолчал.

Мальчик засопел и еще больше смутился.

— Брат мой, — отрекомендовал мне его Семен, — Лешка. Вы не глядите, что он тихий, — притворяется...

Леша пробубнил себе что-то под нос.

— Что? — Семен широко открыл глаза. — Что ты сказал?

— Ничего... — испугался Леша.

— Смотри у меня! — Семен исподлобья глянул на меня, и вдруг мгновенная озорная улыбка осветила его лицо; блеснули глаза, сверкнули зубы, даже уши сдвинулись.

Леша тоже фыркнул, но тотчас спохватился и еще ниже опустил голову. Семен полез в карман, немного помедлил, вытащил наконец измятую пачку папирос, закурил и предложил мне. Я отказался.

— Не курите, значит? — сожалеюще сказал Семен и покосился на Лешу.

Потом облокотился, сладко зевнул, поежился и замер, мечтательно глядя в огонь. Лицо его затуманилось и приняло то теплое, неопределенное и поэтическое выражение, какое бывает у людей, думающих о чем-то неясном, но очень хорошем. Костер потухал, угли, остывая, подергивались красноватым пеплом; кругом стояла глухая ночная тишина, только наверху, где-то в кустах, позванивая боталом, бродила лошадь.

Леша внезапно поднял голову и прислушался.

— Идет кой-то, — боязливо выговорил он и пересел ближе к Семену.

— Ерунда! — сказал Семен и покосился на мое ружье.

Несколько секунд прошло в безмолвии, затем явственно послышался хруст валежника. Семен загадочно посмотрел на меня и напряженно усмехнулся.

— Медведь, наверно, — прошептал Леша и еще ближе подвинулся к Семену. Глаза его с расширенными зрачками стали огромными.

— Полуношничаем, рыбаки? — неожиданно громко раздался хриловатый голос, и к костру, как-то сразу обозначившись, подошел пожилой человек с ружьем.

Не взглянув на нас, он вытянул ногу к огню и стал, огорченно побряхтывая, разглядывать оторвавшуюся подметку.

— Ах, будь ты неладна! — бормотал он. — Вот оказия, а? Ну что, угадал я? Рыбачите? — снова обратился он к нам и поднял голову. — Э-э, да тут знакомые! — Он улыбнулся ребятам. — Что же, много наловили?

Семен воровато бросил папироску в костер и строго посмотрел на Лешу. Тот фыркнул.

— Маловато, Петр Андреич, — смущенно заулыбался Семен. — Разве вот под утро что будет.

— А ну покажь, покажь...

Семен с готовностью вывалил рыбу из сумки.

— А, стерлядки, — с удовольствием выговорил Петр Андреевич. — Ну и хорошо. Мелковаты только.

— Раз на раз не приходится, Петр Андреич.

— А конечно, — охотно согласился Петр Андреевич и задумался.

Глядя в огонь, будто уйдя от нас куда-то, он машинально полез в карман, вынул папиросы, закурил, бросил спичку в костер и все так же бездумно проследил, как

она горела маленьким ярким пламенем и, погаснув, растаяла, слилась с розовым пеплом.

Был он не стар, но с глубокими морщинами на щеках; губы тонкие, нос длинный и тоже тонкий, лоб шишковатый, узкий. Вообще лицо его производило впечатление чего-то жесткого, напряженного. Ружье у него было старое, одноствольное, с перетянутым проволокой прикладом; из сапога с оторвавшейся подметкой выглядывала портянка...

— А вы что, или на Суглинки идете? — спросил вдруг Семен.

— А? — вздрогнул Петр Андреевич. — На Суглинки? Почто на Суглинки? Бреду дальше...

— А то наш механик давеча полную сумку приволок оттуда.

— Двух щук поймал на дорожку, — вставил Леша. — Бо-ольшие щуки.

— Это Попов-то? — спросил Петр Андреевич. — Ну, ему хорошо — он с собакой. Нет, я дойду до Овшанки, а там полее, аккурат у реки, озерцо есть, маленькое озерцо-то...

— Около Овшанки? — задумчиво переспросил Семен. — Нет, в тех краях не был я.. Не приходилось. Я все больше по этому берегу места знаю.

Снова помолчали. Петр Андреевич переступал с ноги на ногу, негромко покашливал. Леша свернулся калачиком возле брата. Ему было очень хорошо, это проглядывало решительно во всем: в уютной позе, в блеске глаз, частой улыбке...

— Не знаешь, перевозчик у себя? — спросил Петр Андреевич.

— У себя. Давеча проплыл вверх. С гармошкой плыли... Гуляют они. Сын женился. Мотьку Медуницыну из второго цеха взял.

— Это рябенькая такая?

— Она. Чего он хорошего в ней нашел? Я бы не женился на такой...

— Ну, ты еще в этих делах не понимаешь, — усмехнулся Петр Андреевич и повернул голову в сторону перевоза, как бы надеясь услышать гулянье. — Так гуляет, говоришь, перевозчик-то? А он перевезет ли меня? — обеспокоился вдруг он. — Не повезет, пожалуй, а? А то — повезет да и утопит? Пьяные, наверно, все...

Семен тоже повернулся в сторону перевоза.

— Кто его знает, — сказал он неуверенно. — Да вы лодку-то сами отвяжите да и переедете. У него ведь их три, лодки-то.

— А и верно! — Петр Андреевич засмеялся и посмотрел на свой сапог. — А тут еще тоже холера! Подошва-то напрочь отскочила. Нет ли веревочки? Иду, понимаешь, темень... О корень споткнулся, будь ты неладна, — только трыкнуло!

Леша вытащил из-за пазухи кусочек бечевки. Петр Андреевич взял его, подергал и стал перевязывать головку сапога.

— Вы на что ловите-то? — спросил он.

— На подонник, — быстро ответил Семен. — На миногу.

— На миногу? Это хорошо, на миногу, она ее любит, стерлядка-то. А тут я иду, смотрю — на той стороне волки воют. Не слышали? Подрос, видно, молодняк-то.

— У наших соседей, — оживился Леша, — волк козу утащил. Прямо днем! Коза-то старая была, худая. Как он ее схватил, она мемекнула — и готова! А он через огород — да полем, полем в лес... Дядя Федор с топором выскочил, глянул да как топором в стенку саданет! Так и сейчас в стене торчит, никто вынуть не может...

— Это верно, было такое дело, — подтвердил Семен. — А то еще было. Иду я тут как-то с рыбалки, а уж вечер, смеркалось... Так только, немного на закате желтеет, да дорога видна хорошо. И вот прошел я лесок, что за кладбищем, знаете? И будто кто меня толкнул: оборотился я и сперва не разобрал, а после гляжу — возле кустов будто темнеет что и глаза горят, ровно гнилушки. Трое их, значит, сидят и на меня глядят,

а у меня ноги сразу встали, как другой раз во сне бывает: хотел бы бежать, да не могу, и потом ошибло... Думал, конец, но обошлось, не тронули.

— Летом они к человеку смиренные, не трогают, — уверенно сказал Петр Андреевич.

— Дядя Петь... — начал Леша, взглянул на нас и улыбнулся. — А ведь мы на вас думали — медведь! Идет похрястывает...

— Кто думал-то? — Семен пожал плечом. — Сам думал, так на других не вали.

— Нет, ребятки, — улыбнулся Петр Андреевич, — медведь на огонь не полезет. Хотя и так рассудить: кто тут по ночам бродит? Только медведи да охотники... Тоже охотник? — обратился он ко мне. — Может, места здешние незнакомы вам, так пойдете со мной. Не хотите? Ну-ну... Конечно, всякий ко своему месту стремится.

Петр Андреевич посмотрел на звезды и протянул широкую темную ладонь Семену:

— Прощай покуда. Побреду, а то скоро светать начнет... Да! Ведь я слышал тебя прошлый раз в клубе-то... Отец небось гордится? Молодец!

Он похлопал Семена по плечу, кивнул нам с Лешей и пошел во тьму, осторожно ступая перевязанным сапогом. Семен сидел, низко опустив голову, ковырял мозоли на ладони и хмыкал. Уши его потемнели.

Леша вдруг потянулся, выгибаясь всем телом, зевнул и потер глаза.

— Спать охота! — заявил он.

— Ну и спи. — Семен почесал брата за ухом. — Спи.

— Да, — Леша недоверчиво улыбнулся, — а сам утром пойдешь проверить и не разбудишь.

— Да разбужу, вот чудашка!

— Дай честное комсомольское!

Семен взглянул на брата, снисходительно улыбнулся и лег на спину. Было примерно около двух часов, тьма стала как будто еще плотнее, хотелось лечь и смотреть попеременно в огонь, на звезды, на едва видимые ближние деревья, слушать редкие и неясные ночные звуки, гадая, птица ли перепорхнула, шишка ли упала или так что померещилось...

— Лешка! — восторженно сказал Семен. — Тащи дров!

Леша вскочил, исчез во тьме, громко затрепал сучьями и скоро принес целую охапку сушняка. Отобрав сучья поменьше, он навалил их на костер, сел на корточки и, выпучив глаза, стал раздувать огонь. Он дул так сильно, что от костра полетели угольки, тучей поднялся пепел.

— Гляди лопнешь, — серьезно заметил Семен.

Леша поднял голову, взглянул на нас бессмысленным взглядом и продолжал дуть с неистовой силой. Наконец сучья все разом ярко вспыхнули, затрепали, вверх полетели крупные искры. Стало горячо, и мы, жмурясь, отодвинулись от огня.

Я полюбопытствовал, за что хвалил Семена Петр Андреевич. Семен смутился и опять принялся за свою ладонь.

— Да так, вообще... — пробормотал он.

— Он музыку сочиняет, — охотно сказал Леша. — У нас в школе даже два раза играл и в клубе...

— Ну? — повернулся к нему Семен. — Дальше что?

— Ничего...

— Тогда помалкивай!

Семен кинул на меня быстрый испытующий взгляд и нехотя признался:

— Вообще-то, конечно, любитель я этого дела.

— Ему батя баян купил, — опять не вытерпел Леша. — Он знаете как на баяне играет! Он что хочешь вам сыграет!

— Это верно, — подтвердил Семен и вздохнул. — Верно, играю. А только у меня мечта есть, такая мечта! Как песня раскрывается? Ведь песню-то, ее можно всяко повернуть, и сыграть ее можно, как никто не играл. Правильно я говорю? Я как играю? Беру мелодию и прибавляю к ней еще голос, и вот песня уже сама по себе, а голос вроде сам по себе. А можно, ежели мало, еще один голос прибавить, и тогда уж получится совсем иная музыка. Но и тут не все. Это только правая рука, а в левой — там гармония. Аккорды, значит. Возьмешь аккорд, вроде и хорошо, но ежели прикинуть на тонкий слух, то чистоты настоящей и вкуса нету. Нету истинной чистоты! А песня, особо ежели долгая, она должна свой запах иметь, вот как река или лес. Я вот беру в клубе сборники для баяна. Ну, сыграю и вижу: не то! Схватит меня за сердце, не могу я, ну совсем не могу, — и начинаю по-своему переключивать...

Он вдруг подозрительно взгляделся в меня, стараясь угадать, не смеюсь ли я над ним. И, успокоенный, продолжал, часто моргая, шевеля пальцами темных рук:

— У меня мечта есть: сочинить одну вещь, чтобы вот такую ночь изобразить. А что? Лежу ночью у костра, и вот у меня в ушах так и играет, так и мерещится. А сочинил бы я так: сперва чтобы скрипки вступили тонко-тонко. И это была бы вроде как тишина. А потом еще и скрипки тянут, а уже заиграет этот... английский рожок, таким звуком — хриповатым. Заиграет он такую мелодию, что вот закрой глаза и лети над землей куда хочешь, а под тобой всё озера, реки, города, и везде тихо, темно. Рожок играет, а виолончели ему другой голос подают. Поют они на низких струнах, говорят, вроде как сосны гудят, а скрипки всё свое тянут и тянут тихонько. Тут и другие инструменты вступают и все вместе играют громче и громче: ту-ру-рум! Тум-тум, та-та-та... И заиграет весь оркестр необыкновенную музыку! Главное, чтоб там инструменты были, которые как колокольцы звенят. Ну, а после надо понемногу инструменты убирать, и будет все тише и тише, и окончат опять же одни скрипки. Долго будут тянуть, пока совсем не замрут...

Семен смотрел в темноту, моргал, облизывал пересохшие губы.

— А еще, — продолжал он, — надо будет колокол добавить, чтобы он звонил равномерно. Только потихоньку. А как луна из-за леса выходит, ведь это можно изобразить?.. А назову я ее «Ночь». Или нет! Надо, чтобы покрасивше было... Вот лучше: «Ночная сказка» или «Ночная звезда»... Я вот рассказать вам не могу про ночь и все такое, ну, звезды там или туман над рекой. А в музыке я все могу. На сердце щемит у меня, лягу спать — не сплю, а заснул — часто такая музыка играет! Проснусь — все хочу вспомнить, и не вспомнишь... Учиться надо, это уж обязательно! Я лебедчиком работаю, лес на берег выкатываю. Сижусь я, рычагами кручу, зазвенит лебедка, или автомашина просигналит, или гудок на обед прогудит, а я тренируюсь, звуки определяю, какой звук: «до» там или, может, «фа-диез»...

Семен вдруг замолчал, смущенно улыбнулся и стал поправлять костер. Неожиданно что-то странное и мощное родилось в воздухе, родилось, нарушило ночную глушь, всколыхнуло настоявшуюся звездную тишину, пронеслось по реке.

— Эге-геее!.. — донесся к нам низкий могучий вопль.

Мы сразу повернулись к реке и первое мгновение недоуменно прислушивались. Тишина... И опять незримо пролетел мощный крик:

— Эге-геее!..

— Сплавщики голос пробуют! — облегченно засмеялся Семен. — Правда здорово? По реке звук далеко разносится. Лодка ночью плывет, так за версту слышать, как весла скрипят. А то в другой раз такое послышится, что и не поймешь, что такое. Вроде крикнет кто или вздохнет, или вот так тихонько: «Тииу, тииу, тииу...»

Он очень похоже изобразил странный звук, который и я часто слышал ночью на берегу рек и болот и никак не мог догадаться, что бы это значило.

— Лешка боится, а я нет, — улыбнулся Семен. — Скучно, правда, одному, а так — хорошо!

— Никого я не боюсь! — сказал вдруг громко Леша и прищурился.

— Не боишься? А ну-ка, сходи сейчас на Хлыстово болото, принеси мне оттуда метелок. Ну? Сходи, сходи!

Леша повел ртом, оглянулся назад в темноту и засмеялся. Семен помолчал немного.

— Народ здесь сильный ужасно, — снова начал он. — Есть ребята силы такой, что хоть кого хочешь побьют. Вы думаете, этот сплавщик по делу кричал, а он просто так: на берег выйдет и орет, слушает, как его голос по лесам раздается.

— Дядь, а дядь! Стрельните! — попросил внезапно Леша и жадно посмотрел на ружье.

— А ты сам стрельни, — ответил я, подавая ему ружье.

— Баловство! — недовольно сказал Семен. — Только патрону перевод.

Но в глазах его зажглось такое же, как и у Леша, острое любопытство. Леша огляделся, увидел высокий осиновый пенек недалеко и через секунду уже старательно укреплял на этом пне свою старую шапку.

— погоди! — строго остановил его Семен. — Сейчас огонь раздуем, виднее будет.

Он навалил на костер хворосту. Пламя померкло, пополз густой розовый дым, потом тонкие голубоватые язычки стали там и сям выскакивать наверх, наконец сразу занялась вся куча.

— Давай! — скомандовал Семен и, отгородившись от огня ладонью, уставился на пенек с шапкой.

Леша стал целиться. Целился он страшно долго, шмыгал носом, переводил дыхание, смотрел на курок, на палец... Ожидание выстрела становилось тягостным, и я заметил, как напряглась у Семена рука, а глаза прищурились, будто он смотрел на яркий свет.

— Да скоро ты... — не выдержал он.

Но в этот момент ружье в руках Леша подбросило вверх, сверкнул длинный голубоватый снап пламени, оглушительно бахнул выстрел, шапка исчезла, а эхо пошло перекатами по реке и лесам. Наверху испуганно всхрапнула лошадь, зазвенело ботало, затрепали кусты. Леша бросил еще дымившееся ружье и стремительно кинулся в темноту.

— Здорово! — восхитился Семен и потянулся навстречу Леше, возвращавшемуся с шапкой. — Вот это бьет!

Шапка была торжественно исследована при свете костра. В нее попало несколько крупных дробинок, и вата клочьями торчала из подкладки.

Семен задумался.

— Знаете что? — обратился он ко мне. — Хотите, поведу я вас на такое место, в каком отродясь никакие охотники не бывали? Возьму отгул, у дяди ружье выпрошу... Эх и закатимся мы с вами дня на два! Тайное место, птица там непуганая. Идешь по лесу: направо — рябчики, тетери, глухари, налево — озеро, а на том озере гуси и крякуши открыто плавают и на выстрел допускают близко, а после выстрела никуда с озера не улетают, только отлетывают малость. Там я был один раз с дядей и дорогу туда помню. Никого там нету: ни охотников, ни ягодниц, а только одни медведи по малину ходят. Медведи смирные, из-за кустов поглядывают. А брусника там растет такая, что ежели выйти на гарь да поверну кочек глянуть, то все кочки кажутся красными. Земляника растет, и землянику ту никто не берет, и вся она черная, переспелая и такая сладкая — слаще сахара! Войдешь в смородиновые кусты — такой в них крепкий дух,

что голова кружится. А ежели по кустам идешь, то тетери и глухари совсем близко подпускают, а потом только — тых, тых, тых! — взлетают, и ветер от них аж в лицо дует. Еще там белки в лесу скачут, только они сейчас рыжие, шерсть у них никудышная, и мы их не бьем. А еще там под косогором, ежели через завалы переберешься, овраг перелезешь да вниз спустишься, родник есть, ключ по-нашему, и сколько я разной воды перепил, но такой никогда не пил, и вода там, надо думать, лечебная...

Леша тем временем все крепился, крепился, не выдержал, жалко скривил лицо, шмыгнул носом и затянул отчаянно:

— Семе-ен...

— Ну? — Семен с удивлением посмотрел на брата.

— Семен, возьми меня-а... — тянул Леша, и было видно, что страдает он невыносимо.

— Как — взять? — с сомнением спросил меня Семен.

Большие мокрые глаза Леша тотчас уставились на меня. Я задумался. Я думал долго и мрачно.

— Взять? — снова с сомнением повторил Семен и критически осмотрел Лешу.

Тот покривился и крепко сжал задрожавшие губы.

— Возьмем! — решил я наконец.

Леша тоненько засмеялся, вскочил и вытер длинным рукавом глаза.

— Ага! — торжествующе закричал он. — А вот и пойду, а вот и пойду!

И он, победоносно глядя на Семена, стал приплясывать возле костра, на разные лады повторяя: «Что? А вот и пойду! Что? А вот и пойду!»

Я оглянулся. Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. Пала роса, и воздух посвежел. Деревья определились. Нет, света еще не было, но с каждой минутой все виднее становились отдельные кусты, ветки, елки, даже шишки. Ночь кончилась, наступал самый ранний полурассвет, то время утра, когда петухи в деревне, хрипло прокричав свое «ку-ка-реку», еще крепче засыпают.

Мне пора было идти. Я взял ружье и попрощался с ребятами.

Едва я отошел от костра, как сырой, холодный воздух охватил меня со всех сторон и сапоги заблестели от росы. Сорока неслышно сорвалась с вершины белесой ели, быстро и молча полетела, ныряя на лету, на восток, навстречу рассвету.

Я успел уже порядочно отойти — взобрался на гриву, отыскал тропу и зашагал к озеру, — когда меня опять настигла песня Семена. И снова не разобрать было слов, не уловить мелодии, но я знал теперь, что песня эта прекрасна и поэтична, потому что рождена чистым талантом, красотой меркнущих звезд, великой тишиной и ароматом увядающего лета.

«Аааа... ооооа...» — дрожал далекий человеческий голос, а внизу подо мной сонно журчала река, тихонько стукались друг о друга плывущие по воде бревна, и мне казалось почему-то, что на реке, скрываясь в полупрозрачных завитках тумана, тихо сидит в лодке мудрый человек и стучает обухом топора по плывущим мимо бревнам, стараясь по звуку угадать их крепость и чистоту.

1955

НА ОХОТЕ

1

Ночевали на чердаке пустой заброшенной сторожки на слежавшихся, потерявших запах листьях. Петр Николаевич проснулся, когда сквозь дырявую сухую крышу начал пробиваться слабый свет. Сын его, Алексей, посапывал, неловко подворотив руки, завернув голову телогрейкой, раскидав голенастые ноги с большими ступнями. Из-под бока у него торчал приклад ружья.

Петр Николаевич обулся, напряженно, боясь сорваться, слез по приставной лестнице, в которой не было многих перекладин. Слез, постоял, смотря на белеющий восток, неподвижные деревья, на мокрые отяжелевшие кусты, потом медленно обошел сторожку.

Раньше здесь был загон для скота, ночевали пастухи, пахло дымом, молоком и навозом. Земля была истоптана, скользка от коровьих лепех... Теперь уж лет пять все было заброшено, поскотина местами повалилась, подле сторожки буйно росла крапива с бледно-зелеными большими листьями. Во всем проглядывали заброшенность, запустение, глушь была на месте человеческого жилья.

Дверь в сторожку была сорвана, и Петр Николаевич вошел внутрь. Стекол в окнах не было, только в одном торчал запотевший осколок, ставший от старости, дождя и солнца сизым. По углам лежали кучи листьев, из печки вынута дверца, сняты чугунные плитки, теперь она зияла черной холодной пустотой. Почему ушли отсюда люди? Где пасут теперь свой скот?

Петр Николаевич присел на листья в углу, медленно закурил, долго следил темными невеселыми глазами, как дым вытягивается в окно, запутывается в толстой, пыльной паутине. Пахло в сторожке сухой глиной от печки, старым деревом; из окон тянуло свежестью травы, чистым и печальным воздухом, и Петр Николаевич задумался с погасшей папирсой о том времени, когда он, совсем молодой, охотился в этих местах.

Было тогда ему двадцать лет. Ошалевший, как молодой жеребенок, почти больной от счастья, целый месяц бродил он один или с отцом по этим певучим просторам, спал в шалаше или в стогах крепким молодым сном, просыпался на рассвете, и жизнь лежала перед ним — нетронутая, бесконечная, радостная. Потом бродил по озерам, лугам, по сумрачным борам, был несказанно счастлив своей молодостью, силой, готов был плыть за подстреленным чирком по ледяной воде, готов был выхаживать десятки километров в надежде подстрелить юркого бекаса. И еще — и это, пожалуй, самое главное — он был влюблен тогда, беспрестанно со сладкой тоской думал о ней, и казалось ему по молодости, что еще не то будет в жизни, что пока еще не настоящее счастье, а гораздо большее, невыразимое счастье будет впереди.

Сколько миновалось, сколько прожитого навсегда ушло из памяти, но этот тихий светлый край и то время, когда он здесь скитался, так и запомнились как лучшее в жизни, как самое чистое. И он помнил все-все дни и все места, где у него была счастливая охота, помнил приметные деревья, потаенные родники, помнил даже, о чем он думал в то время.

Теперь он снова приехал сюда, уже не один, а с сыном, и, когда ехал, было томительно-радостно, что он опять увидит все, а теперь стало тяжело — так все неузнаваемо изменилось, так все постарело, поблекло... Все не то, все не то, только рассвет и роса на траве, запахи — все те же, вечные, навсегда те же! И странно до восторга было

думать, что еще тысячи людей, может быть и не родившихся даже, будут так же просыпаться когда-нибудь и глядеть на рассвет, туманы на лугах, будут дышать крепкими грустными запахами земли.

2

Сын скоро проснулся, завозился на чердаке. Потом заскрипела лестница, послышался прыжок на землю.

— Отец! — негромко позвал Алексей.

Петр Николаевич вздохнул, провел рукой по лицу, вышел. Алексей, расставив длинные в лыжных брюках ноги, смотрел вверх, лицо его было испуганно и восторженно.

— Тсс! — Он схватил отца за руку. — Слышишь?

— Нет... Что такое? — спросил Петр Николаевич, напрягая слух.

— Ну как ты не слышишь! — прерывающимся шепотом сказал Алексей и посмотрел на отца круглыми счастливыми глазами. — Осы! Их там три гнезда, вчера в темноте не видать было... Я случайно зацепил, как загудели! Слышишь? — Алексей с восторженным ужасом опять посмотрел вверх.

— Да, да, гудят! — подтвердил Петр Николаевич, улыбаясь.

Но он не слышал никакого гудения, и на сердце у него стало нехорошо. «Вот уже и слышать хуже стал...» — подумал он и, чтобы совсем не расстроиться, заторопился.

— Пойдем, пойдем! — пробормотал он. — Поздно уже... Рюкзаки, ружья где?

— Сейчас! — сказал сын и беззвучно полез на чердак. Так же неслышно, с серьезным лицом он передал отцу один и второй рюкзак, ружья, тяжелые патронташи, натянул новые сапоги, спустился и тут только перевел дух.

— Пошли! — громко и бодро сказал Петр Николаевич и первый зашагал по траве за поскотину, туда, где, он знал, должна быть тропинка.

Тропинку долго не могли найти, промокли от росы, пошли наугад к темному высокому бору. Ноги вязли в траве, поляны были белыми от ромашек. «Сколько добра пропадает, не косят, какая глушь!» — горько думал Петр Николаевич. Алексей шел сзади, спотыкался на кочках, часто и громко зевал, в рюкзаке у него брякало, этот равномерный слабый звук все что-то напоминал Петру Николаевичу и никак не мог напомнить.

Когда вошли в бор, сразу стала видна старая тропа. В бору было сумрачно, глухо; только оттуда, где за плотным рядом сосен лежала старица, робко пробивался голубой неверный свет. Немного погодя там, в таволговых кустах, запикала птица, песня ее была в два колена, очень проста: «пи-пи, пи-пи...» Алексей снова зевнул, споткнулся.

— Далеко еще? — сонно спросил он.

И будто ждал этого вопроса, — в той стороне, где было совсем еще темно, взорвался глухарь и с частым тугим лопотом потянул между стволов. Идущие вздрогнули, остановились, у Петра Николаевича зашло сердце: значит, и сейчас тут есть глухари!

— Фу, как напугал! — засмеялся он. — Идем, потом поохотимся, хватит еще!

Но Алексей, не слушая, свернул с тропы и хищно пошел по беззвучному мху, по хвое и бруснике, держа ружье в руках. Петр Николаевич напряженно смотрел сыну вслед, каждую секунду ожидая выстрела, потом поправил ружье и тихо пошел дальше по тропе.

Он вышел на опушку, сел на поваленное дерево и стал ждать. Впереди было небольшое поле в тумане, за ним опять лес, потом снова должно быть поле, потом ма-

ленький еловый колонок, затем кочковатая сырая луговина с жесткой осокой и наконец — озеро, место всех давних охот.

Скоро показался Алексей и пошел к отцу, надевая ружье и смахивая что-то с лица.

— Ну что? Ничего не попало? — спросил Петр Николаевич.

— Ничего! — точно радуясь, ответил Алексей. — Зато глухо как! Грибов сколько, ягод... Как хорошо! Неужели мы тут целый месяц проживем! Здорово!

— И прекрасно проживем! — Петр Николаевич любовно посмотрел на сына. — Тебе понравилось? Я боялся, не понравится... А ты у меня молодец!

Они пошли заросшей тропинкой через луг к новому лесу, но теперь впереди шел Алексей, а Петр Николаевич смотрел на него и думал, какой у него вырос большой сын и как хорошо, что он именно с сыном приехал сюда.

3

Уже солнце поднялось высоко и роса держалась только в тени под кустами, когда охотники подошли к озеру. Они не торопились особенно, наслаждались глухой тишиной и потаенностью, подолгу сидели на опушках, смотрели, как тихо встает солнце, слушали стеклянный скрип журавлей, стуки дятла, пронзительный крик кобчика...

Подойдя к озеру, Петр Николаевич снял кепку, пригладил поредевшие волосы, стал жадно оглядываться. Как все изменилось!

Озеро стало меньше и постарело как будто... Один узкий и мелкий конец его совсем зарос осокой и камышом; сильнее разрослись и наклонились к воде деревья, больше было на темной воде листьев кувшинок.

«Ну, здравствуйте! — думал, волнуясь, Петр Николаевич. — Здравствуйте, кусты, и деревья, и озеро! Здравствуйте, цветы и осока! Вот я опять с вами. Вы долго меня ждали, снились мне, и я пришел...»

Неуверенно, с трудом отыскал Петр Николаевич ту поляну, где у них с отцом горел когда-то, почти не переставая, костер, кипятили чай, и набивали патроны, и тихонько пели песни на два голоса. И поляна стала маленькой, чужой, и нельзя было понять: то ли она заросла, то ли, как почти все давно ушедшее, представлялась в памяти более значительной, чем на самом деле. Петр Николаевич, моргая, чувствуя выступающие на глазах слезы, махнул сыну рукой.

— Пройди вдоль озера... Посмотри там... Иди, иди!

Алексей внимательно взглянул на отца, покраснел и ушел, торопливо шурша сапогами, горбятя худую спину. Петр Николаевич снял рюкзак, опустился на колени, стал перебирать траву руками. «Должно же что-нибудь остаться! — с наивной верой думал он. — Тут было так много золы, углей, головешек... Даже нижняя лапа сосны была подпалена!» Он мельком глянул вверх: серебрились в солнечном луче иглы, опутанные тонкой радужной паутинкой, неподвижно млели крепкие, зелено-бурые шишки, толклись комары... Он разгреб траву, раздвинул ромашки на длинных крепких стеблях, но ничего не было, только сырая земля, старые прелые листья, маленькие липкие маслята; ползали муравьи, кровавыми каплями дрожала земляника. «Конечно... круговорот вещей, — растерянно и огорченно думал Петр Николаевич. — Все проходит, все изменяется... Да полно, тут ли мы были тогда?» Он встал, огляделся: здесь где-то под елью был у них шалаш. Где его искать? Это был такой прекрасный, такой прохладный днем и теплый ночью шалаш! Так хорошо строили они его с отцом... Где же эта ель? Не приснилось ли ему все на самом деле?

Шумел вершинами плотный лес, в просветах виднелось бледно-голубое небо, вспыхивали светлой изнанкой листья осин, солнечный теплый свет дрожал на толстых сумрачных стволах, а внизу было царство валежника, мертвых, на вид совсем свежих берез, папоротника...

Петр Николаевич стал лазить под елями, царапал лицо и руки, оглядывался на поляну, стараясь не отходить далеко. Ружье мешало, и он снял его, прислонил к дереву. Попадалось много грибов, костяники, в лицо дышало влажным грибным духом, пряным запахом опавшей хвои. Петр Николаевич машинально срывал костянику и сосал, чувствуя кисловатый холодок на языке и в носу. Наконец он наткнулся на старую толстую ель, оглянулся на поляну, опять посмотрел на ель, и ему показалось, что здесь. Тут на стволе должна быть зарубка — на ней держалась с одной стороны хребтина шалаша, — он это помнил. Но по мощному в наплывах смолы стволу ничего нельзя было узнать. Тогда Петр Николаевич снова встал на колени, принялся задумчиво перебирать старый хлам, годами скопившийся под елью. И он нашел то, что искал: гнилые, почерневшие палки, на концах которых был виден срез от удара топором; еще и еще...

Да! Вот все, что осталось от прекрасного крепкого шалаша, — одни гнилые палки.

Петр Николаевич встал, отряхнул колени, выдрался из густоты, посмотрел сквозь листья на верхушку ели. Какая же она старая! Сколько лишаев! Вон и вершина совсем засохла... Скоро то, что когда-то было маленькой пушистой зеленой елочкой, совсем высохнет, умрет. Проходит жизнь!

Отыскав ружье, он вышел на поляну и остановился, бездумно засмотревшись на ромашки. Потом вспомнил, как переключался с отцом, переломил ружье, вынул патроны, приставил стволы к губам, и над лесом полетел зовущий печальный певучий звук и замер где-то за озером.

— Ого-го-о! — откликнулся совсем рядом мальчишеский басок.

Послышался шорох, Алексей подошел с виноватым лицом, и Петр Николаевич понял, что он никуда не уходил, сидел поблизости, ждал, пока отец найдет, что ему нужно.

— Как это ты? — изумленно спросил Алексей.

Петр Николаевич показал, Алексей тотчас радостно переломил свое ружье, затрубил что есть мочи, и опять волнуящийся, будто из тридцатилетней дали, полетел над лесом и озером зов.

— Ну вот, тут и будем жить, — негромко сказал Петр Николаевич.

— Ты тут жил с дедом тогда... Да? — краснея, спросил Алексей.

— Вынимай топор, надо шалаш делать, — глухо отозвался отец, роясь в своем рюкзаке и не глядя на сына.

4

Долго рубили жерди, устраивали, поправляли, заколачивали, покрывали шалаш двойным рядом еловых лап, старались, чтобы шалаш стоял под елью точно так же, как стоял раньше. Петр Николаевич все вспоминал, как делал его отец, точно так же делал сам, и точно так, как когда-то запоминал он, теперь смотрел во все глаза, помогал и запоминал его сын.

Часам к двум, — когда шалаш был совсем готов, когда все из рюкзаков было разложено и поверх еловой подстилки постелили еще куртки и телогрейки и разулись, чтобы отдохнуть, — стал натягивать дождь. Быстро надвигались темные облака, один за другим закрывая голубые просветы вверху. Лес смолк, потемнел, в шалаше от это-

го стало еще лучше. Ждали сильного дождя, но начало робко капать, трогая цветы и листья, и пошел обложной, реденький, теплый дождик.

Охотники сидели в шалаше и были счастливы от усталости, оттого, что успели устроиться и могут переждать непогоду, от тишины и от едва слышного шурстения дождя по листьям. Все скоро опять отсырело, но пахло уже не тем чистым и грустным запахом росы, как давеча утром, а грибами, мокрой землей, горькой осиновой корой, березовым листом, и было немного душно.

Алексей скоро откинулся лицом в угол шалаша к толстому стволу и уснул. Петр Николаевич подвинулся ближе к низкому входу, стал смотреть на повисшие мокрые пряди берез, на поникшие ромашки на поляне. Он сидел, как часто сживал раньше, обхватив колени руками, тихонько пел. Пел он все печальные старые русские песни, в которых говорится о разлуке, о смерти, о несбывшейся любви, о раздольных полях, о тоске и сиротливых ночах... Пел и вспоминал многое из своей жизни, мечтал о чем-то, смотрел на хмурое небо и присмиривший тихий лес. Потом замолчал, стал думать о сыне и никак не мог понять, чего же больше в его мыслях: радости или ревности...

Потом он задремал, побежденный усталостью, склоняясь головой на колени, но и в дремоте его не покидало ощущение тоски, сожаления по чему-то навсегда утраченному. Свешенная рука его затекла, набухла и была похожа на мертвую. А дождь все крапал, все шелестел в листьях осин и в траве, сырело и сырело кругом, и только под елью, где стоял шалаш, было сухо.

5

Проснулись они к вечеру, когда дождь кончился, взяли ружья и пошли мокрым лесом. С ветвей капало: капли были крупные; далеко слышалось: тук! тук! тук! Солнце заходило, слабо и желто просвечивая сквозь лес. В лесу стоял золотистый прозрачный пар, отпевали последние минуты птицы. Такой же пар висел над озером, жемчужно сверкали осока и кусты, чуть заметно колыхалась вода: где-то плавали утки.

Долго и осторожно переходили с места на место, пока вдруг не увидели уток, плавающих близко от берега, но далеко от того места, где они вышли к воде. Маскируясь, долго рассматривали уток в бинокль, потом попятились, неслышно и быстро перебежали верхом и в замеченном месте стали пробираться к берегу. Сквозь просветы ветвей показалась темная вода и на ней освещенные желтым солнцем утки.

— Обожди... дай я, дай я... — умоляюще зашептал Алексей.

Петр Николаевич подвинулся и сейчас же вспомнил, что и он так же просил отца, и отец часто уступал ему. Алексей положил стволы ружья на сучок, прицелился, лопатки его дернулись. «Тааах-тиииу-тууухх!» — широко рассыпалось эхо, дым выскочил клубком на воду.

Охотники, уже не боясь, треща сучьями, продрались к берегу и еще успели заметить трех уток, стремительно уходящих над озером. А две утки остались на воде. Одна лежала неподвижно, желтея брюшком, другая завалилась на бок, старалась нырнуть, но только опускала голову в воду, слабо подрагивала крылом. Дым от ружья, смешиваясь с туманом, расходился пеленой по воде.

— Подожди, тесину срубим! — возбужденно сказал Петр Николаевич, снимая ружье и доставая топор.

Но Алексей не слушал. Морщась, не спуская глаз с шевелившейся еще утки, переживая свой первый выстрел, он стянул сапоги, помотал ногами, сбрасывая портянки, стал раздеваться. Тогда Петр Николаевич покорно положил топор, присел на стгнившее бревно и закурил.

Сын разделся, вздрагивая длинным худым телом, быстро покрывшимся гусиной кожей, полез в воду. Он ступал осторожно, нащупывал дно, отводил руками стебли кувшинок, ухал, но потом не выдержал, бросился и поплыл. Доплыв до уток, он повернул сияющее лицо к берегу.

— Отец! — крикнул он, задыхаясь от холодной воды. — Лезь купаться! Как здорово дымом пахнет! Сероводородным и табачным... Ого-го-го!.. — И он с восторгом нырнул, замолотил ногами, потом вынырнул, захлебнувшись и отфыркиваясь, и поплыл назад, по очереди перебрасывая уток.

А Петр Николаевич вдруг вспомнил, похолодев, как в такой же вечер подстрелил утку на другом озере, километрах в двух от этого, и поплыл за ней, а отец сидел на берегу, отдыхая, и курил, и дым от выстрела и табака стлался по воде, и так прекрасно, волнующе пахло, что он крикнул об этом отцу и стал тоже барахтаться от восторга и шуметь.

Да, все то же... И жизнь по-прежнему прекрасна, и будет такой всегда, — всегда будут пылать, багроветь и зеленеть закаты и разгораться тихим светом восходы, всегда будут расцветать цветы и расти трава, и новые люди будут приходить на место стародавних охот...

Радостно и печально до сердцебиения стало ему. Он больше не мог сидеть и курить, бросил папиросу и пошел, не разбирая дороги, по мокрой траве в глубь темнеющего, примолкшего леса.

А сын его долго гулко хлопал ладонями по воде, плескался, кричал на разные голоса, вызывая эхо, смотрел на таинственный противоположный берег, подернутый уже синей дымкой потухающего дня. Потом вылез — дрожащий, посиневший, — быстро оделся, поскакал на одной ножке, погладил теплых уток с мокрыми лапами, прижмуренными бирюзовыми глазами и каплями крови на клювах, увидел недокуренную папиросу, оглянулся и воровато закурил, неумело затягиваясь, выкатывая глаза, кашляя и улыбаясь от не омраченного ничем счастья.

1956

ГОЛУБОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

1

— Лиля, — говорит она глубоким грудным голосом и подает мне горячую маленькую руку.

Я осторожно беру ее руку, пожимаю и отпускаю.

Я бормочу при этом свое имя. Кажется, я не сразу даже сообразил, что нужно называть свое имя. Рука, которую я только что отпустил, нежно белеет в темноте. «Какая необыкновенная, нежная рука!» — с восторгом думаю я.

Мы стоим на дне глубокого двора. Как много окон в этом квадратном темном дворе: есть окна голубые, и зеленые, и розовые, и просто белые. Из голубого окна на втором этаже слышна музыка. Там включили приемник и я слышу джаз. Я очень люблю джаз, нет, не танцевать — танцевать я не умею, — я люблю слушать хороший джаз.

Некоторые не любят, но я люблю. Не знаю, может быть, это плохо. Я стою и слушаю джазовую музыку со второго этажа, из голубого окна. Видимо, там прекрасный приемник.

После того как она назвала свое имя, наступает долгое молчание. Я знаю, что она ждет от меня чего-то. Может быть, она думает, что я заговорю, скажу что-нибудь веселое, может, она ждет первого моего слова, вопроса какого-нибудь, чтобы заговорить самой. Но я молчу, я весь во власти необыкновенного ритма и серебряного звука трубы. Как хорошо, что играет музыка и я могу молчать!

Наконец мы трогаемся. Мы выходим на светлую улицу. Нас четверо: мой приятель с девушкой, Лиля и я. Мы идем в кино. В первый раз я иду в кино с девушкой, в первый раз меня познакомили с ней, и она подала мне руку и сказала свое имя. Чудесное имя, произнесенное грудным голосом! И вот мы идем рядом, совсем чужие друг другу и в то же время странно знакомые. Музыки больше нет, и мне не за что спрятаться. Мой приятель отстает со своей девушкой. В страхе я замедляю шаги, но те идут еще медленней. Я знаю, он делает это нарочно. Это очень плохо с его стороны — оставить нас наедине. Никогда не ожидал от него такого предательства!

Что бы такое сказать ей? Что она любит? Осторожно, сбоку смотрю на нее: блестящие глаза, в которых отражаются огни, темные, наверное, очень жесткие волосы, сдвинутые густые брови, придающие ей самый решительный вид... Но щеки у нее почему-то напряжены, как будто она сдерживает смех. Что бы ей все-таки сказать?

— Вы любите Москву? — вдруг спрашивает она и смотрит на меня очень строго. Я вздрагиваю от ее глубокого голоса: есть ли еще у кого-нибудь такой голос!

Некоторое время я молчу, переводя дух. Наконец собираюсь с силами. Да, конечно, я люблю Москву. Особенно я люблю арбатские переулки и бульвары. Но и другие улицы я тоже люблю... Потом я снова умолкаю.

Мы выходим на Арбатскую площадь. Я принимаюсь насвистывать и сую руки в карманы. Пусть думает, что знакомство с ней мне не так уж интересно. Подумаешь! В конце концов, я могу уйти домой, я тут рядом живу, и вовсе не обязательно мне идти в кино и мучиться, видя, как дрожат ее щеки».

Но мы все-таки приходим в кино. До начала сеанса еще минут пятнадцать. Мы стоим среди фойе и слушаем певицу, но ее плохо слышно: возле нас много народу, и все потихоньку разговаривают. Я давно заметил, что те, кто стоит в фойе, плохо слушают оркестр. Слушают и аплодируют только передние, а сзади едят мороженое и конфеты и тихо переговариваются. Решив, что певицу все равно не услышишь как следует, я принимаюсь разглядывать картины. Я никогда раньше не обращал внимания на них, но теперь я очень заинтересован. Я думаю о художниках, которые их нарисовали. Видимо, не зря повесили эти картины в фойе. Очень хорошо, что они висят тут.

Лиля смотрит на меня блестящими серыми глазами. Какая она красивая! Впрочем, она вовсе не красивая, просто у нее блестящие глаза и розовые крепкие щеки. Когда она улыбается, на щеках появляются ямочки, а брови расходятся и не кажутся уже такими строгими. У нее высокий чистый лоб. Только иногда на нем появляется морщинка. Наверное, она думает в это время.

Нет, я больше не могу стоять с ней! Почему она так меня рассматривает?

— Пойду покурю, — говорю я отрывисто и небрежно и ухожу в курительную. Там я сажусь и вздыхаю с облегчением. Странно, но когда в комнате много дыма, когда воздух совсем темный от дыма, почему-то не хочется курить. Я осматриваюсь: стоят и сидят много людей. Некоторые спокойно разговаривают, другие молча торопливо курят, жадно затягиваются, бросают недокуренные папиросы и быстро выходят. Куда они торопятся? Интересно, если жадно курить, папироса делается кислой и горькой. Лучше всего курить не спеша, понемножку. Я смотрю на часы: до сеанса еще пять минут. Нет, я, наверное, все-таки глуп. Другие так легко знакомятся, разговаривают, смеются. Другие ужасно остроумны, говорят о футболе и о чем угодно. Спорят о ки-

бернетике. Я бы ни за что не заговорил с девушкой о кибернетике. А Лиля жестокая, решаю я, у нее жесткие волосы. У меня волосы мягкие. Наверное, поэтому я сижу и курю, хотя мне совсем не хочется курить. Но я все-таки посижу еще. Что мне делать в фойе? Опять смотреть на картины? Но ведь это плохие картины, и неизвестно, для чего их повесили. Очень хорошо, что я их раньше никогда не замечал.

Наконец звонок. Я очень медленно выхожу из курительной, разыскиваю в толпе Лилю. Не глядя друг на друга, мы идем в зрительный зал и садимся. Потом гаснет свет и начинается кинокартина.

Когда мы выходим из кино, приятель мой совсем исчезает. Это так действует на меня, что я перестаю вообще о чем-либо думать. Просто иду и молчу. На улицах нет почти никого. Быстро проносятся автомашины. Наши шаги гулко отдаются от стен и далеко слышны.

Так мы доходим до ее дома. Останавливаемся опять во дворе. Поздно, уже не все окна горят, и во дворе темнее, чем было два часа назад. Много белых и розовых окон погасло, но зеленые еще горят. Светится и голубое окно на втором этаже, только музыки больше не слышно оттуда. Некоторое время мы стоим совершенно молча. Лилия странно ведет себя: поднимает лицо, смотрит на окна, будто считает их; она почти отворачивается от меня, потом начинает поправлять волосы... Наконец я очень небрежно, как бы между прочим говорю, что нам нужно еще встретиться завтра. Я очень рад, что во дворе темно и она не видит моих пылающих ушей.

Она согласна встретиться. Я могу прийти к ней, ее окна выходят на улицу. У нее каникулы, родные уехали на дачу, и ей немного скучно. Она с удовольствием погуляет.

Я размышляю, прилично ли будет пожать ей руку на прощанье. Она сама протягивает мне узкую руку, белеющую в темноте, и я снова чувствую ее теплоту и доверчивость.

2

На другой день я прихожу к ней засветло. Во дворе на этот раз много ребят. Двое из них с велосипедами: они собираются куда-то ехать; но, может быть, они уже приехали? Остальные стоят просто так. Мне кажется, все они смотрят на меня и отлично знают, зачем я пришел. И я никак не могу пройти двором, я подхожу к ее окнам на улицу. Я заглядываю в окно и откашливаюсь.

— Лилия, вы дома? — громко спрашиваю я. Я спрашиваю очень громко, и голос мой не дрожит. Это прямо замечательно, что у меня не прервался голос.

Да, она дома. У нее подруга. Они спорят о чем-то интересном, и я должен разрешить этот спор.

— Идите скорей! — зовет меня Лилия. Но мне невыносимо идти двором, я никак не могу идти двором...

— Я к вам влезу через окно! — решительно говорю я и вспрыгиваю на окно. Я очень легко и красиво вспрыгиваю на окно, перебрасываю одну ногу через подоконник и тут только замечаю насмешливое удивление подруги и замешательство Лили. Я сразу догадываюсь, что сделал какую-то неловкость, и застываю верхом на окне: одна нога на улице, другая в комнате. Я сижу и смотрю на Лилю.

— Ну, лезьте же! — нетерпеливо говорит Лилия. Брови ее сходятся и щеки все больше краснеют.

— Не люблю летом торчать в комнатах... — бормочу я, делая высокомерное лицо. — Лучше я подожду вас на улице.

Я спрыгиваю с окна и отхожу к воротам. Как они смеются теперь надо мной! Я знаю, девчонки все жестокие и никогда нас не понимают. Зачем я пришел сюда? Зачем мне служить посмешищем! Лучше всего мне уйти. Если побежать сейчас, то можно добежать до конца улицы и свернуть за угол, прежде чем она выйдет. Убежать или нет? Секунду я раздумываю: будет ли это удобно? Потом я поворачиваюсь и вдруг вижу Лилю. Она с подругой выходит из ворот, смотрит на меня, в глазах ее еще не погас смех, а на щеках играют ямочки.

На подругу я не смотрю. Зачем она идет с нами? Что я буду с ними обеими делать? Я молчу, и Лиля начинает говорить с подругой. Они разговаривают, а я молчу. Когда мы проходим мимо афиш, я внимательно читаю их. Афиши можно иногда читать с конца, тогда выходят смешные гортанные слова. Доходим до угла, и тут подруга начинает прощаться. С признательностью я смотрю на нее. Она очень красивая и умная.

Подруга уходит, а мы идем на Тверской бульвар. Сколько влюбленных ходило по Тверскому бульвару! Теперь по нему идем мы. Правда, мы еще не влюбленные. Впрочем, может быть, мы тоже влюбленные, я не знаю. Мы идем довольно далеко друг от друга. Примерно в метре друг от друга. Липы уже отцвели. Зато очень много цветов на клумбах. Они совсем не пахнут, и названий их никто, наверное, не знает.

Мы очень много говорим. Никак нельзя установить последовательности в нашем разговоре и в наших мыслях. Мы говорим о себе и о наших знакомых, мы перескакиваем с предмета на предмет и забываем то, о чем говорили минуту назад. Но нас это не смущает, у нас еще много времени, впереди длинный, длинный вечер, и можно еще вспомнить забытое. А еще лучше вспоминать все потом, ночью.

Вдруг я замечаю, что у нее расстегнулось платье. У нее чудное платье, я таких ни у кого не видел — от ворота до пояса мелкие кнопочки. И вот несколько кнопок теперь расстегнулись, а она этого не замечает. Но не может же она ходить по улицам в расстегнутом платье! Как бы мне сказать ей об этом? Может быть, взять и застегнуть самому? Сказать что-нибудь смешное и застегнуть, как будто это самое обыкновенное дело. Как было бы хорошо! Но нет, этого никак нельзя сделать, это просто невозможно. Тогда я отворачиваюсь, выжидаю паузу в ее разговоре и говорю, чтобы она застегнулась. Она сразу замолкает. А я смотрю на большую надпись, торчащую на крыше. Написано, что каждый может выиграть сто тысяч. Очень оптимистическая надпись. Вот бы нам выиграть когда-нибудь!

Потом я закуриваю. Я очень долго закуриваю. Вообще во всех трудных минутах лучше всего закурить. Это очень помогает. Потом я несмело взглядываю на нее. Платье застегнуто, щеки у нее пламенеют, глаза делаются темными и строгими. Она тоже смотрит на меня, смотрит так, будто я очень изменился или узнал про нее что-то важное. Теперь мы идем уже немного ближе друг к другу.

Час проходит за часом, а мы все ходим, говорим и ходим. По Москве можно ходить без конца. Мы выходим к Пушкинской площади, от Пушкинской спускаемся к Трубной, отсюда по Неглинке идем к Большому театру, потом к Каменному мосту... Я готов ходить бесконечно. Я только спрашиваю у нее, не устала ли она. Нет, она не устала, ей очень интересно. Гаснут фонари на улицах. Небо, дождавшись темноты, опускается ниже, звезд становится больше. Потом начинается тихий рассвет. На бульварах, тесно прижавшись, сидят влюбленные. На каждой скамейке по одной паре. Я смотрю на них с завистью и думаю, будем ли и мы с Лилей сидеть когда-нибудь так.

На улицах совсем нет людей, только милиционеры. Они все смотрят на нас. Некоторые выразительно покашливают, когда мы проходим. Наверное, им хочется что-нибудь сказать нам, но они не говорят. Лиля наклоняет голову и ускоряет шаг. А мне почему-то смешно. Теперь мы с ней идем почти рядом. Ее рука иногда касается моей. Это совсем незаметные прикосновения, но я их чувствую.

Наконец мы расстаемся в ее тихом гулком дворе. Все спят, не горит ни одно окно. Мы понижаем наши голоса почти до шепота, но слова все равно звучат громко, и мне кажется, нас кто-то подслушивает.

Домой я прихожу в три часа. Только сейчас я чувствую, как гудят ноги. Как же тогда устала она! Я зажигаю настольную лампу и начинаю читать. Я читаю «Замок Броуди», который дала мне Лилия. Это замечательная книга, я читаю ее, и все время вижу почему-то лицо Лили. Иногда я закрываю глаза и слышу ее нежный грудной голос. Между страниц мне попадает длинный темный волос. Это ее волос — ведь она читала «Замок Броуди». Почему я решил, что у нее жесткие волосы? Это очень мягкий, шелковистый волос. Я осторожно сворачиваю его и кладу в том Энциклопедии. Потом я спрячу его получше.

Совсем рассвело, и я не могу больше читать. Я ложусь и смотрю в окно. Мы живем очень высоко, на седьмом этаже. Из наших окон видны крыши многих домов. А вдали, там, откуда летом встает солнце, видна звезда Кремлевской башни. Одна только звезда видна. Я люблю подолгу смотреть на эту звезду. Ночью, когда в Москве тихо, я слышу бой курантов. Ночью все очень хорошо слышно. Я лежу, смотрю на звезду и думаю о Лиле.

3

А через неделю мы с матерью уезжаем на Север. Я давно мечтал об этой поездке — с самой весны. Но теперь жизнь в деревне для меня полна особенного значения и смысла.

Я впервые попадаю в леса, в настоящие дикие леса, и весь переполнен радостью первооткрывателя. У меня есть ружье, — мне купили его, когда я окончил девять классов, — и я охочусь. Я брожу совсем один и не скучаю. Иногда я устаю. Тогда я сажусь и смотрю на широкую реку, на низкое осеннее небо. Август. И на Севере очень часто стоит плохая погода. Но и в плохую погоду и в солнце я выхожу рано утром из дому и иду в лес. Там я охочусь и собираю грибы или просто перехожу с поляны на поляну и смотрю на белые ромашки, которых здесь множество. Мало ли что можно делать в лесу! Можно сесть на берегу озера и сидеть неподвижно. Прилетят утки, с шипением опустятся совсем рядом. Сначала они будут сидеть, прямо вытянув шеи, потом начнут нырять, плескаться, сплываться и расплываться. Я слежу за ними одними глазами, не поворачивая головы.

Потом выйдет солнце из-за туч, прорвется через листья над моей головой и запустит золотые дрожащие пальцы глубоко в воду. Тогда становятся видными длинные ржавые стебли кувшинок. Возле стеблей показываются большие рыбы. Они застывают в солнечном луче, не шевеля ни одним плавником, будто греются или спят. И мне очень странно следить за ними. Глядя на них, сам цепенеешь и воспринимаешь все как сквозь сон.

Мало ли что можно делать в лесу. Можно просто лежать, слушать гул сосен и думать о Лиле. Можно даже говорить с ней. Я рассказываю ей об охоте, об озерах и лесах, о прекрасном запахе ружейного дыма, и она понимает меня, хотя женщины вообще не любят и не понимают охоты.

Иногда я возвращаюсь домой ночью. Я иду полем, и мне немного страшно. Со мной заряженное ружье, но все-таки я часто оглядываюсь. Очень темно. Только в небе, если долго смотреть, можно заметить слабый свет. Но на земле очень темно. Надо мной кругами беззвучно летают совы. Я вижу их, но, сколько бы я ни прислушивался, мне не удастся услышать взмахов их крыльев. Однажды я выстрелил. Сова глухо ударилась о межу и долго потом щелкала во тьме клювом...

Через месяц я возвращаюсь в Москву. Прямо с вокзала, едва поставив дома чемоданы, я иду к Лиле. Вечер, ее окна светятся — значит, она дома. Я подхожу к окну, пробираясь через леса — ее дом ремонтируют, — и смотрю сквозь занавеску.

Она сидит за столом одна у настольной лампы и читает. Лицо ее задумчиво. Она перевертывает страницу, облакачивается, поднимает глаза и смотрит на лампу, наматывая на палец прядь волос. Какие у нее темные глаза. Почему я раньше думал, что они серые? Они совсем темные, почти черные. Я стою под лесами, пахнет штукатуркой и сосной. Этот сосновый запах доносится ко мне, как далекий отзвук моих охот, как воспоминание обо всем, что я оставил на Севере. За моей спиной слышны шаги прохожих. Люди идут куда-то, спешат, четко шагая по асфальту, у них свои мысли и свои любви, они живут каждый своей жизнью. Москва оглушила меня своим шумом, огнями, запахом, многолюдством, от которых я отвык за месяц. И я с робкой радостью думаю, как хорошо, что в этом огромном городе у меня есть любимая.

— Лиля! — зову я негромко.

Она вздрагивает, брови ее поднимаются. Потом она встает, подходит к окну, отодвигает занавеску, наклоняется ко мне, и я близко вижу ее темные радостные глаза.

— Алеша! — говорит она медленно. На щеках ее появляются едва заметные ямочки. — Алеша! Это ты? Это правда ты? Я сейчас выйду. Ты хочешь гулять? Я очень хочу гулять с тобой. Я сейчас выйду.

Я выбираюсь из лесов, перехожу на другую сторону и смотрю на ее окна. Вот гаснет свет, проходит короткая минута, и в черной дыре ворот показывается фигура Лили. Она сразу замечает меня и бежит ко мне через улицу. Она хватается мои руки и долго держит их в своих руках. Мне кажется, она загорела и немного похудела. Глаза ее стали еще больше. Я слышу, как колотится ее сердце и прерывается дыхание.

— Пойдем гулять! — говорит наконец она. И тут я обращаю внимание, что она говорит мне «ты». Мне очень хочется сесть или прислониться к чему-нибудь — так вдруг ослабли мои ноги. Даже после самых утомительных охот они так не дрожали.

Но мне неудобно идти с ней. Я только на минутку зашел повидать ее. Я так плохо одет. Я прямо с дороги, на мне лыжный костюм, сбитые ботинки. Костюм прожжен в нескольких местах. Это я ночевал на охоте. Когда спишь у костра, очень часто прожигает куртку и брюки. Нет, я никак не могу идти с ней.

— Какая чепуха! — беспечно говорит она и тянет меня за руку. Ей нужно со мной поговорить. Она совсем одна, подруги еще не приехали, родители на даче, она страшно скучает и все время ждала меня. При чем здесь костюм? И потом, почему я не писал? Мне, наверное, было приятно, что другие мучаются?

И вот мы опять идем по Москве. Очень странный, сумасшедший какой-то вечер. Начинается дождь, мы прячемся в гулкий подъезд и, задыхаясь от быстрого бега, смотрим на улицу. С шумом падает вода по водосточной трубе, тротуары блестят, автомашины проезжают совсем мокрые, и от них к нам ползут красные и белые змейки света, отражающегося на мокром асфальте. Потом дождь перестает, мы выходим, смеемся, перепрыгиваем через лужи. Но дождь начинается с новой силой, и мы снова прячемся. На ее волосах блестят капли дождя. Но еще сильнее блестят ее глаза, когда она смотрит на меня.

— Ты вспоминал обо мне? — спрашивает она. — Я почти все время о тебе думала, хоть и не хотела. Сама не знаю почему. Ведь мы знакомы так мало. Правда? Я читала книгу и вдруг думала, понравилась бы она тебе. У тебя уши не краснели? Говорят, если думаешь долго о ком-нибудь, у него начинают уши краснеть. Я даже в Большой не пошла. Мне мама дала один билет, а я не пошла. Ты любишь оперу?

— Еще бы! Я, может, скоро стану певцом. Мне сказали, что у меня хороший бас.

— Алеша! У тебя бас? Спой, пожалуйста! Ты потихоньку спой, и никто не услышит, одна я.

Сначала я отказываюсь. Потом я все-таки пою. Я пою романсы и арии и не замечаю, что дождь уже кончился, по тротуару идут прохожие и оглядываются на нас. Лиля тоже не замечает ничего. Она смотрит мне в лицо, и глаза ее блестят.

4

Молодым быть очень плохо. Жизнь проходит быстро, тебе уж семнадцать или восемнадцать лет, а ты еще ничего не сделал. Неизвестно даже, есть ли у тебя какие-нибудь таланты. А хочется большой, бурной жизни! Хочется писать стихи, чтобы вся страна знала их наизусть. Или сочинить героическую симфонию и выйти потом к оркестру — бледному, во фраке, с волосами, падающими на лоб... И чтобы в ложе непременно сидела Лиля! Что же мне делать? Что сделать, чтобы жизнь не прошла даром, чтобы каждый день был днем борьбы и побед! Я живу в тоске, меня мучит мысль, что я не герой, не открыватель. Способен ли я на подвиг? Не знаю. Способен ли я на тяжелый труд, хватит ли у меня сил на свершение великих дел? Хуже всего то, что никто не понимает моей муки. Все смотрят на меня как на мальчишку, даже иной раз ерошат мне волосы, будто мне еще десять лет! И только Лиля, одна Лиля понимает меня, только с ней я могу быть до конца откровенным.

Мы давно уже занимаемся в школе: она в девятом, я — в десятом. Я решил заняться плаванием и стать чемпионом СССР, а потом и мира. Уже три месяца хожу в бассейн. Кроль — самый лучший стиль. Это самый стремительный стиль. Он мне очень нравится. Но по вечерам я люблю мечтать.

Есть зимой короткая минута, когда снег на крышах и небо делаются темно-голубыми в сумерках, даже лиловыми. Я стою у окна, смотрю в открытую форточку на лиловый снег, дышу нежным морозным воздухом, и мне почему-то грезятся далекие путешествия, неизвестные страны, горы... Я голодаю, обрастаю рыжей бородой, меня печет солнце или до костей прохватывает мороз, я даже гибну, но открываю еще одну тайну природы. Вот жизнь! Если бы мне попасть в экспедицию!

Я начинаю ходить по трестам и главкам. Их много в Москве, и все они со звучными загадочными названиями. Да, экспедиции отправляются. В Среднюю Азию, и на Урал, и на Север. Да, работники нужны. Какая у меня специальность? Ах, у меня нет специальности... Очень жаль, но мне ничем не могут помочь. Мне необходимо учиться. Рабочим? Рабочих они нанимают на месте. Всего доброго!

И я снова хожу в школу, готовлю уроки... Что ж, придется покориться обстоятельствам. Хорошо, я окончу десять классов и даже поступлю в институт. Мне теперь все безразлично. Я поступлю в институт и стану потом инженером или учителем. Но в моем лице люди потеряют великого путешественника.

Наступил декабрь. Все свободное время я провожу с Лилей. Я люблю ее еще больше. Я не знал, что любовь может быть бесконечной. Но это так. С каждым месяцем Лиля делается мне все дороже, и уже нет жертвы, на которую я бы не пошел ради нее. Она часто звонит мне по телефону. Мы долго разговариваем, а после разговора я никак не могу взяться за учебники. Начались сильные морозы с метелями. Мать собирается ехать в деревню, но у нее нет теплого платка. Старинная теплая шаль есть у тети, которая живет за городом. Мне нужно поехать и привезти эту шаль.

В воскресенье утром я выхожу из дому. Но вместо того, чтобы ехать на вокзал, я захожу к Лиле. Мы идем с ней на каток, потом — греться в Третьяковку. В Третьяковке зимой очень тепло, там есть стулья, и на стульях можно посидеть и потихоньку поговорить. Мы бродим по залам, смотрим картины. Особенно я люблю «Девочку с персиками» Серова. Эта девочка очень похожа на Лилю. Лиля краснеет и смеется, когда я говорю ей об этом. Иногда мы совсем забываем о картинах, разговариваем

шепотом и смотрим друг на друга. Между тем быстро темнеет. Третьяковка скоро закрывается, мы выходим на мороз, и тут я вспоминаю, что мне нужно было съездить за шалью. Я с испугом говорю об этом Лиле. Ну что ж, очень хорошо, мы сейчас же поедем за город.

И мы едем, радостные оттого, что нам не нужно расставаться. Мы сходим на платформе, засыпанной снегом, и идем дорогой через поле. Впереди и сзади темнеют фигуры людей, идущих вместе с нами с электрички. Слышны разговоры и смех, вспыхивают огоньки папирос. Иногда кто-нибудь впереди бросает окурок на дорогу. Мы подходим, он все еще светится. Вокруг огонька — маленькое розовое пятнышко на снегу. Мы не наступаем на него. Пусть еще посветится во тьме. Потом мы переходим через замерзшую реку, и под нами гулко скрипит деревянный мост. Очень сильный мороз. Мы идем темной просекой. По сторонам совсем черные ели и сосны. Тут гораздо темнее, чем в поле. Только из окон некоторых дач падают на снег желтые полосы света. Многие дачи стоят совсем глухие, темные: в них, наверное, зимой не живут. Сильно пахнет березовыми почками и чистым снегом, в Москве так никогда не пахнет.

Наконец мы подходим к дому моей тети. Почему-то мне представляется невозможным заходить к ней вместе с Лилей.

— Лиля, ты подождешь меня немного? — нерешительно прошу я. — Я очень скоро.

— Хорошо, — соглашается она. — Только недолго. Я совсем замерзла. У меня замерзли ноги. И лицо. Нет, ты не думай, я рада, что поехала с тобой! Только ты недолго, правда?

Я уйду, оставляя ее на темной просеке совсем одну. У меня очень нехорошо на сердце.

Тетя и двоюродная сестра удивлены и обрадованы. Почему я так поздно? Как я вырос! Совсем мужчина. Наверное, я останусь ночевать?

— Как здоровье мамы?

— Спасибо, очень хорошо.

— Папа работает?

— Да, папа работает.

— Все там же? А как здоровье дяди?

Господи, тысячи вопросов! Сестра смотрит расписание поездов. Ближайший обратный поезд идет в одиннадцать часов. Я должен раздеться и выпить чаю. И потом я должен дать им посмотреть на себя и рассказать обо всем. Ведь я не был у них целый год. Год — это очень много.

Меня насильно раздевают. Топится печка, ярко горит лампа в розовом абажуре, стучат старинные часы. Очень тепло, и очень хочется чаю. Но на темной просеке меня ждет Лиля!

Наконец я говорю:

— Простите, но я очень спешу... Дело в том, что я не один. Меня на улице ждет... один приятель.

Как меня ругают! Я совсем невоспитанный человек. Разве можно оставлять человека на улице в такой холод! Сестра выбегает в сад, я слышу под окном хруст ее шагов. Немного погодя опять хрустит снег, и сестра вводит в комнату Лилю. Она совсем белая. Ее раздевают и сажают к печке. На ноги ей надевают теплые валенки.

Понемногу мы отогреваемся. Потом садимся пить чай. Лиля стала пунцовой от тепла и смущения. Она почти не поднимает глаз от чашки, только изредка страшно серьезно взглядывает на меня. Но щеки ее напряжены, и на них дрожат ямочки. Я уже знаю, что это значит, и очень счастлив! Я выпил уже пять стаканов чаю.

Потом мы встаем из-за стола. Пора ехать. Мы одеваемся, мне дают шаль. Но вдруг раздумывают, велят Лиле раздеться, укутывают ее шалью и сверху натягивают пальто. Она очень толстая теперь, лицо ее почти все закрыто шалью, только блестят глаза.

Мы выходим на улицу и первое время ничего не видим. Лиля крепко держится за меня. Отойдя от дома, мы начинаем немного различать тропинку. Лиля вдруг начинает хохотать. Она даже падает два раза, и мне приходится поднимать ее и вытряхивать снег из рукавов.

— Какой у тебя был вид! — еле выговаривает она. — Ты смотрел на меня, как страус, когда меня привели!

Я тоже хохочу во все горло.

— Алеша! — вдруг со сладким ужасом говорит она. — А ведь нас могут остановить!

— Кто?

— Ну, мало ли кто! Бандиты... Они могут нас убить.

— Ерунда! — говорю я громко.

Кажется, я говорю это слишком громко. И почему-то вдруг начинаю чувствовать, что на улице мороз. Он даже как будто покрепчал, пока мы пили чай и разговаривали.

— Ерунда! — опять повторяю я. — Никого здесь нет!

— А вдруг есть? — быстро спрашивает Лиля и оглядывается. Я тоже оглядываюсь.

— Ты боишься? — звонко спрашивает она.

— Нет! Хотя... А ты боишься?

— Ах, я страшно боюсь! Нас определенно разденут. У меня предчувствие.

— Ты веришь предчувствиям?

— Верю. Зачем я поехала? Впрочем, я рада все равно, что поехала.

— Да?

— Да! Если даже нас разденут и убьют, я все равно не пожалею. А ты? Ты согласишься бы умереть ради меня?

Я молчу и только крепче сжимаю ее руку. Если бы мне только представился случай, чтобы доказать ей свою любовь!

— Алеша...

— Да?

— Я у тебя хочу спросить... Только ты не смотри на меня. Не смей заглядывать мне в лицо! Да... о чем я хотела? Отвернись!

— Ну вот, я отвернулся. Только ты смотри на дорогу. А то мы споткнемся.

— Это ничего, я в платке, мне не больно падать.

— Да?

— Алеша... Ты целовался когда-нибудь?

— Нет. Никогда не целовался. А что?

— Совсем никогда?

— Я целовался один раз... Но это было в первом классе. Я поцеловал одну девочку. Я даже не помню, как ее звать.

— Правда? Ты не помнишь ее имени?

— Нет, не помню.

— Тогда это не считается. Ты был еще мальчик.

— Да, я был мальчик.

— Алеша... Ты хочешь меня поцеловать? Я все-таки спотыкаюсь. Теперь я не отворачиваюсь больше, я внимательно смотрю на дорогу.

— Когда? Сейчас? — спрашиваю я.

— Нет, нет... Если мы дойдем до станции и нас не убьют, тогда на станции я тебя поцелую.

Я молчу. Мороз, кажется, послабел. Я совсем его не чувствую. Очень горят щеки. И жарко. Или мы так быстро идем?

— Алеша...

— Да?

— Я совсем ни с кем не целовалась. Я молча взглядываю на звезды. Потом я смотрю вперед, на желтоватое зарево огней над Москвой. До Москвы тридцать километров, но зарево ее огней видно. Как все-таки чудесна жизнь!

— Это, наверное, стыдно — целоваться? Тебе было стыдно?

— Я не помню, это было так давно... По-моему, это не особенно стыдно.

— Да, это было давно. Но все-таки это, наверное, стыдно.

Мы идем уже полем. На этот раз мы совсем одни в пустом поле. Ни души не видно ни впереди, ни сзади. Никто не бросает на дорогу горящих окурков. Только звонко скрипят наши шаги. Вдруг впереди вспыхивает светлячок, бледный светлячок, похожий на далекую свечку. Он вспыхивает, качается некоторое время и гаснет. Потом опять зажигается, но уже ближе. Мы смотрим на этот огонек и наконец догадываемся: это электрический фонарик. Потом мы замечаем маленькие черные фигуры. Они идут нам навстречу от станции. Может быть, это приехавшие на электричке? Нет, электричка не проходила, мы не слышали никакого шума.

— Ну вот... — говорит Лиля и крепче прижимается ко мне. — Я так и знала. Сейчас нас убьют. Это бандиты.

Что я могу ей сказать? Я ничего не говорю. Мы идем навстречу черным фигурам, мы очень медленно идем. Я взглядываю, считаю: шесть человек. Нащупываю в кармане ключ и вдруг испытываю прилив горячего восторга и отваги. Как я буду драться с ними! Я задыхаюсь от волнения, сердце мое бурно колотится. Они громко говорят о чем-то, но шагах в двадцати от нас замолкают.

— Лучше бы я тебя поцеловала, — печально говорит Лиля. — Я очень жалею...

И вот мы встречаемся на дороге среди пустынного поля. Шестеро останавливаются, зажигают фонарик, его слабый красноватый луч, скользя по снегу, падает на нас. Мы щуримся. Нас оглядывают и молчат. У двоих распахнуты пальто. Один торопливо докуривает папиросу, сплевывает в снег. Я жду оклика или удара. Но нас не окликают. Мы проходим.

— А девочка ничего, — сожалеюще замечает кто-то сзади. — Эй, малый, не робей! А то отобьем!

— Ты испугался, да? — спрашивает Лиля немного погодя.

— Нет! Я только за тебя боялся...

— За меня? — Она сбоку странно смотрит на меня и замедляет шаги. — А я ни капельки не боялась! Мне только платка жалко было.

Больше до самой станции мы не говорим. У станции Лиля, становясь на цыпочки и обсыпаясь снегом, срывает веточку сосны и сует в карман. Потом мы поднимаемся на платформу. Никого нет. У кассы горит одна лампочка, и снег на платформе блестит, как соль. Мы начинаем топтать: очень холодно. Лиля вдруг отходит от меня и прислоняется к перилам. Я стою на краю платформы, над рельсами, и вытягиваю шею, стараюсь увидеть огонек электрички.

— Алеша... — зовет меня Лиля. У нее странный голос. Я подхожу. Ноги мои дрожат, мне делается вдруг чего-то страшно.

— Прижмись ко мне, Алеша, — просит Лиля. — Я совсем замерзла.

Я обнимаю ее и прижимаюсь к ней, и мое лицо почти касается ее лица. Я близко вижу ее глаза. Я впервые так близко вижу ее глаза. На ресницах у нее густой иней, волосы выбились из-под шали, и на них тоже иней. Какие у нее большие глаза и какой

испуганный взгляд! Снег скрипит у нас под ногами. Мы стоим неподвижно, но он скрипит. Сзади раздаётся вдруг звонкий щелчок. Он сухо катится по доскам, как по льду на реке, и затихает где-то на краю платформы. Почему мы молчим? Впрочем, совсем не хочется говорить.

Лиля шевелит губами. Глаза ее становятся совсем черными.

— Что же ты не целуешь меня? — слабо шепчет она. Пар от нашего дыхания смешивается. Я смотрю на ее губы. Они опять шевелятся и приоткрываются. Я нагибаюсь и долго целую их, и весь мир начинает бесшумно кружиться. Они теплые. Во время поцелуя Лиля смотрит на меня, прикрыв пушистые ресницы. Она целуется и смотрит на меня, и теперь я вижу, как она меня любит.

Так мы целуемся в первый раз. Потом она прижимается холодной щекой к моему лицу, и мы стоим не шевелясь. Я смотрю поверх ее плеча, в темный зимний лес за платформой. Я чувствую на лице ее теплое детское дыхание и слышу торопливый стук ее сердца, а она, наверное, слышит стук моего сердца. Потом она шевелится и затаивает дыхание. Я отклоняюсь, нахожу ее губы и опять целую. На этот раз она закрывает глаза.

Вдали слышен низкий гудок, сверкает ослепительная звездочка. Подходит электричка. Через минуту мы входим в светлый и теплый вагон, со стуком захлопываем за собой дверь и садимся на теплую лавочку. Людей в вагоне мало. Одни читают, шуршат газетами, другие дремлют, покачиваясь вместе с вагоном. Лиля молчит и всю дорогу смотрит в окно, хоть стекла замерзли, на дворе ночь и решительно ничего нельзя увидеть.

5

Наверное, никогда невозможно с точностью указать минуту, когда пришла к тебе любовь. И я никак не могу решить, когда я полюбил Лилю. Может быть, тогда, когда я, одинокий, бродил по Северу? А может, во время поцелуя на платформе? Или тогда, когда она впервые подала мне руку и нежно сказала свое имя: Лиля? Я не знаю. Я только одно знаю, что теперь уж я не могу без нее. Вся моя жизнь теперь делится на две части: до нее и при ней. Как бы я жил и что значил без нее? Я даже думать об этом не хочу, как не хочу думать о возможной смерти моих близких.

Зима наша прошла чудесно. Все было наше, все было общее: прошлое и будущее, радость и вся жизнь до последнего дыхания. Какое счастливое время, какие дни, какое головокружение!

Но весной я начинаю кое-что замечать. Нет, я ничего не замечаю, я только чувствую с болью, что наступает что-то новое. Это даже трудно выразить. Просто у нас обнаруживается разница в характерах. Ей не нравятся мои взгляды, она смеется над моими мечтами, смеется жестоко, и мы несколько раз ссоримся. Потом... Потом все катится под гору, все быстрее, все ужаснее. Все чаще ее не оказывается дома, все чаще разговоры наши делаются неестественно веселыми и пустыми. Я чувствую, как уходит она от меня с каждым разом все дальше, все дальше...

Сколько в мире девушек, которым по семнадцать лет! Но ты знаешь одну, только одной ты смотришь в глаза, видишь их блеск, и глубину, и влажность, только ее голос трогает тебя до слез, только ее руки ты боишься даже поцеловать. Она говорит с тобой, слушает тебя, смеется, молчит, и ты видишь, что ты единственный ей нужен, что только тобой она живет и для тебя, что тебя одного она любит, так же как и ты ее.

Но вот ты с ужасом замечаешь, что глаза ее, прежде отдававшие тебе свою теплоту, свой блеск, свою жизнь, глаза ее теперь равнодушны, ушли в себя и что вся она ушла от тебя в такую дальнюю даль, где тебе ее уже не достать, откуда не вернуть ее.

Самые священные твои порывы, затаенные и гордые мысли — не для нее, и сам ты со всей сложностью и красотой своей души — не для нее. Ты гонишься за нею, ты напрягаешься, усиливаешься, но все мимо, мимо, все не то и не так. Она ускользнула, ушла, она где-то у себя, в своем чудесном неповторимом мире, а тебе нет туда доступа, ты грешник — и рай не для тебя. Какое же отчаяние, злоба, сожаление и горе охватывают тебя! Ты опустошен, обманут, уничтожен и несчастен! Все ушло, и ты стоишь с пустыми руками, и впопыхам тебе упасть и кричать, взывая к неведомому богу о своей боли и бессилии. И когда ты упадешь и закричишь, она взглянет на тебя, в глазах ее появится испуг, удивление, жалость — все, но того, что тебе надо, не появится, и единственного взгляда ты не получишь, ее любовь, ее жизнь не для тебя. Ты даже можешь стать героем, гением, человеком, которым будет гордиться страна, но единственного взгляда ты никогда не получишь. Как больно! Как тяжело жить!

И вот уже весна... Много солнца и света, голубое небо, липы на бульварах начинают тонко пахнуть. Все бодро оживлены, все собираются встречать Май. И я, как и все, тоже собираюсь. Мне подарили к Маю сто рублей — теперь я самый богатый человек! И у меня впереди целых три свободных дня. Три дня, которые я проведу с Лилей — не станет же она и в эти дни готовиться к экзаменам! Нет, я не пойду никуда, никакие компании мне не нужны, я буду эти дни вместе с ней. Мы так давно не были вместе...

Но она не может быть со мной. Ей нужно ехать на дачу к больному дяде. Ее дядя болен, и ему скучно, он хочет встретить Май в кругу родных, и вот они едут — ее родители и она. Прекрасно! Очень хорошо встретить Май на даче. Но мне так хочется побыть с ней... Может быть, второго мая?

Второго? Она раздумывает, наморщив лоб, и слегка краснеет. Да, может быть, она вырвется... Конечно, она очень хочет! Мы ведь так давно не были вместе. Итак, второго вечером, у Телеграфа на улице Горького.

В назначенный час я стою у Телеграфа. Как много здесь народу! Над моей головой глобус. Еще сумерки, но он уже светится — голубой, с желтыми материками — и тихонько крутится. Полыхает иллюминация: золотые колосья, голубые и зеленые искры. От света иллюминации лица у всех очень красивые. У меня в кармане сто рублей. Я их не истратил вчера, и они со мной — мало ли куда мы можем пойти сегодня. В парк или в кино... Я терпеливо жду. Крутом все нервничают, но я удивительно спокоен.

По улице, прямо по середине идут толпы людей. Как много девушек и ребят, и все поют, кричат что-то, играют на аккордеонах. На всех домах флаги, лозунги, много огней. Поют песни, и мне тоже хочется запеть, ведь у меня хороший голос. У меня бас. Я когда-то мечтал стать певцом. О многом я мечтал...

Вдруг я вижу Лилю. Она пробирается ко мне, поднимается по ступенькам, и на нее все оглядываются — так она красива. Я никогда не видел ее такой красивой. Сердце мое начинает колотиться. Она быстро оглядывает всех, глаза ее перебегают по лицам, ищут кого-то. Они ищут меня. Я делаю шаг ей навстречу, один только шаг, и вдруг острая боль ударяет меня в сердце, и во рту становится сухо. Она не одна! Рядом с ней стоит парень в шляпе и смотрит на меня. Он красивый, этот парень, и он держит ее под руку. Да, он держит ее под руку, тогда как я только на второй месяц осмелился взять ее под руку.

— Здравствуй, Алеша, — говорит Лилия. Голос у нее немного дрожит, а в глазах смущение. Только небольшое смущение, совсем маленькое. — Ты давно ждешь? Мы, кажется, опоздали...

Она смотрит на большие часы под глобусом и чуть хмурится. Потом она поворачивает голову и смотрит на парня. У нее очень нежная шея, когда она смотрит на него. Смотрела ли она так на меня?

— Познакомьтесь, пожалуйста!

Мы знакомимся. Он крепко жмет мне руку. В его пожатии уверенность.

— Ты знаешь, Алеша, сегодня у нас с тобой ничего не выйдет. Мы идем сейчас в Большой театр... Ты не обижаешься?

— Нет, я не обижаюсь.

— Ты проводишь нас немножко? Тебе ведь все равно сейчас нечего делать.

— Провожу. Мне действительно нечего делать.

Мы вливаемся в поток и вместе с потоком движемся вниз, к Охотному ряду. Зачем я иду? Что со мной делается? Кругом поют. Играют аккордеоны. На крышах домов гремят репродукторы. В кармане у меня сто рублей! Совсем новая хрустящая бумажка в сто рублей. Но зачем я иду, куда я иду!

— Ну, как дядя? — спрашиваю я.

— Дядя? Какой дядя?.. Ах, ты про вчерашнее? — Она закусывает губу и быстро взглядывает на парня. — Дядя поправляется... Мы очень здорово встретили Май, так весело было! Танцевали... А ты? Ты хорошо встретил?

— Я? Очень хорошо.

— Ну, я рада!

Мы заворачиваем к Большому театру. Мы идем все рядом, втроем. Теперь не я держу ее под руку. Ее руку держит этот красивый парень. И она уже не со мной, она с ним. Она сейчас за тысячу верст от меня. Почему у меня першит в горле? И щиплет глаза? Заболел я, что ли? Доходим до Большого театра, останавливаемся. Молчим. Совершенно не о чем говорить. Я вижу, как парень легонько сжимает ее локоть.

— Ну мы пойдем. До свидания! — говорит Лиля и улыбается мне. Какая у нее виноватая и в то же время отсутствующая улыбка!

Я пожимаю ее руку. Все-таки у нее прекрасная рука. Они поворачиваются и неторопливо идут под колонны. А я стою и смотрю ей вслед. Она очень выросла за этот год. Ей уже семнадцать лет. У нее легкая фигура. Где я впервые увидел ее фигуру? Ах, да, в черной дыре ворот, когда я приехал с Севера. Тогда ее фигура поразила меня. Потом я любовался ею в Колонном зале и в Консерватории. Потом на школьном балу... Изумительный зимний бал! А сейчас она уходит и не оглядывается. Раньше она всегда оглядывалась, когда уходила. Иногда она даже возвращалась, внимательно смотрела мне в лицо и спрашивала:

— Ты что-то хочешь мне сказать?

— Нет, ничего, — отвечал я со смехом, счастливый оттого, что она вернулась.

Она быстро оглядывалась по сторонам и говорила:

— Поцелуй меня!

И я целовал ее, пахнущую морозом, на площади или на углу улицы. Она любила эти мгновенные поцелуи на улице.

— Откуда им знать! — говорила она о людях, которые могли увидеть наш поцелуй. — Они ничего не знают! Может, мы брат и сестра. Правда?

Теперь она не оглядывается. Я стою, и мимо меня идут люди, обходят меня, как столб, как вещь. То и дело слышен смех. Идут по двое, и по трое, и целыми группами, — совсем нет одиноких. Одинокому невыносимо на праздничной улице. Одинокие, наверное, сидят дома. Я стою и смотрю... Вот они уже скрылись в освещенном подъезде. Весь вечер они будут слушать оперу, наслаждаясь своей близостью. Надо мной в фиолетовом небе летит и никак не может улететь крылатая четверка коней. И в кармане у меня сто рублей. Совсем новая бумажка, которую я не истратил вчера...

Прошел год. Мир не разрушился, жизнь не остановилась. Я почти позабыл о Лиле. Да, я забыл о ней. Вернее, я старался не думать о ней. Зачем думать? Один раз я

встретился с ней на улице. Правда, у меня похолодела спина, но я держался ровно. Я совсем потерял интерес к ее жизни. Я не спрашивал, как она живет, а она не спросила, как живу я. Хотя у меня произошло за это время много нового. Год — это ведь очень много!

Я учусь в институте. Я очень хорошо учусь, никто не отвлекает меня от учебы, никто не зовет меня гулять. У меня много общественной работы. Я занимаюсь плаванием и уже выполнил норму первого разряда. Наконец-то я овладел кролем. Кроль — самый стремительный стиль. Впрочем, это не важно.

Однажды я получаю от нее письмо. Опять весна, снова май, легкий май, у меня очень легко на душе. Я люблю весну. Я сдам экзамены и перехожу на второй курс. И вот я получаю от нее письмо. Она пишет, что вышла замуж. Еще она пишет, что уезжает с мужем на Север и очень просит прийти проводить ее. Она называет меня «милый», и она пишет в конце письма: «Твоя старая, старая знакомая».

Я долго сижу и смотрю на обои. У нас красивые обои с очень замысловатым рисунком. Я люблю смотреть на эти рисунки. Конечно, я провожу ее, раз она хочет. Почему бы нет? Она не враг мой, она не сделала мне ничего плохого. Я провожу ее, тем более что я давно все забыл: мало ли чего не бывает в жизни! Разве все запомнишь, что случилось с тобой год назад!

И я еду на вокзал в тот день и час, которые написала она мне в письме. Долго ищу я ее на перроне, наконец нахожу. Я увидел ее внезапно и даже вздрогнул. Она стоит в светлом платье с открытыми руками, и первый загар уже тронул ее руки и лицо. У нее по-прежнему нежные руки. Но лицо изменилось, оно стало лицом женщины. Она уже не девочка, нет, не девочка... С ней стоят родные и муж — тот самый парень. Они все громко говорят и смеются, но я замечаю, как Лиля нетерпеливо оглядывается: она ждет меня.

Я подхожу. Она тотчас берет меня под руку.

— Я на одну минуту, — говорит она мужу с нежной улыбкой.

Муж кивает и приветливо смотрит на меня. Да, он меня помнит. Он великодушно протягивает мне руку. Потом мы с Лилей отходим.

— Ну вот я и дама, и уезжаю, и прощай Москва, — говорит Лиля и грустно смотрит на башни вокзала. — Я рада, что ты приехал. Странно как-то все... Ты очень вырос. Как ты живешь?

— Хорошо, — отвечаю я и пытаюсь улыбнуться. Но улыбка у меня не получается, почему-то деревенеет лицо. Лиля внимательно смотрит на меня, лоб ее перерезает морщинка. Это у нее всегда, когда она думает.

— Что с тобой? — спрашивает она.

— Ничего. Я просто рад за тебя... Давно вы поженились?

— Всего неделю. Это такое счастье!

— Да, это счастье.

Лиля смеется.

— Откуда тебе знать! Но постой, у тебя очень странное лицо!

— Это кажется. Это от солнца. Потом, я немного устал, у меня ведь экзамены.

Немецкий...

— Проклятый немецкий? — смеется она. — Помнишь, я тебе помогала?

— Да, я помню. — Я раздвигаю губы и улыбаюсь.

— Слушай, Алеша, в чем дело? — тревожно спрашивает Лиля, придвигаясь ко мне. И я опять близко вижу ее прекрасное лицо, из которого уже ушло что-то. Да, оно переменилось, оно теперь почти чужое мне. Лучше ли оно стало, я не могу решить. — Ты скрываешь что-то, — с упреком говорит она. — Раньше ты был не такой!

— Нет, нет, ты ошибаешься, — убежденно говорю я. — Просто я не спал ночь.

Она смотрит на часы. Потом оглядывается. Муж кивает ей.

— Сейчас! — кричит она ему и снова берет меня за руку. — Ты знаешь, как я счастлива! Порадуйся же за меня. Мы едем на Север, на работу... Помнишь, как ты рассказывал мне о Севере? Вот... Ты рад за меня?

Зачем, зачем она спрашивает у меня об этом! Вдруг она начинает смеяться.

— Ты знаешь, я вспомнила... Помнишь, зимой на платформе мы с тобой поцеловались? Я тебя поцеловала, а ты дрожал так, что платформа скрипела. Ха-ха-ха... У тебя был тогда глупый вид.

Она смеется. Потом смотрит на меня веселыми серыми глазами. Днем глаза у нее серые. Только вечером они кажутся темными. На щеках у нее дрожат ямочки.

— Какие мы дураки были! — беспечно говорит она и оглядывается на мужа. Во взгляде ее нежность.

— Да, мы были дураки, — соглашаюсь я.

— Нет, дураки — не так, не то... Мы были просто глупые дети. Правда?

— Да, мы были глупые дети.

Впереди загорается зеленый огонек светофора. Лиля идет к вагону. Ее ждут.

— Ну, прощай! — говорит она. — Нет, до свиданья! Я тебе напишу, обязательно!

— Хорошо.

Я знаю, что она не напишет. Зачем? И она знает это. Она искоса взглядывает на меня и немного краснеет.

— Я все-таки рада, что ты приехал проводить. И, конечно, без цветов! Ты никогда не подарил мне ни одного цветка!

— Да, я не подарил тебе ничего...

Она оставляет мою руку, берет под руку мужа, и они поднимаются на площадку вагона. Мы остаемся внизу на платформе. Ее родные что-то спрашивают у меня, но я ничего не понимаю. Впереди низко и долго гудит электровоз. Вагоны трогаются. Удивительно мягко трогает электровоз вагоны! Все улыбаются, машут платками, кепками, кричат, идут рядом с вагонами. Играют сразу две или три гармошки в разных местах, в одном вагоне громко поют. Наверно, студенты. Лилия уже далеко. Одной рукой она держится за плечо мужа, другой машет нам. Даже издали видно, какие нежные у нее руки. И еще видно, какая счастливая у нее улыбка.

Поезд уходит. Я закуриваю, засовываю руки в карманы и с потоком провожающих иду к выходу на площадь. Я сжимаю папиросу в зубах и смотрю на серебристые фонарные столбы. Они очень блестят от солнца, даже глазам больно. И я опускаю глаза. Теперь можно признаться: весь год во мне все-таки жила надежда. Теперь все кончено. Ну что ж, я рад за нее, честное слово, рад! Только почему-то очень болит сердце.

Обычное дело, девушка вышла замуж — это ведь всегда так случается. Девушки выходят замуж, это очень хорошо. Плохо только, что я не могу плакать. Последний раз я плакал в пятнадцать лет. Теперь мне двадцатый. И сердце стоит в горле и поднимается все выше — скоро его можно будет жевать, а я не могу плакать. Очень хорошо, что девушки выходят замуж...

Я выхожу на площадь, в глаза мне бросается циферблат часов на Казанском вокзале. Странные фигуры вместо цифр — я никогда не мог в них разобраться. Я подхожу к газировщице. Сначала я прошу с сиропом, но потом раздумываю и прошу чистой воды. Неловко пить с сиропом, когда сердце подступает к горлу. Я беру холодный стакан и набираю в рот воды, но не могу проглотить. Кое-как я глотаю наконец, всего один глоток. Кажется, стало легче.

Потом я спускаюсь в метро. Что-то сделалось с моим лицом: я замечаю, что многие пристально на меня смотрят. Дома я некоторое время думаю о Лиле. Потом я снова начинаю рассматривать узоры на обоях. Если заглядеться на них, можно уви-

деть много любопытного. Можно увидеть джунгли и слонов с задранными хоботами. Или фигуры странных людей в беретах и плащах. Или лица своих знакомых. Только Лирино лицо нет на обоях...

Наверное, она сейчас проезжает мимо той платформы, на которой мы поцеловались в первый раз. Только сейчас платформа вся в зелени. Посмотрит ли она на эту платформу? Подумает ли обо мне? Впрочем, зачем ей смотреть? Она смотрит сейчас на своего мужа. Она его любит. Он очень красивый, ее муж.

7

Ничто не вечно в этом мире, даже горе. А жизнь не останавливается. Нет, никогда не останавливается жизнь, властно входит в твою душу, и все твои печали развеиваются, как дым, маленькие человеческие печали, совсем маленькие по сравнению с жизнью. Так прекрасно устроен мир.

Теперь я кончаю институт. Кончилась моя юность, отошла далеко-далеко, навсегда. И это хорошо: я взрослый человек и все могу, и мне не ерошат волосы, как ребенку. Скоро я поеду на Север. Не знаю, почему-то меня все тянет на Север. Наверное, потому, что я там охотился когда-то и был счастлив. Лилю я совсем забыл, ведь столько лет прошло! Было бы очень трудно жить, если бы ничто не забывалось. Но, к счастью, многое забывается. Конечно, она так и не написала мне с Севера. Где она — я не знаю, да и не хочу знать. Я о ней совсем не думаю. Жизнь у меня хороша. Правда, не стал я ни поэтом, ни музыкантом... Ну что ж, не всем быть поэтами! Спортивные соревнования, конференции, практика, экзамены — все это очень занимает меня, ни одной минуты нет свободной. Кроме того, я научился танцевать, познакомился со многими красивыми и умными девушками, встречаюсь с ними, в некоторых влюбляюсь, и они влюбляются в меня...

Но иногда мне снится Лиля. Она приходит ко мне во сне, и я вновь слышу ее голос, ее нежный смех, трогаю ее руки, говорю с ней — о чем, я не помню. Иногда она печальна и томна, иногда радостна, на щеках ее дрожат ямочки, очень маленькие, совсем незаметные для чужого взгляда. И я тогда вновь оживаю, и тоже смеюсь, и чувствую себя юным и застенчивым, будто мне по-прежнему семнадцать лет и я люблю впервые в жизни.

Я просыпаюсь утром, еду в институт на лекции, дежурю в профкоме или выступаю на комсомольском собрании. Но мне почему-то тяжело в этот день и хочется побыть одному, посидеть где-нибудь с закрытыми глазами.

Но это бывает редко: раза четыре в год. И потом, это все сны. Сны, сны... Непрошенные сны!

Я не хочу снов. Я люблю, когда мне снится музыка. Говорят, если спать на правом боку, сны перестанут сниться. Я стану спать теперь на правом боку. Я буду спать крепко и утром просыпаться веселым. Жизнь ведь так прекрасна!

Ах, господи, как я не хочу снов!

1956

НЕКРАСИВАЯ

Свадьба была в самом разгаре. Жениха с невестой давно свели в другую избу, прокричали по деревне первые петухи, а гармонист все играл, изба дрожала от дробного топота, ослепительно и жарко горели пять ламп, и на окнах еще висели неутомные ребята.

Много было выпито и съедено, много пролито слез, много спето и сплясано. Но каждый раз на стол ставилась еще водка и закуска, гармониста сменял патефон с фокстротами и танго, топот и присядку — шарканье подошв, и веселье не убывало, все слышнее становилось на улице и еще дальше, в поле и у реки, и теперь во всех окрестных деревнях знали, что в Подворье гуляют.

Всем было весело, только Соне было тяжело и тоскливо на душе. Острый нос ее покраснел от выпитой водки, в голове шумело, сердце больно билось от обиды, от того, что никто ее не замечает, что всем весело, все в этот вечер влюблены друг в друга, и только в нее никто не влюблен и никто не приглашает танцевать.

Она знала, что некрасива, стыдилась своей худой спины и столько уж раз давала зарок не ходить на вечера, где танцуют и поют, и влюбляются, но каждый раз не выдерживала и шла, все надеясь на какое-то счастье.

Даже раньше, когда она была моложе и училась в институте, в нее никто не влюблялся. Ее ни разу не проводили домой, ни разу не поцеловали. Она окончила институт, поехала работать в деревню, ей дали комнату при школе. Вечерами она проверяла тетради, читала, учила на память стихи о любви, ходила в кино, писала длинные письма подругам и тосковала. За два года почти все подруги ее вышли замуж, а у нее за это время еще больше поблекло лицо и похудела спина.

И вот ее, словно в насмешку, пригласили на свадьбу, и она пришла. Она жадно смотрела на счастливую невесту, вместе со всеми кричала слабым голосом: «Горько!» — и ей было действительно горько от мысли, что своей свадьбы она никогда не сыграет.

Ее познакомили с ветеринарным фельдшером Николаем, мрачным парнем с резким красивым лицом и черными глазами. Их посадили рядом, и он пробовал сначала ухаживать за ней. Соня пила и ела все, что он предлагал, благодарила взглядом, и ей казалось, что взгляд ее выразителен и полон интимной нежности.

Но Николай почему-то все больше мрачнел, скоро перестал ухаживать за ней, начал заговаривать с кем-то через стол. Потом он совсем ушел от нее, много плясал, вскрикивая, болтая длинными руками, изумленно озирался кругом, подходил к столу, пил водку. А после вышел в сени и больше не вернулся.

Теперь Соня сидела одна в углу, думала о своей жизни, презирала всех этих довольных и счастливых, пьяных, потных, презирала и жалела себя.

Недавно она сшила платье, очень хорошее, темно-синее платье. Все хвалили его и говорили, что оно ей к лицу. И вот платье не помогло, и все осталось, как было...

Часа в три ночи Соня, всеми забытая, несчастная, с красными пятнами на щеках, вышла в сени и оттуда — на крыльцо.

Избы стояли черные. Деревня спала, везде было тихо, только из открытых окон избы, где гуляли, неслись в темноту пронзительные звуки гармошки, крики и топот ног. Свет пятнами падал на траву, и трава казалась рыжей.

У Сони задрожал подбородок. Она закусила губу, но это не помогло. Тогда она сошла с крыльца, еле смогла дойти до березы, нежно белеющей в темноте, привалилась к ней плечом и зарыдала. Ей было стыдно рыданий, она боялась, что услышат, и, чтобы не услышали, зажала в зубы душистый платок. Но ее никто не слышал. «Ну,

довольно! — говорила себе Соня, крепко закрывая глаза. — Ну, хватит же! Больше не надо! Нужно идти!» И она хотела идти, откачивалась от березы, а ноги не держали ее, и идти она не могла.

— Что такое? — громко спросил кто-то сзади.

Соня затаила дыхание, быстро вынула изо рта платок, вытерла о плечо лицо, не отпуская березы, стыдливо оглянулась. Это был Николай. Его качало, чтобы не упасть, он схватил ее за плечо. Рука его была перепачкана землёй.

— А! — пьяно сказал он. — Это вы? А я... на огороде... был. — Он качнулся и прижался к ней. — На свадьбу, сволочь, пригласил! — с усилием выговорил он. — А! Убью! Теперь все! Литром хотел откупиться... Врешь, гад! Меня не купишь!

Николай заскрипел зубами и матерно выругался.

— Вам плохо? — испуганно спросила Соня. — Хотите воды?

— Кого? Мутит меня...

Он оторвался от Сони и пошел за угол. Соне стало его жалко. Она принесла из сеней ведро воды, стала поливать ему на голову. Он покорно нагибался, фыркал, бубнил что-то невнятное.

Потом с мокрой головой, в рубашке, он сидел на крыльце и курил, а Соня отмывала пиджак.

— Вам легче теперь? — тихо спросила она, боясь, что кто-нибудь выйдет и увидит ее.

— Малость полегчало... Чего это я вас раньше не видел? Я тут всех знаю.

— Я редко хожу на гулянки.

— А! Вы при школе живете?

— При школе.

— Провожу, желаете?

Николай встал, надел пиджак, помотал головой и пошел в сени напиться.

— Вы чего плакали-то? — спросил он, вернувшись. — Обидел кто? — У Сони благодарно забилось сердце. Она опустила голову.

— Нет, никто не обидел...

— А то вы скажите! Если кто тронул, я ему, гаду, ребра поломаю! — Николай взял Соню под руку, они перешли пыльную дорогу, свернули налево, пошли тропинкой мимо плетней и огородов. Роса уже пала, трава была мокрой.

Соне хотелось смеяться. Она была для себя сейчас как чужая. Ей хотелось положить голову Николаю на плечо, но она стыдилась этого желания, а когда Николай, качнувшись, прижимался к ней, она поспешно отстранялась.

— Послушайте, вы совсем пьяный! — с нежным укором, как старому знакомому, говорила она ему.

— Ну да! — Николай тер себе рукою лицо. — Какой там пьяный.

Они подошли к школе и поднялись на крыльцо. Соня растерялась. Она не знала, что делать: уйти сразу или постоять? Сначала она хотела уйти, но, испугавшись, что Николай обидится, осталась.

Николай почему-то опять опьянел, сипло дышал, держал Соню за руку.

— Ну расскажите же что-нибудь, — попросила она, поднимая к небу бледное в темноте лицо.

— Чего там рассказывать?.. — хрипло сказал он, схватил ее, сжал так, что хрустнули кости, и стал целовать мокрыми губами.

— Пустите! — шептала она, вырываясь. — Пустите!

— Тихо! — говорил он шепотом, толкал ее в темные сени. — Тихо! Чего ты, ну чего ты, дура!

В сенях он прижал ее к стене.

— Коля... Успокойся, милый! Боже мой, что же это?

— Любишь меня? — бормотал Николай. — У, собака!

— Не надо, Коля, не надо! — сказала она вдруг так печально, что Николай выпустил ее.

Отдышавшись, он покашлял немного, закурил, посмотрел при свете спички ей в лицо.

— Ну ладно... — сказал он. — Не сердись! Ты вот что... Ты приходи завтра к риге. Придешь?

— Когда? — спросила шепотом Соня, вся дрожа.

— Часов в семь. Ладно?

— Приду...

— Ага... — Николай несколько раз жадно затянулся, бросил окурочек, долго притаптывал его каблуком. — Ну, пока!

Он еще раз поцеловал ее, но уже спокойно, помял ей ладонью лицо, сошел с крыльца и пропал в темноте. Через минуту он запел. Песня была пьяной и фальшивой.

Дома Соня осторожно ходила по комнате, раздевалась, пила холодный чай. Раздевшись, в одной рубашке она подошла к зеркалу, долго с грустью смотрела на свое лицо, острые плечи и ключицы. «Боже мой, какая я страшная! — подумала она и вздрогнула. — Надо пить рыбий жир! Обязательно рыбий жир!»

Она полезла в стол и прямо из масленки стала есть сливочное масло. Масло было ей противно, но она глотала его ложками и думала о Николае. Потом она потушила свет и легла, но заснуть не могла. В Москве, против ее дома, горел фонарь, росли липы, и тени от них всю ночь трепетали на стеклах. Здесь за окном была глухая тьма.

— Это любовь? — спрашивала вслух Соня и поворачивалась к стене.

Весь следующий день Соня была сама не своя. С утра пошел было дождь. Диктуя ребятам какой-то отрывок, Соня с испугом смотрела в окно на мокрых кур и лужи. Но дождь прошел, небо очистилось, и к вечеру проезжающие мимо школы автомашины оставляли уже за собой хвосты пыли.

После работы Соня села писать подруге. Она писала о том, что вчера один парень провожал ее и сегодня назначил свидание. Письмо получилось большим и веселым. Окончив его, Соня почему-то решила, что влюблена в Николая. Она отнесла письмо на почту, пришла и легла, повернувшись к стене.

Она думала, придет Николай или нет, а если придет, то как будет держать себя и что говорить. Еще со страхом думала она, что ей делать, если он опять станет целовать ее. Эти мысли так расстроили ее, что у нее тряслись руки, когда она стала одеваться.

Она надела вчерашнее темно-синее платье, завила немножко волосы и надушилась. Ладони ее потели.

Когда она шла по деревне, ей казалось, что из всех окон на нее смотрят и что все знают, куда и зачем она идет. Ей было стыдно, она хотела прибавить шагу и не могла. Только в поле она вздохнула свободнее. Было тепло, дорога слегка пылила, солнце опускалось в багровую дымку. На меже, близ дороги, стоял трактор. Замасленный тракторист ковырялся в моторе. Увидев Соню, он разогнулся, вытер о штаны руки, закурил и задумчиво посмотрел ей вслед.

Сойдя в ложок, на дне которого не высыхала никогда исследованная коровами грязь, Соня вдруг испугалась, что Николай может прийти раньше и уйти, не дождав-шись ее. Она прибавила шагу, потом побежала.

Она остановилась, когда вдали показалась рига. Никого не было возле риги, и Соня обрадовалась. Она немного передохнула, потом сняла и вытерла травой запыленные туфли. Ей покачало сидеть со стороны дороги, и она перешла на другую сторону. Там было тепло, от нагретой за день стены шел жар.

Пришел мальчишка с удочками, стал рыть червей. Соня, покраснев, опять вышла к дороге. По дороге ехали на телегах из города, посматривали в ее сторону, а мальчишка, как назло, долго не уходил. Соне стало жарко. Наконец мальчишка, накопав червей, ушел. Несколько раз он насмешливо обернулся. «Он догадался! — со стыдом думала Соня. — Хорошо, что он не из моей школы!»

Она опять спряталась за ригу, сорвала ромашку. Лепестки у ромашки были опущены, она была похожа на ракету. Соня стала отрывать лепестки! «Придет, не придет...» Вышло — не придет. Хуже всего было, что Соня не знала, откуда придет Николай. Она вставала, выходила из-за риги, оглядывалась, снова пряталась. Она совсем измучилась, когда показался Николай. Он шел низом от реки, засунув руки в карманы, в накинутах на плечи пиджаке. Подходя, он с напряженным вниманием разглядывал Соню, как человек, что-то забывший и силившийся вспомнить. Лицо его делалось все скучней. Подойдя, он отвел глаза и вяло протянул руку.

— Привет...

— Здравствуйте, — ответила Соня, не смея поднять глаз.

— Давно ждете?

— Нет...

— Гм... Ну, зайдем в холодок.

Они обошли ригу и сели на ворохе соломы лицом к дороге. Солнце заходило, все меркло, тень от риги протянулась через все поле.

— Благополучно вчера дошли? — спросила Соня, быстро взглядывая на Николая и сочувственно, понимающе улыбаясь.

— Нормально... — Николай зевнул и снял пиджак. — Не выспался только.

— Вы вчера были нехороший, — мягко сказала Соня.

— Чего еще! — Николай равнодушно обнял Соню, притянул, хотел поцеловать, но раздумал, подышал только за ворот.

— Скоро стемнеет, — заметила Соня, покорно прикивая к Николаю и слыша гулкие удары его сердца.

— Как попозднее, пойдем в горох, а? — Николай мотнул головой куда-то вправо. — Там шалаш есть. Пойдешь?

— Не надо об этом, Коля, — тихо попросила Соня и вздохнула.

— Эх, — воскликнул вдруг Николай. — Спать охота! Ну-ка дай прилягу...

Он отодвинулся и лег, разбросав ноги в сапогах, положил голову Соне на колени. Полежав немного с закрытыми глазами, он закинул руку и схватил Соню за бок.

— Чего это ты худая такая?

Соня перестала на минуту дышать.

— Конституция такая, — насильно улыбаясь, сказала она.

— Ну, конституция! Наверно, больная чем-нибудь. Это как скотина: заболела — как ни корми, все одни мосляки.

Соне вдруг стало все безразлично, и она несколько раз сглатывала, чтобы избавиться от противного ощущения тошноты.

— Почему вы такой грубый! — вдруг низко сказала она. — Или вы думаете, что со мной все можно?

Она резко отвернулась и стала медленно краснеть:

— Не смейте так говорить со мной! Слышите!

Она закусила нижнюю губу и рукавом крепко вытерла глаза. Потом, по-прежнему напряженно глядя в поле, шевельнула коленями.

— И уходите! Я вам не скотина, снимите голову, слышите! Оставьте меня!

Николай смущенно сел.

— Ну, ну... — забормотал он. — Извиняюсь! Ну вот, знал бы... Не хотел — гад буду! Это по работе — привыкнешь.

— Нет, не по работе, — уже спокойно, грустно сказала Соня и опустила голову. — А потому что...

Она теребила платок, пальцы ее дрожали, лица не было видно.

— Потому, что вы решили: раз я пришла, так чего же со мной стесняться!

Николай крепко поскреб в затылке и ничего не сказал.

— Что это вы ругались вчера? — спросила Соня после долгого молчания.

— Так... — Николай нахмурился. — У меня с ним свои счеты. Он, гад, Зойку у меня отбил, женился. Видала вчера невесту! Гулял я с ней...

— Вас, наверное, многие девушки любят, — сказала Соня.

— А! — Николай сморщился, как от кислого, и опять положил голову ей на колени. — Знаю я ихнюю любовь!

— Зачем вы так, Коля? — быстро сказала Соня. — Нужно верить людям! Вы посмотрите, какие чудесные у нас люди!

Николай поднял голову и сплюнул.

— Вы не верите? — упавшим голосом спросила Соня.

— В чего это?

— В чистоту человека.

Николай засмеялся.

— Ох, и любят же бабы воду мутить! Чистота... — Он поворочался, зевнул и закрыл глаза.

От его большой ленивой фигуры, крепкой шеи, неподвижного, жесткого в наступающих сумерках, красивого лица веяло чугуновой силой.

Соня дрожащей рукой стала перебирать волосы Николая, жадно глядела на него, все еще стыдясь и краснея.

— Коля... Вы ведь хороший, я знаю, у вас душа хорошая, — сказала она еле слышно.

— Обожди! — Он поднял голову и прислушался. Потом сел, опираясь рукой о ее колени. По дороге, тихо разговаривая, шли двое.

— Эй, — крикнул Николай.

— Зачем вы, Коля! — шепнула Соня, пряча лицо.

Шедшие остановились.

— Куда это? — опять крикнул Николай.

— На гулянку. А кто это? Никак, Николай!

— Он самый. Где гулянка-то?

— В Сосновке.

На дороге закурили и, посвечивая огоньками, пошли дальше. Николай посмотрел им вслед.

— Погодите! — крикнул он вдруг. — И я с вами! Он торопливо встал, встряхнул пиджак, накинул на плечи. Потом, кашлянув, протянул руку Соне.

— Ну, пока! Еще когда повидаемся... — Отвернулся и, придерживая пиджак, рысцой стал догонять тех, на дороге.

Совсем стемнело. Сбоку вылунился тонкий месяц, от реки по лугам пополз прозрачный туман. Звуки умирали, один раз только за ригой что-то пробежало: «топ-топ-топ»...

Соня сидела, привалясь спиной к стене, подняв кверху лицо. Ее трясло. Она стягивала рукой ворот у горла, думала, полегчает, но не легчало. Она пробовала заплакать, но звук, вырвавшийся из груди, был так низок и страшен, что она испугалась, сидела окаменев.

Наконец она встала, держась за стену, постояла немного и пошла домой. Едва отошла она от реки, стало сухо и тепло. Опять шла она мягкой дорогой, но теперь

ей светили звезды. Нежно пахло сеном и придорожной пылью. От сияния Млечного Пути тьмы полной не было, по сторонам виднелись то стога сена, то копешки льна, то светлело неубранное поле ржи.

— У-у! — сказала Соня все тем же низким, страшным звуком. — У-у!..

Больше она не могла ничего сказать и ни о чем подумать. Опять спустилась она в сырой ложок, поднялась наверх. Трактор, что давеча чинился у дороги, теперь пахал далеко в поле. Чуть видна была звездочка его фары, слышен был слабый стрекот мотора.

Потом ей стало легче. Она вдруг увидела пронзительную красоту мира, и как, медленно перечеркивая небо, валились звезды, и ночь, и далекие костры, которые, может быть, чудились ей, и добрых людей возле этих костров и почувствовала уже усталую, покойную силу земли. Она подумала о себе, что она все-таки женщина, и что, как бы там ни было, у нее есть сердце, есть душа, и что счастлив будет тот, кто это поймет. О! Тупой, тупой дурак — какую силу и прелесть чувствовала она в себе, как легко и яростно стало ей, как решительно зашагала и как, наверное, хороша стала в темноте — одинокая под полыхающими, падающими звездами.

Скоро показалась темная деревня. Многие уже спали, в редких избах горел огонь. Из-под ворот вылезла крупная белая собака. Увидев Соню, собака молча забежала сзади, стала нюхать. «А ну! Попробуй укуси!» — задыхаясь от мстительной отваги, подумала Соня и повернулась к ней лицом. Но сабака не укусила, только дунула два раза на ноги и побежала в темноту. Соня пошла дальше, и ей стало совсем легко.

1956

СТРАННИК

1

Шел по обочине шоссе, глядя вдаль, туда, где над грядой пологих холмов стояли комковатые летние облака. Навстречу ему туго бил ветер, раздувал мягкую, выгоревшую на солнце бородку. На глаза часто набегали слезы, он вытирал их грязным, загрубевшим пальцем, опять, не моргая, смотрел вперед, в слепящее марево. Его обгоняли автомашины, бешено жужжа шинами по асфальту, но он не просил подвезти, упрямо чернел на сером, блестящем посередине от масла шоссе.

Был он молод, высок, немного сутуловат, шагал широко и твердо. Резиновые сапоги, зимняя драная шапка, котомка за плечами, теплое вытертое пальто — все это сидело на нем ловко, не тяготило и не мешало.

Думал ли он о чем-нибудь, шагая мимо деревень, лесов, мимо рек, зеленых полей и бурых паров? Синие его глаза в красных веках не смотрели ни на что внимательно, ни на чем подолгу не останавливались, блуждали по далям, по белым облакам, заволакивались слезами, потом опять бездумно глядели. Звонко стучала по асфальту ореховая, позелененная травой палка. Подкрадывались к шоссе кусты, задумчиво подходили большие старые березы и вновь неслышно уходили, не в силах скрыть великого простора полей.

Солнце перевалило за полдень, стало жарче и суше, ветер нес запах теплого сена, разогретого асфальта, а странник все так же ходко шагал, постукивал палкой, и неизвестно было, куда он идет и сколько еще будет идти.

Наконец он заметил очень далеко справа белую черточку — колокольню. А заметив, скоро свернул на пыльный проселок и пошел уже медленней. Дойдя до чистой

глубокой речки, он сел в тени кустов, снял котомку, вынул яйца, хлеб и стал есть. Жевал он медленно, тщательно оглядывая кусок, прежде чем положить в рот. Наевшись, перекрестился, смахнул с бороды и усов крошки, тяжело поднялся, пошел к речке напиться. Напившись и вымыв лицо, он вернулся, забрался еще глубже в кусты, положил котомку под голову, поднял воротник, надвинул на лицо шапку и мгновенно уснул крепким сном сильно уставшего человека.

2

Спал он долго и проснулся, когда солнце село уже за холмы. Протер нагноившиеся глаза и долго зевал, чесался, оглядываясь и не понимая, где он и зачем сюда попал. Опухшее от сна лицо его не выражало ничего, кроме скуки и лени.

По дороге в сторону шоссе проехала машина с бидонами молока. Странник посмотрел вслед машине, лицо его оживилось, он быстро надел котомку, вышел на дорогу, перешел мосток над речкой и пошел к деревне, замеченной им еще днем.

Справа начались сочно-зеленые темнеющие овсы, потом потянулся двойной рядок елок. Солнце скрылось, оставив после себя узкую кровавую полосу заката. Эта полоса светилась сквозь черный ельник, и смотреть на это свечение и одновременно черноту было жутко. Странник заспешил, поднимая сапогами пыль. Он боялся темноты и не любил ночи.

А запахи пошли теперь другие. Пахло похолодевшей травой, пылью на дороге, томительно благоухали донник и медовый тысячелистник, от елок шел крепкий смолистый дух. Небо было чисто и глубоко, потемнело, будто задумалось, и ясно был виден слева молочно-белый молодой месяц.

Дорога стала петлять лесом, оврагами. Странник шел все торопливее, шевелил ноздрями, втягивал воздух по-звериному, часто оглядывался. Раза два он попробовал затянуть песню, но скоро смолкал, подавленный сумеречной тишиной.

Наконец запахло жильем, попалась поскотина, он пошел спокойнее, зорко глядя вперед. Скоро разбежались, остались сзади кусты и деревья, и он увидел большую деревню с речкой внизу и церковью на горке. Весь низ у реки был занят скотными дворами, и там, несмотря на подкравшуюся темноту, чувствовалась еще жизнь, как чувствуется она вечером в улье с пчелами.

Уже дойдя почти до гумна, странник заметил вдруг идущую снизу, от скотных дворов к деревне, женщину и остановился, поджидая. Когда женщина подошла, странник сдернул с головы шапку, поклонился низким поклоном и, кланяясь, пытливым поглядом ей в лицо.

— Здравствуй, мать! Храни тебя господь, — сказал он глухо и важно.

— И вы здравствуйте, — помедлив, отозвалась она, поправила платок, облизала сухие губы.

— Здешняя?

— Я-то? Здешняя... А вы чей будете?

— Дальний я. Хожу по святым местам. Странник, значит.

Женщина с любопытством оглядела его, хотела спросить что-то, но застеснялась, тихо тронулась дальше. Странник пошел рядом с ней, сохраняя на лице твердость и важность.

— Церковь работает? — спросил он, вглядываясь в золотисто-розовый крест колокольни.

— Церква-то? Где ж работать! Не служат... МТС в ней теперича. Батюшка был, да дюже старый, помер годов уж двадцать.

— В безверии, значит?

Женщина смутилась, снова поправила платок, вздохнула, опустив глаза. Странник искоса глянул на нее. Была она не стара еще, но с темным, заветренным лицом и такими же темными руками. Сквозь выгоревшую старую кофту проступали худые плечи, и почти не выделялись плоские груди.

— Где уж! — сокрушенно сказала она. — Молодежь-то нонче, знаешь какая, не верит. Ну, а у нас тоже работа круглый год да свое хозяйство, ни до чего. Батюшка когда наезжает, молебен на кладбище отслужим, вот и вся наша вера...

— Так... — протянул печально странник. — Эх, люди, люди! Сердце мое болит, глаза бы не глядели на житье ваше! Сами себе яму роете...

Женщина грустно молчала. Улица была темна, только в пруду стекленела вода, плавали вдоль осоки две припозднившиеся утки, жадно глотали ряску, торопясь наестся на ночь.

— Есть тут хоть кто верующий, божьему человеку приют дать? — с тоской спросил странник.

— Это переночевать, значит? Да что ж, хоть у меня ночуйте, места не пролежите.

Больше до самого дома ни странник, ни женщина не сказали ни слова. Только отпирая дверь, она спросила:

— Звать-то вас как?

— Иоанн! — по-прежнему важно и твердо сказал странник.

Женщина вздохнула, думая, быть может, о грехах своих, открыла дверь, и они вошли в темные пахучие сени, а оттуда — в избу.

— Раздевайтесь, отдохните... — сказала хозяйка и вышла.

Иоанн снял котомку, пальто, стал разуваться. Долго с печальным лицом нюхал портянки, чесал большие набрякшие ступни, осматривался.

Когда снова вошла хозяйка, Иоанн сидел уже в одной рубашке, копался в котомке. Он вынул оттуда Евангелие, толстую тетрадь с надписью «Поминальница святого Иоанна» и большим крестом на обложке, пошарив, нашел огрызок карандаша, раскрыл тетрадь, подумав, спросил строго:

— Была в сем доме смерть?

Хозяйка вздрогнула, повернулась, пристально посмотрела на странного борода-того человека.

— Была, — негромко сказала она. — По весне сынок у меня помер. Шофером он работал в колхозе, через реку стал переезжать...

— Имя! — сурово остановил ее странник.

— Чего? — не поняла она.

— Имя, имя! Сына имя, — раздраженно прикрикнул он на нее.

— Сыночка-то? Федей звали... Говорили ему, погоди, не езди, не погниют твои товары — части какие-то для МТС вез — стороной объезжай, через мост, лед ведь сейчас тронется... Не послушал, горячий был... Утоп... Сыночек-то — утоп...

— Буду молиться! — перебил ее Иоанн, выписывая в тетради крупно: «Федор». — Тебя как звать?

— Настасья...

— Так... Нас-тасья. Одна живешь?

— Вдвоем. С дочкой. Не дочка она мне, женка Федина, да я уж с ней...

— Муж был?

— Был, как не быть... На фронте погиб, в сорок втором...

— Имя?

— Михаилом звали...

— Так... — Иоанн помолчал. — Невестку как звать?

— Люба... Любовь, значит.

— Знаю, — сказал странник, записывая. — Хорошая?

— Это как же? — не поняла Настасья.

— Поведения хорошего? В бога верует?

— Нет... В бога не верует, комсомолка, а так не согрешу — хорошая. Зоотехникум кончила, работает, значит, на ферме, да еще завклубом ее поставили. Клуб у нас, так она в нем еще вечерами. Устает — день там, вечер там, да я и не перечу, конечно, скука одной-то, молодая, годочек только и пожили... Сынок-то, Феденька... Из армии пришел, мамуня, говорит... Мамуня...

Настасья сморщилась, сухие губы ее затряслись, по темным худым щекам покапались слезы. Странник сурово молчал.

— Садитесь, повечеряйте... — сквозь слезы сказала Настасья. — Самовар сейчас вздую...

— Иконы есть?

— Есть... Жены-мироносицы, троеручица божья мать...

— Где? Проводи.

— Вон на той половине, пойдемте...

Она отворила дверь в чистую горницу. Иоанн со скучным лицом, тяжело ступая по половикам, пошел за ней, захватив «Поминальницу».

— Выйди, — сказал он, увидев иконы. — Молиться буду.

Со стуком опустился на колени, задрал бородку. Настасья тихонько вышла.

— Господи! — глубоким голосом воскликнул Иоанн. — Господи!

И замолк, засмотрелся в окно на неподвижные яблони. Настасья собирала на стол, звякала посудой. Эти тихие звуки, эти долгие летние сумерки были странно приятны ему, сладко трогали сердце. Сколько деревень он повидал, где только не ночевал! Все было разное везде: люди, обычаи, говор... И только сумерки, запахи жилья, хлеба, звуки везде были одинаковые.

Смотрел Иоанн в окно, вытягивал шею: внизу, за огородами, — река, за рекой — поля, лес... Из лесу выполз уже туман, покрыл луга молочными прядями, скатывался потихоньку вниз, к реке.

— Господи! — вздыхал Иоанн и снова слушал тихое звяканье посуды, смотрел в окно, в дали.

Настасья осторожно заглянула в горницу, увидела лохматую, давно не стриженную голову, темную шею, широкие твердые лопатки, большие ступни подвернутых ног.

Но странник не шевельнулся, не ответил, думал о чем-то, упираясь длинными руками в пол. Настасья ушла, поставила на крыльце самовар, стала доить корову.

А странник услышал через минуту в сенях легкие шаги, подумал торопливо: «Девка!», настороженно повернул голову. Стукнула дверь, на пороге горницы шаги замерли. Иоанн задрал бородку, широко перекрестился, глядя в темные лики икон: знал, что пришедшая изумленно смотрит на него.

Молчание. Потом шаги быстро застучали обратно в сени. Иоанн вскочил, беззвучно подошел к двери, приложился бурым ухом.

— Мама!

— Чего ты? — Равномерное цвирканье молока по ведру прекратилось.

— Мама, что это за человек у нас?

— Так... Проходящий какой-то. Странник, веру ищет, ночевать попросился.

— Странник? Старый?

— С бородой, а так не дюже... Глаза у него молодые.

— Проходимец, может, какой-нибудь?

— Что ты, Христос с тобой! Человек божественный, молящий...

Молчание. Только слабо похрюкивает поросенок. Опять слышались равномерно-быстрые тугие звуки молока по ведру.

- Поросятка кормили?
- Не, не поспела еще. Там я намешала ему, за печью...
- Я покормлю.

Иоанн тенью метнулся от дверей в горницу, припал на колени, задрал бородку. «Стерва! — злобно думал он. — Выгонит еще, поночевать не даст!»

А в избе слышались тихие хозяйственные звуки, тьма скопьялась по углам, уже ничего нельзя было разобрать — ни ликов икон, ни фотокарточек, ни Почетных грамот, — все пропадало в темноте, все становилось волнующе-таинственным, вошли в избу лесные тени. Когда стало совсем темно, а месяц над лесом побелел и стал осторожно заглядывать в окна, внесли горящую яркую лампу, зашумел самовар на столе, странник вышел из горницы, сунул в котомку Евангелие с «Поминальницей», сел на лавку, щурясь, стал следить за Любой.

3

Сели ужинать. Ел странник жадно и много, громко глотая, шевеля бородой и ушами.

- Кушайте, кушайте... — говорила Настасья, подвигая к нему еду.

А он, поднимая воспаленные синие глаза от тарелки, каждый раз взглядывал на Любу, и та, чувствуя его взгляд, розовея скулами, нервничала, подрагивала бровью. Была она красива неяркой смуглой красотой, осталось в ней что-то от девушки — угловатость движений, неуловимая бегучесть глаз, робкая грудь...

Поглядывал на нее странник, нравилась она чем-то ему, и начинал он уже думать, что хорошо бы обрить бороду, жениться на такой девке, работать по хозяйству, спать с ней на сеновале, целовать ее до третьих петухов... От таких мыслей взбухало сердце, звенело в голове.

- Кушайте, не стесняйтесь... — просила его Настасья. — Вот грибочков попробуйте, нонче рано грибочки пошли.

Наевшись, Иоанн перекрестился, привычно поклонился хозяйке и Любе, отодвинулся от стола, хотел рыгнуть, но застеснялся, стерпел, стал свертывать папиросу, рассыпая на колени табак и подбирая его.

- Курю вот, — сожалеюще сказал он. — Курю... Бес искушает, сколько разов уже каялся, епитимью накладывал — не могу...

Люба вдруг засмеялась; отворачиваясь, отошла к печке. Настасья засуетилась, приподнялась, умоляюще глядя на странника.

- Чего ты, ну чего ты! Сбесилась ай нет?

Люба молчала; прикрывая глаза ресницами, сдерживала смех.

- Да, — повышая голос, сказал странник. — Умны многие стали, не верят, а бес-то тут как тут... Мельтешат всё, жизнь суетливая стала, мыслей настоящих нету, машина всё... Съела человека машина! В апокалипсисе об этом прямо сказано.

Люба, усмехаясь, уже открыто смотрела на него.

- Что смотришь? — спросил грубо Иоанн, ощущая в груди веселую злость к ней. — Или не нравлюсь! Не видала таких-то? Может, жалеешь, что за стол сел?

- Чтой-то вы, бог с вами! — испугалась Настасья.

— Стола мне не жалко, избы тоже... — звонко сказала Люба. — Мамино это дело. А если уж прямо говорить... Смешно, конечно. Что вы ходите? Не стыдно вам? Бороду вот отрастили... Думаете, от бороды святости прибавится? Честное слово, прямо как в самодеятельности у нас!

- А ты не пошла бы?

- Я? Нет, я работу люблю.

— Работу... — Странник засопел, стал смотреть в угол. — Глупая ты девка. В чем ваша работа? В бога не верите, а он есть и пребудет вовек! Работа... Эх, вы-ы! Я вот хожу, смотрю...

— Смотреть легко, — небрежно вставила Люба.

— Я вот хожу, смотрю, — продолжал странник громче. — Что вы делаете? Как живете? Лучше ль стало на земле жить? Хуже! Истинно тебе говорю — хуже! Воров стало больше, разврату больше. Евангелие святое читаю... Вот она, книга-то! — Он похлопал рукой по котомке. — Этого в техникумах да в институтах ваших нету... Нету!

— И не надо... — зевая, сказала вдруг Люба. Без этого обходимся. Что-то устала я, пойду лягу... Спасибо, мама.

Она отошла от печки, взяла что-то в комод, прошла мимо, обдав странника запахом здорового, чистого женского тела, вышла в сени, стукнув дверью.

— Гордая девка, — перехваченным голосом сказал странник и усмехнулся. — Хара-актер!

— Что ж, молодые они, — примирительно отозвалась Настасья, убирая со стола. — Понятия другие. Смелые они теперь... Вы не обижайтесь. Жизнь-то у нее не легкая. Молодая, красивая, а... вдова.

— Н-да-а, — обронил задумчиво странник. — Господь, значит, рассудил так. Я вот тоже не думал странником стать. Конечно, интерес к жизни у меня, с другой стороны, был. Псковской я сам, из деревни Подсосонье, не слыхала? Родителей моих в войну побил, царство им небесное, остался я один, как быть? Туда-сюда мыкался, работал, поля разминировал, взорвалась одна мина, ранила меня в живот, под самый дых, еле жив остался, инвалидом стал... Ну, а что инвалиду? Работенку, может, какую легкую? Да образования нету, долго учиться, ежели на инженера там или агронома. Плохо мне стало в колхозе, скучно, душа у меня ненасытимая, — и потянуло меня в дальние дали. Стал я к богу припадать, раньше-то тоже не верил... Старичок у нас в колхозе был — молоковозом работал, — боже-ественный старичок. Он меня всему наставил, стал по книгам читать, — так на так все выходит. «Иди, сын мой, — это он, значит, мне говорит. — Иди, говорит, во святые места, молись, спасай нас всех от гибели и сам спасайся». Я и пошел, да вот уж пятый год хожу. Мно-ого народу ходит, люди всё чистые, святые. Легко мне теперь, стою к богу близко и с дороги своей уж теперь не сойду. Нет, не сойду!

— А теперь далеко ли идете? — сонным голосом спросила Настасья.

— Да вот завтра хочу до Борисова дойти, к животворящему кресту приложиться. Много я слышан про него. А где я только не был! В Киеве при монастырях жил, подаянием кормился, во святой Киево-Печерской лавре был, место дивное. Молящихся много... И в Троице-Сергиевой побывал, в Эстонию даже заходил, на Ветлуге был, — ну, там народ хмурый, беспоповцы, сектанты, не люблю я их, не подают, паразиты...

«А ведь она в сенях легла!» — внезапно подумал он о Любе, и сердце его сладко заныло.

— Эх, мамаша! — весело и горячо заговорил он, возбуждаясь от того, что все так хорошо складывается: и хозяйка попалась верующая, и молодая вдова одна в сенях спит. — Ах, мамаша! Много я по свету исходил, а если сказать по душе, как перед господом истинным — нету стороны лучше русской! Идешь ты по ней, жаворонок звенит, вот трепещется, вот трепещется, тут тебе донник цветет, ромашка на тебя смотрит, тут люди хорошие попадут, расспросят, ночевать позовут, накормят... А то лесами идешь, — духовитые леса у нас, шмели жуңдят, осинки чего-то лопчут, — вот хорошо-то, вот сладко! Нету над тобой начальства, нет законов никаких, встал — пошел. Что мне люди? Кто такие? Да и память у меня плохая, забываю всех, никого не помню... Нет, совсем не помню. Я вот переспал у кого, встану, богу помолюсь, хозяину

поклонюсь — и дальше. А есть которые и не пускают: жулик, говорят. Обидно мне это, бог с ними, обидно! Только много еще добрых людей, верующих, адреса дают, зовут: живи-и! Да не хочу я на одном месте жить, тянет меня все, сосет чего-то... Особо по весне. Нет, не могу!

Странник задумался, замолчал, упершись руками в лавку. Хозяйка стала засыпать, кланялась, вздрагивала, моргала... Четко шли часы в горнице, тихо было.

— Спать чегой-то клонит, — сказала виновато Настасья и зевнула. — Завтра вставать чуть свет...

Она с усилием поднялась и, разбирая широкую деревянную кровать, проговорила немного смущенно, будто сама над собой посмеиваясь:

— Дояркой я теперь на скотном, первая я по району-то, обязательство еще взяла... Ложитесь-ка с богом, тоже устали небось.

— Да нет, уж я на полу как-нибудь... Постелешь чего-нибудь, и ладно... — притворно забормотал странник, жадно глядя на кровать с периной.

— Ложитесь-ложитесь, и не думайте! Я не сплю на ней, не люблю, широко очень... Люба когда поспит, а я все на печке. Ложитесь!

— Ну ладно, спаси Христос, — с видимой неохотой и тайной радостью сказал Иоанн и стал раздеваться.

Настасья походила еще немного, что-то переставляла, убирала, мелькала на стенах большой сонной тенью. На потолке, потревоженные, начали гудеть мухи. Потом Настасья подошла к столу, шурясь, задула лампу, и в избе стало темно.

4

«В сенях ли легла?» — думал о Любе странник, томясь от сильного желания. Ему не лежалось, он ворочался, смотрел на лунные пятна света, наконец встал, белея в темноте нижней длинной рубахой.

— На двор забыл сходить... — пробормотал он, на шаривая ручку двери. Вышел в черные сени, постоял секунду, привыкая к темноте, прислушался, услышал сонное дыхание Любы. «Здесь!» — подумал радостно и, пройдя сенями, открыл засов, вышел на крыльцо.

В деревне было темно, тихо, кое-где в избах не спали, горел огонь. Далеко где-то разговаривали, смеялись; луна светила в полную силу, но стояла еще низко, резкая тень избы тянулась далеко за дорогу. Мерцали не крупные звезды, холодило, в поле стрекотал трактор, но в какой стороне — не понять было. Голоса и смех все приближались, стали видны слабые огоньки папирос. Странник продрог, опять тихо прошел сенями, вошел в избу, дверь за собой не прикрыл. «Подожду еще, пусть хозяйка крепче заснет, тогда уж...» — подумал он, ложась и закрывая глаза.

За окнами послышались тихие голоса, негромко вякнула гармошка. Потом несмело постучали в окно. Вытянув шею, Иоанн увидел за окном две девичьи фигуры. Опять забарабанили в стекло — виновато и тихо. В избе крепко спали, — никто не шевелился.

— Ну что? — спросил за окном мужской голос. — Спит? А ну, давай погромче...

Парень сильно загрохал в раму кулаком, потом прыснул, отскочил от окна. «Черти их принесли!» — с досадой подумал Иоанн.

В сенях затопали босые ноги, в избу нетвердо вошла Люба в одной сорочке, растворила окно.

— Чего вам? — сердито спросила она.

— Любушка, — просительно заговорил девичий голос. — А мы думали, ты не спишь...

За углом засмеялись.

— Верно, думали... Дай ключ, в клубе потанцевать...

— Дай, Любушка, — подхватила весело и жалостливо другая. — А то совсем за-сохли, лето, а ни кино, ничего не видим...

— Не дам! — строго сказала Люба. — Спать ступайте!

Странник не шевелился. Затаив дыхание, смотрел на ее фигуру, освещенную луной, на крепкие руки и плечи, на грудь.

— Ни кино не видим, ни самодеятельности никакой... — продолжал уже обиженно второй голос.

— Любушка, мы на часок, — просительно ввернула первая. — Время-то — рано!

— Какой рано! Светать скоро будет!

— Где светать, где светать! — жарко отозвались за окном. — Коля, Коля, скажи, какой час?

— Без двадцати одиннадцать, — сиповато сказал кто-то за углом и засмеялся.

— Не дам ключа! — твердо сказала Люба. — Председатель не велел. Сегодня на правлении вопрос ставили. До утра танцуете, а потом на работу не подынешь. Спать надо!

Люба закрыла окно, мелькая белыми икрами, ушла опять в сени. Девушки пошептались о чем-то, отошли.

— Не дала? — врасстяжку спросил кто-то за углом. — Тут-то она ему и сказала: за мной, мальчик, не гонись...

Заиграла гармошка, и надтреснутый голос фальцетом вывел томительный куплет частушки. Потом голоса рассыпались, отдалились, стало очень тихо. Во дворе три раза прокричал петух. Странник сел на кровати, свернул папиросу, осторожно закурил в кулак, роняя искры на пол. Докурив и пригасив окурок в цветочном горшке, он подождал немного, встал, подошел неслышно к печке, потолкал Настасью, послушал: та тихонько посвистывала носом.

Тогда Иоанн решительно вышел в сени, крепко притворил за собой дверь и, чувствуя холод и дрожь в животе и ногах, вытянул руки, медленно двинулся к тому месту, где спала Люба.

Нащупав постель, он прилег с краю, сдернул тонкое одеяло, скользнул руками под сорочку и всосался в губы. Люба проснулась, вздрогнула, вывернула лицо из-под бороды, ударила странника в грудь и вскрикнула. Иоанн навалился на нее всем телом, зажал рот рукой и зашептал:

— Что ты, что ты, я это... Не бойся, я это...

— Пусти, бродяга! Богомолец чертов, пусти! — невнятно сказала Люба и, вырвавшись, села, зажав рубашку в коленях.

— Погоди... Женюсь на тебе, не шуми ты, послушай, что говорю... — зашептал он. — Женюсь, хоть завтра... Бороду сбрею, в колхозе буду работать... В баню схожу, — добавил он, вспомнив, что давно не мылся в бане. — Иди ко мне, приласкаю...

— Мама! — крикнула Люба, соскакивая с постели и прижимаясь к стене. — Отойдешь ты от меня, черт поганый? — старалась она за грубостью скрыть свой ужас перед ним.

— Я тебя любить буду! — тоскливо шептал странник, чувствуя уже, что ничего не выйдет. — Я здоровый, молодой, сила во мне мужская кипит... Бороду хоть сейчас сбрею! Ты подумай, ребят-то нынче в колхозах совсем нет, пропадешь или за вдовца выйдешь, на детей... Иди сюда, ну! Хочешь, в землю поклонюсь?

— Мама! — опять крикнула Люба. — Да что же это!

В избе послышался шорох.

— Тише ты! — шикнул на нее странник. — Ухожу, ухожу, будь ты проклята, ведьма, сатана...

Он поднялся, нашарил дверь, покачиваясь вошел в светлую от луны избу.

— Ктой-то? — окликнула его с печи хозяйка сонным голосом. — А? Ктой-то?

Странник молча лег на кровать, трясся весь, скрипел зубами, на глазах у него выступили слезы от обиды и разочарования.

Хозяйка пошевелилась на печи и затихла — тихонько захрапела.

— Сука! — шептал странник. — Сука! Сволочь, распалила, а?

В сенях что-то стукнуло, покатилося, загремело; слышались шаги на потолке; потом опять заскрипело что-то и стихло.

— На избу полезла, стерва, — злобно шептал странник. — И лестницу затащи-ла... Ну и черт с тобой, будь ты, анафема, проклята!

Он опять закурил, на этот раз не скрываясь, матерясь шепотом. Время тянулось, лунный свет переместился, начало светать, а странник все никак не мог заснуть, ворочался на мягкой перине.

5

Разбудил его утром петух, — кричал залиvisto под окном. Умываться он не стал, позевал, поскреб голову, долго сидел неподвижно, пытаясь вспомнить, что ему снилось, но так и не вспомнил. Солнце напекло, в избе было душно, пахло кислым, летали мухи, — все стало обычным, надоевшим, вчерашняя таинственность исчезла. Иоанн оделся, сел у окна, закурил и задумался.

Громко стукнув дверью, в избу вошла Настасья, хмуро и странно глянула на Иоанна, подошла к печке, взяла ухват, загремела заслонкой, наклоняясь, проворно и зло двигая острыми локтями. «Рассказала про меня девка-то... — догадался Иоанн. — Эх!.. Теперь не покормит. Видать, уходить надо».

Он встал, медленно, с нарочито-печальным, покаянным лицом надел пальто, взял котомку. Опершись на ухват, Настасья молча смотрела на него, в нитку сжав губы. У порога странник, вдруг повеселев, сдерживая улыбку, низко, как и в первый раз, поклонился.

— Ну, спаси Христос, — сурово сказал он. — Спаси тебя бог и помилуй... А я помолюсь за всех за вас!

— У, кобель красноглазый! — быстро сказала Настасья, заливаясь пятнистым румянцем и отворачиваясь.

Странник надел шапку и вышел на крыльцо.

Как всегда, когда он уходил откуда-нибудь, ему становилось все веселее, веселее — дорога звала его, и забывалось и меркло вчерашнее. «День да ночь — сутки прочь!» — радостно думал он, спускаясь огородами к реке. У реки он скоро отыскал и перешел брод, поднялся на большой пологий холм и вошел в лес, из которого вчера вечером сползали к реке молочные пряди тумана. В лесу, поплутав немного, странник вышел на дорогу и пошел по ней на запад.

Куда выведет его эта дорога, он не знал. Но было у него снова легко и радостно на душе, опять он шел спорой походкой человека, привыкшего много ходить, шуршал палкой по траве и кустам, постукивал ею по деревьям, тихонько напевал что-то веселое. И только воспоминание о ночной неудаче и слабая тоска по чему-то незнакомому, которую он почувствовал вчера, стоя на коленях в темной горнице, иногда слабо покалывали его сердце.

Так шел он весь день, а вечером попросился ночевать в далекой деревне.

ТЭДДИ

1

Большого бурого медведя звали Тэдди. У других зверей тоже были имена, но Тэдди никак не мог запомнить их и постоянно путал и только свою кличку знал твердо, всегда откликался и шел, если его звали, и делал то, что ему говорили.

Жизнь его была однообразной. Работал он в цирке, работал так давно, что и счет потерял дням. Его по привычке держали в клетке, хоть он давно уже смирился и в клетке не было необходимости. Он стал равнодушен ко всему, ничем не интересовался и хотел только, чтобы его оставили в покое. Но он был старым опытным артистом, и в покое его не оставляли.

Вечером его выпускали на ярко освещенный манеж, посередине которого не торопясь расхаживал высокий человек с бледным лицом. На человеке были белые панталоны, мягкие черные сапоги и лиловая куртка с нашитой спереди золотой тесьмой. И панталоны, и куртка, и бледное равнодушное лицо человека всегда производили на Тэдди сильное впечатление, но больше всего медведь боялся его глаз.

Когда-то давно несколько раз Тэдди поднимал свой страшный звериный бунт. Он тоскливо ревел, рвал прутья клетки, и никакими самыми жестокими мерами нельзя было его успокоить. Но приходил человек с бледным лицом, становился возле клетки, смотрел на Тэдди, и каждый раз под его взглядом медведь покорно стихал и через час уже позволял выводить себя на репетицию.

Теперь Тэдди уже не бунтовал и послушно проделывал всевозможные неловкие и ненужные, часто даже неприятные штуки, и человек в белых панталонах давно уже не грозил ему взглядом, а когда говорил о медведе, то называл его не иначе как «старый добрый Тэдди», — и в голосе его слышалась ласка.

В кожаном наморднике выходил Тэдди на манеж, кланялся зрителям, которые встречали его радостным шумом. Ему подавали велосипед, он задирал через седло ногу, отталкивался и, сильно нажимая на педали, крепко вцепившись в руль, ездил кругами по манежу. Громко играла музыка, а зрители смеялись и хлопали в ладоши.

Он умел делать еще несколько забавных штук: быстро перебирая лапами, катался на круглых чурбаках, подымался и балансировал на тонкой металлической планке, дрался в надетых на передние лапы перчатках с другим медведем, черным и маленьким. Тэдди был лишен чувства юмора, вернее, юмор его был другим, звериным, и он не понимал, почему так веселятся все эти люди, когда он с отвращением проделывает свои неудобные и неприятные штуки.

По ночам медведь часто не спал. В коридоре тускло горела маленькая лампочка, громко храпел сторож-старик, от которого всегда вкусно пахло. Звери рычали и повизгивали во сне, от клеток шел тяжелый звериный запах. В углах было темно, по полу перебегали наглые большие крысы, вставляли на задние лапы, и от них тянулись тогда длинные тени.

Подумав и поворчав некоторое время, Тэдди решал заняться своим туалетом. Он долго и равномерно вылизывал лапы и живот, а когда лапы и живот становились совершенно мокрыми и липкими, принимался за бока и спину. Но спину лизать было неловко, он скоро уставал и предавался тогда печальным размышлениям.

Вспоминал он детство свое и мать — красивую медведицу с мягкими лапами и широким горячим языком. Но детства Тэдди почти не помнил, помнил только небольшой ручей с желтыми песчаными берегами; песок был мелкий и горячий. Пом-

нил еще кисло-сладкий запах муравьев, которых ему с тех пор не доводилось попробовать.

Вспоминал он также вкусные обеды, которыми его иногда кормили в цирке. Один раз заболел небольшой ишачок, всю ночь кряхтел в стойле, а утром затих. Пришли хмурые люди и вынесли куда-то мертвого ишака. А вечером Тэдди дали не обычный суп-овсянку, а целый таз вареного пахучего мяса, и в этот день был у него праздник.

Думал он и еще о многом: какие-то образы посещали его, злость и горечь наполняли грудь, хотелось реветь, куда-то пойти и делать что-то свое, звериное, и громко вздыхал он всю ночь, а на другой день был особенно вялым и хмурым и неохотно выходил на репетицию.

2

Однажды цирк поехал куда-то далеко по железной дороге. Поехал и Тэдди. Он ездил так много на своем веку, что уже ничему не удивлялся и не любил только запаха бензина, которым пахли автомашины.

Все происходило так же, как и всегда: на станции клетки со зверями закатывали в вагоны, кричали, ругались, что-то приколачивали, вообще производили много шума. Наконец двери хлопнули, и скоро все равномерно задрожало и закачалось, и сильно захотелось спать. Дрожало и качалось два дня, потом стихло. Когда двери открыли и стали выгружать клетки из вагонов и грузить на автомашины, все кругом было другое и пахло иначе, но Тэдди не удивился этому.

Решено было накормить зверей, прежде чем везти их дальше. Пришел служитель, вычистил клетки, потом принес еду. Сунув в клетку Тэдди немного вареной картошки, хлеба и тазик с овсянкой, служитель отвлекся на секунду чем-то и ушел, позабыв запереть клетку.

Медведь, не обращая внимания на открытую дверцу, жадно ел картошку и овсянку и даже слегка поварчивал — так он проголодался. Съев обед и облизываясь, он по привычке стал подталкивать посуду к дверце и тут только заметил, что та не прикрыта. Он сильно удивился, высунул голову наружу, посмотрел туда-сюда, зевнул, подался назад и улегся, прикрыв глазки. Но через минуту он встал и опять высунулся. Понюхал воздух, поглядел, будто что-то припоминая, подумал, еще высунулся и спрыгнул с машины на землю. На земле он с наслаждением потянулся и стал с любопытством обходить машину.

К машине в этот момент подходил шофер. Он держал кепку под мышкой и что-то жевал. Ветер дул от него, Тэдди почувал запах колбасы и пошел навстречу. Увидев медведя, шофер перестал жевать и замер. Тэдди поднялся на задние лапы и ласково заворчал. Тогда шофер быстро повернулся, уронил кепку и бросился бежать со всех ног к низкому длинному дому с какой-то вывеской над дверью.

— Помогите! — в ужасе закричал он.

Тэдди опустил лапы и на всякий случай подался в сторону. Он даже повернул было назад, чтобы залезть обратно в привычную клетку, но тут из дома высыпали люди и закричали на медведя дикими голосами. Тэдди повернулся в испуге, ища среди всех этих людей знакомое лицо, но знакомых не было, Тэдди стало страшно, и он побежал. Он промчался мимо коновязи; лошади, увидев его, шарахнулись, заржали. Тэдди тоже рывкнул и надал ходу.

Он пробежал огородом, запинаясь на грядках, перемахнул через плетень и помчался полем к далекому лесу. Бежал он быстро, прижав уши, фыркая, испытывая острое незнакомое удовольствие, но, добежав до первых кустов и запыхавшись, он остановился и с испугом посмотрел назад: станции не было видно, не было ни

людей, ни машин, только голое поле и темнеющие вдали крыши. Медведь затосковал, ему очень захотелось попасть опять в цирк, жить в темном коридоре, слушать по ночам храп вкусно пахнувшего сторожа. Назад идти он боялся и тихонько ворчал, приподымаясь на задние лапы и раскачиваясь. Потом он обернулся, посмотрел на лес, несколько раз фыркнул, чтобы прочистить нос, и понюхал. Пахло сладко смолой, грибами, и еще было много будоражащих запахов. Тэдди пошел к лесу. Он медленно шел кустами и каждый раз, выйдя на чистое место, оглядывался назад в надежде увидеть служителя или человека в белых панталонах, которые ласково сказали бы ему: «Тэдди!» Но никто не показывался, никто не звал его, было тихо, а из леса все более явственно доносился могучий зов. И Тэдди со смешанным чувством страха и любопытства вошел в лес.

3

Тэдди не повезло. Он попал в часть леса, обжитую людьми. Здесь расположен был леспромхоз, большие площади были вырублены, то и дело бросались в глаза неприятные в лесу предметы: линия узкоколейки, обрывки тросов, масляные тряпки, изъезженные дороги, гулкие бревенчатые гати. Птиц и зверей почти не было в этом месте, а по ночам были слышны враждебные лесу и тишине звуки, шум моторов, металлические удары, тонкие паровозные гудки.

Тэдди было дико и непривычно в лесу, и он поначалу только и думал, как бы встретиться с людьми, но в то же время что-то мешало ему идти навстречу звукам машин. Все его раздражало, он не ел, почти не спал и сильно отощал. Несколько раз он принимался выделывать свои на всю жизнь заученные фокусы в надежде, что кто-нибудь выйдет к нему и накормит. Он делал стойку на передних лапах, утомительно дрыгал задними в воздухе и так обходил поляну. Потом он кувыркался через голову, плясал, «умирал» и, оживая, очень довольный собой, оглядывался по сторонам, ожидая подачки. Но никто не радовался, не хвалил его, не появлялся волшебный суп-овсянка, и в маленьких глазках медведя рождалось тоскливое изумление. В конце концов он, доведенный до отчаяния непонятностью леса, пришел бы к людям, но тут произошло событие, которое только утвердило в нем страх перед человеком.

Однажды утром, весь мокрый от росы, Тэдди угрюмо брел по дну оврага, выкапывал какие-то травки и ел их.

Подняв голову, он внезапно встретился взглядом с человеком, который стоял наверху. Тэдди удивился и стал подниматься на задние лапы, он даже хрюкнул от радости. Но человек не обрадовался и не сказал ничего похожего на «Тэдди», как ожидал медведь, — человек побледнел, быстро сорвал с плеча ружье, поднял его, сверкнул огонь, ударил резкий гром, что-то больно хлестнуло Тэдди по ушам, он рывкнул, повалился на траву и замахал всеми четырьмя лапами. Медведь ревел от боли, обиды и удивления, а человек, сделав свое злое дело, бросился бежать, и даже сквозь свой рев Тэдди слышал, как быстро топотали его ноги и как все трещало на его пути.

Еще через минуту Тэдди пришел в дикую ярость и бросился напролом за человеком, но тот успел куда-то спрятаться или убежать, и Тэдди так и не нашел его. С этого момента он стал бояться людей и еще усиленной начал искать глухих мест.

Но для того чтобы уйти в глушь, в настоящий лес, медведю надо было переплыть реку, а он этого не знал, и положение его становилось всё отчаяннее. Несколько раз он выходил к реке, глядел на плывущие по воде бревна, тосковал и снова уходил в лес.

Так прошло два дня и две ночи. На третью ночь Тэдди вышел опять к реке и остановился пораженный: к берегу был причален большой плот с избушкой на середине. Светила яркая луна, на берегу стояли белые бараки с черными окнами, вокруг не было ни души и ни звука не было слышно, только между бревнами плота сонно журчала вода. Тэдди привстал на задние лапы и повел носом. С плота от избушки невыносимо вкусно пахло ржаным хлебом и картошкой. Тэдди облизнулся и закачался на задних лапах. Качаясь, он напряженно размышлял.

Идти туда, откуда пахло, он боялся, так как знал, что там люди, ненавидящие его и ненавистные, в свою очередь, ему. Болевшие уши не давали ему забыть об этом. Но соблазн был так велик, что медведь, походив по берегу и попробовав лапой воду, остановился как раз напротив избушки. Ах, как замечательно пахло!

Плот был подогнан к берегу не вплотную, на берег были переброшены в одном месте сходни, но Тэдди в нетерпении не обратил на них внимания, вдруг сунулся в воду и через мгновение уже взбирался на плот. Неуверенно ступая по бревнам, медведь подошел к избушке и обошел ее кругом. Изнутри доносился громкий храп, Тэдди вспомнил цирк и приободрился. Он заглянул через окно внутрь, но ничего не увидел. Тогда он решительно отворил дверь и, протиснувшись в избушку, сразу сглотнул обильную слюну, — так вкусно пахло здесь портянками, хлебом и картошкой. Хлеб и картошка были на столе. Тэдди подошел к столу, свалил с чугунок теплую запотевшую тарелку, опрокинул чугунок и зарычал, сейчас же начиная, торопясь и давясь, глотать хлеб.

— Эй! — крикнул вдруг человек с полатей, перестав храпеть. — Кто это? Ты, Федя?

Медведь присел от испуга, но потом разъярился, рявкнул и ударил лапой по столу. Чугунок и тарелка упали на пол. Тотчас что-то никак не похожее на человека свалилось с полатей, на карачках юркнуло в дверь и побежало по плоту к берегу.

Тэдди понял, что дело плохо, но продолжал торопливо есть, чавкая, рыча, роняя на пол слюну, зная, что он совершает преступление против человека.

Через минуту, когда медведь доедал уже последний хлеб, на берегу послышался сильный шум. Нужно было уходить, но он еще не наелся окончательно, еще схватил с полу несколько картошек и потом не сразу попал в дверь. Когда же он вытиснулся из двери, то увидел близко много людей. Заметив медведя, люди разом закричали, как тогда на станции, а Тэдди растерянно остановился: путь к берегу был ему отрезан. Он сунулся было наискосок, надеясь проскочить краем плота, но наперерез ему блеснул длинный огонь и бахнул выстрел. Медведь испугался и завернул назад, вокруг избушки. Люди бежали за ним, окружая его полукольцом и прижимая к краю плота. Опять бахнуло сзади, ширкнуло по бревнам и отскочившей корой стегануло медведя по животу. Он рявкнул, прыгнул вперед и плюхнулся в воду, подняв столб серебристых в лунном свете брызг. Он никогда в жизни не плавал, окунулся с головой и, вынырнув, не знал сперва, что делать, но лапы его сами собой задвигались, он зашлепал ими что есть силы, вытягивая нос кверху, к звездам. Вода мягко сносила его на низ, люди остались на плоту и долго еще кричали, а медведь все сильнее двигал лапами, чихал, пыхтел и поднимал нос кверху.

Проплыв около получаса по теплой серебристой воде, он увидел вблизи лес — сплошной и черный. Это был уже не тот лес, из которого медведь недавно вышел, — это был лес без просек и вырубок и без человеческого жилья.

Почувяв дно под собою, Тэдди тяжело выбрался на берег и остановился. Вода текла с его шубы ручьями. Оглянувшись, он увидел далеко наверху слабые огоньки и что-то еле белеющее в темноте и понял, что там остались люди и бараки и плот, и еще понял, что там было опасно и шумно, а здесь тихо и хорошо. Вспомнив выстрелы и оставшуюся в избушке на полу картошку, он поворчал немного, потом встряхнулся несколько раз и полез вверх по крутому обрыву навстречу огромным неподвижным соснам и елям.

5

Это был громадный лес, тянувшийся на десятки верст вверх и вниз по реке. Мало того, он уходил на восток до Уральского хребта и на север — до самой тундры. Лес взбирался на холмы, расступался иногда озерами или полями, на которых виднелись редкие деревни с двухэтажными избами. Это была глухая сторона, мало посещаемая людьми, и здесь-то и было настоящее раздолье для всякого зверя и птицы.

Много тут было волков и лисиц, белок и зайцев, водились тут лоси и рыси с загадочным взглядом желтых глаз. Здесь попадались совершенно глухие места, где и пройти-то было невозможно, где свалившиеся деревья так и оставались лежать годами, догнивая и оседаая постепенно к земле.

Случались здесь пожары, возникавшие от неизвестных причин, как бы сами собой. Огонь бушевал тогда на огромных пространствах, пожирая лес и траву, и тысячами гибли в нем звери. Огонь проходил косяками и затихал постепенно, тоже как бы сам собой, оставляя после себя черные уголья и пепел и редкие обгорелые стволы.

Скоро на гари начинала расти буйная красная жесткая трава, потом появлялись черника и брусника на кочках и молодые березки и сосенки; по краям показывались заросли шиповника и малины, и гарь уже не казалось диким и страшным для зверя местом, а становилась неисчерпаемой кладовой, в которой кормились сумрачные глухари, робкие рябчики, тетерева и зайцы. Лоси тоже приходили сюда и оставляли глубокие ямки следов в мягком беловатом мху.

Жизнь кипела в лесу, не омраченная пришествием человека. Правда, и здесь шла вечная борьба, здесь царил закон клыка и когтя, и как много костей и перьев догнивало по укромным местам этого прекрасного края! Но опасная борьба здесь не была вовсе безнадежной, как с человеком.

Редко-редко раздавался в лесах этих выстрел, а когда раздавался, то долго и гулко раскатывался по холмам, по звонким борам, вылетал на реку, отдавался от другого берега и возвращался уже ослабевшим и протяжным. Белки роняли тогда шишки и взлетали на верхушку дерева, чтобы оглянуться с безмерным любопытством; зайцы на лежках вставали столбиками; лоси, наставив уши, минуту слушали и беззвучно передвигались на другое место; рыси, дремлющие в чащобах, приоткрывали на мгновение дремучие желтые глаза и нервно потряхивали кисточками на ушах; и только волки, лучше всех знакомые с человеком, бросали все, серыми тенями избегали на ближний бугор и долго нюхали, стараясь и боясь одновременно поймать с ветерком ненавистный запах человека.

Еще было здесь много тихо звеневших родников; возле них в самую жару было прохладно. Овраги, незаметно возникающие тут и там, долго и запутанно тянулись к реке, прерываемые зарослями смородины и мелким осинником. В оврагах любили рыть сложные норы барсуки и лисы, и тут же, близ ручьев, сидели в логовах волки.

Всю ночь шел Тэдди на север, держась берега реки, как моряк держится компаса. Углубляться в лес он боялся, лес был полон неизвестности, тогда как река была знакома, она уже выручила его раз, и он ей доверял. Со всех сторон подступали к нему звуки и запахи, в которых он должен был разобраться. Некоторые из них были ему хорошо знакомы. Два раза его путь пересекал след рыси, и он сразу вспомнил рысь из цирка, хоть та пахла резче: звери в неволе всегда пахнут сильнее. Потом он вспугнул рябчиков, которые ночевали на низком суку большой елки, и сам сначала испугался, но потом быстро успокоился, поняв, что это всего-навсего птицы. Следы лисицы он тоже сразу узнал.

Но в конце концов обилие новых впечатлений, заставлявших все время держаться настороже, так утомили медведя, что он выбрал сухое место в небольшом ложке, защищенном со всех сторон порослью елочек, лег и задремал до утра.

Странно, но этот большой зверь был совершенно беспомощным теперь в лесу. За долгие годы он отвык от леса, все позабыл из того небольшого, что успел узнать в детстве. Все инстинкты, которыми его наделила природа, уснули, и он терялся от самых незначительных причин, требующих какого-нибудь действия. Ему все время очень хотелось есть, желудок, привыкший к обильной, сытой пище, был теперь пуст и страдал. Но служителя, который ежедневно кормил его в цирке, здесь не было, приходилось самому искать еду, а он не знал, как это делается, не знал, что можно есть.

Пожалуй, никто так не чувствует и не понимает, как дикие звери, что значит мать. Мать учит детеныша прятаться, драться, убегать, она объясняет ему, кто враг и кто друг. Она знает, где есть черника и муравьи, земляника, вкусные сочные коренья, мышинные норы, рыбы и лягушки; она знает, где есть свежая вода, глухие места, муравейники и солнечные поляны с мягкой высокой травой; ей ведомы тайны запахов и перекочевков. И еще она знает, что ни один зверь в лесу не доживает до глубокой старости, каждого постигает страшная беда, и нужно быть очень ловким, смелым и осторожным, чтобы как можно дольше сохранить себя и оставить после себя потомство.

Если бы рос Тэдди не в зоопарке, а потом в цирке, среди людей, если бы учителем жизни была для него медведица, свирепая ко всему, но бесконечно добрая к нему, маленькому медвежонку, — он сейчас был бы могучим зверем и знал все, что нужно и возможно знать дикому зверю. Но Тэдди учился жизни у человека в белых панталонах, и неукротимый звериный дух его был задавлен еще с детства. Он успел узнать много вещей, которые недоступны и страшны жителю леса. В городе он был несомненно опытнее, умнее любого своего сородича, но что стоили все его знания в мире, куда он теперь попал! В лесу он превратился опять в беспомощного жалкого детеныша, ничего не знающего, боящегося всего. Вся разница была в том только, что он был теперь не крошечным медвежонком, а крупным медведем с желтыми клыками и вытертым клеткой задом и что не было теперь с ним доброй и умной матери, которая могла бы его защитить и многому научить.

Тэдди разбудили птицы. Маленькие, они едва слышно перепархивали в мокрых от росы ветвях. Далеко на востоке за холмами вставало солнце. Между соснами висел прозрачный туман, сверкала роса, воздух был свеж и чист, и Тэдди, выйдя из своего ночного пристанища, заковылял дальше на север. У него от непривычки к лесным скитаниям уже второй день побаливали лапы, но он упрямо шел вперед, так как что-то еще

не нравилось ему тут. И он не думал ни о чем, стремясь на север, как не думают птицы, сбиваясь в стаи перед отлетом. Инстинкт, коренившийся в нем, вел его в небывалую страну, где должно быть много солнца, много пищи, чистой воды и тишины.

В полдень медведь переходил солнечную поляну, когда ноздрей его коснулся необыкновенный запах, всколыхнувший в груди его целый рой воспоминаний. Но где же источник этого милого сладкого запаха? Тэдди повернул на восток, прошел немного — запах исчез! Он вернулся обеспокоенный, взволнованный назад — опять маняще запахло! Тогда Тэдди стал кружить, и ему понадобилось порядочное время, чтобы отыскать муравейник. Запах, который он поймал, был запахом муравьев, и он сразу его узнал, хоть не слышал столько лет.

Какая прелесть эти муравьи! Есть ли что-нибудь вкуснее их! Жирные, кислые, щекочущие, вызывающие сразу жажду и аппетит и тут же утоляющие их — есть их можно бесконечно!

Тэдди сунул нос в муравейник и даже хрюкнул от наслаждения — так крепок был вблизи этот чудесный запах. Еще глубже зарылся он носом и зачавкал, прижмурившись, высывая и убирая мокрый язык. Муравьи, крупные, рыжие, мгновенно злым покровом облепили его морду, полезли в уши, но Тэдди только мотал головой, поджимал хвост и еще усиленной чавкал. Наконец ему стало невозможно, и он сел на задние лапы, чтобы перевести дух. В ту же минуту он вспомнил что-то давно забытое и стал разрывать муравейник лапой. Сейчас же муравьи облепили и лапу, и ему оставалось только слизывать их. Это было несравненно удобнее, — муравьи больше не лезли в нос и уши, в пасть не попадала земля и хвоя, и Тэдди отошел только тогда, когда от муравейника не осталось ничего.

Разорив муравейник, Тэдди двинулся дальше, перевалил через широкий холм, поросший сухим еловым лесом с голыми вершинами, прошел оврагом, наткнулся на малинник и не вышел уже из него до самого вечера.

Поначалу Тэдди пугали взлеты рябчиков и глухарей, плеск рыбы в маленьких озерах, шум леса, треск проходящих мимо лосей. Его пугали незнакомые странные запахи, резкие и чуть слышные. Но он, побеждая страх, без конца исследовал все звуки и запахи, чтобы, встретив их в другой раз, уже идти им навстречу, или уходить, или вообще не обращать внимания.

В его теперешней жизни было одно счастливое обстоятельство, о котором он сначала не догадывался: ему не нужно было никого бояться, кроме человека. Ему не страшны были ни волки, ни рыси, ни крошечные куницы — все те ужасные существа, от которых плохо приходится мелкому зверю и птице. Его никто не трогал, и не нужно было ему ни прятаться, ни убежать, чувствуя за собой легкий и страшный топот погони. Наоборот, его все боялись, так как здесь, в лесу, он, сам того не подозревая, был самым крупным и опасным зверем.

Понял он это значительно позже, когда однажды наткнулся на труп павшего лосенка, который терзали два крупных волка. Увидев волков, медведь растерянно остановился. Волки заворчали злобно и бессильно и сейчас же отошли, уступив место медведю. И все время, пока Тэдди наслаждался лосенком, волки кружили рядом, но не осмеливались подойти. Радостное сознание своего могущества пробудилось тогда в нем, и, даже наевшись до отвала, он несколько раз возвращался и каждый раз с удовольствием видел, как при его появлении отскакивали от падали голодные волки.

Останавливаясь в одних местах на день, в других — на два, Тэдди все дальше продвигался на север. Сосны становились выше и толще; малины, земляники и

брусники было больше, деревень — меньше. Безбрежная дикая красота, нетронутая глушь и тишина простирались вокруг, и, казалось бы, что еще нужно! Но от забытого почти детства у Тэдди остались воспоминания настолько неясно-прекрасные, что ему все было не так и не то, — он стремился в какую-то свою страну, в какой-то свой медвежий рай.

Найдя особенно хорошее, с его точки зрения, место, Тэдди начинал свой обход. Он выдергивал старые трухлявые пни, разорял мышинные и беличьи гнезда, переворачивал заросшие сухим белым мхом камни, искал слизняков и червей.

Один раз, выйдя к узкому длинному озеру, он остановился, пораженный сильными всплесками. Щуки, греющиеся в осоке у берега, вспугнутые медведем, выдирались из травы и уходили в холодную глубину. Тэдди пошел по берегу, внимательно разглядывая воду и осоку и часто замирая совершенно неподвижно.

Он не знал еще вкуса рыбы, но что-то говорило ему, чтобы он поймал одно из этих существ. Наконец он заметил темную спину неподвижной щуки и стал подкрадываться, прижимаясь к земле. Со стороны это выглядело смешно, так как прижаты к земле были только передние лапы и морда, зад же оттопыривался и потешно колыхался. Но крался медведь беззвучно, и маленькие глазки его злобно горели.

Быстрым коротким взмахом он ударил по тому месту, где стояла щука, заревел и въехал передними лапами в воду. Он не понял сначала, попал или нет, и продолжал колотить обеими лапами, поднимая грязь и волны. Но тут перед ним мелькнуло беловатое, в крапинках, брюхо щуки, и он выкинул ее на берег. Он съел ее всю без остатка и запомнил вкус рыбы на будущее.

За две недели Тэдди многому научился. Он стал спать всегда головой в ту сторону, откуда пришел: он узнал, что помимо ягод и кореньев очень вкусны грибы. Теперь Тэдди не жевал без разбора все, что попадет, как в первые дни; он узнал, что самые сочные коренья растут в сырых местах; он стал пить только чистую проточную воду и научился пользоваться ветром; чутье его стало лучше, и Тэдди уже мог ощущать очень тонкие или старые запахи; и он узнал еще на горьком опыте, что не все в лесу съедобно, что есть ягоды и грибы, которые лучше не трогать.

Он окреп, стал меньше уставать, и подошвы лап, так болевшие в первые дни, теперь загрубели, а когти, которые подрезали в цирке, теперь отросли. Ходить он стал тихо, почти неслышно. Только увлекаясь, начинал ломать все, что попадалось на пути, и тогда треск шел по всему лесу.

Сперва Тэдди спал больше ночью, как привык в цирке. Но потом заметил, что ночью жизнь в лесу куда более интересна, чем днем. Следы бродивших ночью куниц, зайцев, лисиц были свежее, что-то шевелилось в траве, возилось в кустах, кто-то перебежал по оврагам и полянам, странные крики рождались в тишине... Кроме того, ночью исчезали все мухи и слепни, которые так досаждали Тэдди днем. И он все чаще стал бродить ночью, а днем спать в тайных местах.

9

Однажды Тэдди набрел на небольшое овсяное поле в стороне от селений, в лесу, возле старой заброшенной дороги. Он сразу понял, что это не просто так растет, а как-то связано с человеком.

Тэдди прошелся краем поляны. Овсяные метелки слабо щекотали его, и это было приятно. Обойдя поле и не найдя ничего интересного для себя, он ушел, но спустя короткое время вернулся, вошел уже в самый овес, лег там, в этом мягком и светлом под луной островке, и стал хватать метелки пастью. Так он узнал вкус овса, который чем-то напоминал ему почти позабытый суп-овсянку. Сначала с жадностью он ел все

подряд — и овес, и стебли, потом стал жевать и сосать только метелки и с рассветом ушел, вытоптав в овсе большую плешину.

Ему очень понравился овес, и через день он опять пришел и пировал всю ночь. Он бы пришел еще и на следующую ночь, но отвлекся, попав на небольшое болотце, распугав десятка три лягушек, которых и ловил очень долго, весь перемазался и целое утро потом отчищался.

Тэдди не знал, что в это утро проезжали по старой дороге люди в телеге, долго осматривали поле, ругались и уехали, а к вечеру снова приехали с топорами и досками и долго, стараясь не стучать громко, мастерили что-то на старой и, видимо, очень удобной для них сосне.

— Как на заказ сделана! — то и дело повторял кто-нибудь из них, и странная жесткая улыбка появлялась на их лицах.

Потом люди отошли в сторону, покурили, роняя искры в траву, достали ружье из телеги, и двое полезли на сосну, а третий укатил обратно. Под телегой брэнчало ведро, уехавший запел песню, и песня и брэнчание ведра долго еще слышались оставшимся.

Луна успела взойти над лесом, когда проснулся Тэдди. Он долго молча лежал в совершенной тишине, поворачивая только голову и внюхиваясь. Потом встал, зевнул, потянулся и, вспомнив об овсе, направился к полю своим неторопливым раскачивающимся шагом. Иногда он останавливался, привлеченный каким-нибудь запахом, совал нос в траву, долго дышал, выдираал сладкий корешок и чавкал — есть тихо он не умел.

Он вышел уже почти к самому полю и мог даже разглядеть сквозь частый осинник белеющую полосу овса с темным пятном в середине — местом, где он пировал две ночи. Ему нужно было продвинуться каких-нибудь десять-пятнадцать шагов, как вдруг он остановился.

Нет, он ничего не услышал и не почувал, но точно какая-то тень мелькнула ему, слабый намек на что-то. Инстинкт предостерег его: что-то здесь изменилось за время, пока его не было.

Тэдди повернул направо, обходя лесом поле, не теряя из виду слабо сиявшей полоски овса. Шерсть на хребте у него поднялась дыбом, но он не зарычал по своему обыкновению: что-то говорило ему, что лучше не рычать. Поле было пустынно, и все кругом — неподвижно. Едва слышный ветерок пришел откуда-то и почти не качнул травы, так он был слаб, но запах овса усилился, и нос Тэдди стал сразу еще более мокрым и холодным. Но Тэдди не облизнулся, не раскрыл пасти, он молча проглотил слюну и вышел на светлую дорогу, которую пересекали резкие черные тени от деревьев. Улегшаяся было шерсть на загривке тотчас поднялась: в нос ему ударил слабый, но острый запах дегтя, лошади, табака и людей. Он остановился и долго нюхал. Наконец он понял, что были люди на лошади, постояли здесь, покурили и уехали. Несколько смелее он прошел еще вдоль дороги, опять перешел ее и очутился теперь с другой стороны поля.

Он уже твердо знал, что люди, бывшие здесь днем, уехали, но — странно! — чувство опасности не покидало его и шерсть на загривке не опускалась. Он хотел уйти совсем от места, которое ему внушало такой страх, — ибо все неизвестное страшно, — и повернул было в лес, но потом вернулся, сделав небольшой крюк.

У Тэдди не было матери, и никто не мог его научить, что нужно немедленно уходить от непонятного. Поэтому, вернувшись, он долго стоял в тени елок, и запах, вкусный, нежный запах овса, заглушая чувство страха, тянул его к себе, убаюкивал, лишал осторожности.

Медведь мало-помалу совсем вышел из тени и потянулся уже к метелкам, но в этот миг что-то щелкнуло звонко и шевельнулось где-то вверху и в стороне. Не успел

Тэдди ни отпрыгнуть, ни поднять голову, как сверкнула огромная вспышка, грохнул с раскатом страшный в ночной тишине выстрел, что-то жгучее ударило медведя по передней левой лапе, подшибло ее, и Тэдди упал. Еще когда шелкнуло, Тэдди уже понял, что попался, что это самый опасный враг его — человек, что нужно бежать, и поэтому, как ни взъярен он был в этот миг, вскочив, бросился в спасительный сумрачный лес. Он бросился и побежал так быстро, как только мог, но, к удивлению своему, на втором прыжке снова упал, а вслед ему сверху, с корявой сосны, прогремели еще два выстрела, пронзительно прожужжало и хрякнуло совсем рядом и даже как бы впереди. Но не выстрелы и хряск испугали его теперь, а то, что он не мог бежать и упал. Он опять вскочил и прыгнул прочь от овсяного поля, и опять что-то непонятное и страшное случилось с ним, и он сунулся мордой в землю. Тут только понял Тэдди, что передней лапы его словно не существует, она онемела, не двигалась, и на нее нельзя было становиться. Тогда он перенес тяжесть тела на другую лапу и побежал, все быстрее, быстрее, с ужасным треском, не разбирая дороги, фыркая от ужаса, качаясь на ходу, оступаясь, припадая на грудь, — прочь отсюда!

Он долго бежал, и все ему казалось, что сзади трещит и нагоняет его, и он прибавлял ходу, выбиваясь из сил, и, наконец, когда совсем отчаялся добежать, остановился и зарычал и обернулся, чтобы встретить врага. Он прорычал и присел, прижав уши, поджав теперь уже нестерпимо болевшую лапу. Глаза его горели, бока вздымались, вся шерсть на хребте и боках торчала от ужаса и ярости. За шумом своего дыхания он не слышал ничего и, чтобы послушать, перестал дышать. Ничего не услышав и не поверив тишине, подумав, что враг затаился, Тэдди опять прорычал, повернулся и стал уходить, все время оглядываясь.

Но никто за ним не гнался, лес притих, испуганный его ревом, и не было слышно ни звука. На ходу Тэдди стал лизать лапу. Теплая кровь возбуждала его, боль немного утихла, и он все усердней лизал, находя в этом какое-то странное удовольствие.

И это спасло его. Дождавшись рассвета, охотники с ружьями наготове пошли по кровавому следу и разгадали все: как он мчался, ломая кусты, взрывая когтями землю и брызгая кровью на траву. Они догадались также, что он сидел, оборотясь к ним: здесь было особенно много крови, трава примялась и слиплась. Но потом следы стали легче, кровь попадалась реже и скоро совсем пропала, и охотники, потеряв след, облизав все ближние овраги, вернулись к себе в деревню ни с чем.

10

А Тэдди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места. Пришла ночь, но боль в лапе не давала медведю заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им, но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось, не слышать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя.

По лесу пронеслось что-то тревожное, и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, опоясывая полгоризонта, запыльхали зарницы. Они вспыхивали беззвучно и таинственно и не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным призрачным светом. Потом потихоньку, очень далеко стал порыхивать гром. Тэдди отвечал ему утрюмым ворчанием и беспокойно ворочался под своей елью. Оттого, что кругом стояла такая зловещая тишина и что издали все явственнее, почти непрерывно доносились громовые раскаты, ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться. Но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву.

Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев задержались чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то лопалось и грохотало резко и страшно: «Тах! Агррррр-бах!» — будто кашляло.

Упал с облаков верхний ветер, вершины сосен и елей ответили ему шипеньем, а внизу было тихо и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шурстит по листьям и который был знаком Тэдди, — этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и кроме этого гула уже не было слышно ничего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом.

Только к утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся; сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох.

Бедный, бедный Тэдди! Измученный болью, страхом перед грозой и людьми, столько не спавший, мокрый и несчастный, он сидел под старой елью и не мог радоваться солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал, беспомощный, одинокий, день и другую ночь и еще день, пока наконец рана не стала немного заживать и свирепый голод не выгнал его из укромного места.

Кое-как ковыляя на трех лапах, он бродил по холмам, хмурый, осторожный, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшиеся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло еще несколько дней — медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, и он опять повеселел и приободрился.

Но ему пришлось еще раз встретиться с людьми. Он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тэдди был раздражен: перед этим он гонялся за одуревшим со сна тетеревом: тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о деревья, падал, и Тэдди несколько раз чуть не схватил его, но тетерев все-таки взлетел на березу, и Тэдди не смог достать его. Теперь он был зол.

Спустившись в овраг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись стреноженные лошади. Это была научная экспедиция, но Тэдди, конечно, не знал этого и с величайшим изумлением присел, чтобы получше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди; они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени.

Тэдди прошел краем поляны, потом подумал, подошел ближе к палаткам и вдруг неожиданно для себя пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапели лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака, большими прыжками помчалась к Тэдди, но, не добежав шагов десяти, остановилась с разбегу и залаяла злобно и трусливо. Тэдди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу выскочила собака. Люди у костра вскочили, двое бросились в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тэдди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился наутек. Собака бежала за ним не отставая, в восторге от победы и от погони. Промчавшись опушкой, Тэдди вернулся к болоту, потом разъярился и оборотился к собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тэдди хотел пойти и разорить лагерь, но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи.

Уже около двухсот верст прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь, все лучше осваивался со всей массой предметов и

явлений, окружавших его. Так он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам, хоть и считаются они самыми пустыми птицами. Он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке сухого дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, — он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чутьем, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется чем поживиться. Тэдди не особенно хорошо лазил по деревьям, но если встречал удобную разлапистую сосну, никогда не пропускал случая взобраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева. Не любил он только, когда сойки и сороки обращали слишком пристальное внимание на него самого. Он старался уйти от них, ворчал, а если они не отставали и провожали его криком, перелетая с дерева на дерево, Тэдди, не долго думая, прятался и выжидал. Потом хитро выглядывал, осматривал ближние деревья и, если не видел назойливых преследователей, удовлетворенно хрюкал и продолжал свой путь. Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осторожным, он превратился, как это могло показаться со стороны, в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так.

Раз утром, подойдя к ручью напиться, Тэдди остановился, как громом пораженный: возле ручья пахло медведем! Это был старый запах, быть может, дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тэдди, позабыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тэдди уже не стало покоя.

Все чаще стал он наткаться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, объединенные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тэдди приходил на место, то оказывалось, другой уже побывал здесь и от падали оставил действительно только запах. Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тэдди в бешенство. Злоба его, накапливаясь, стала такой острой и постоянной, что для него скоро сделалось ясно: двоим в этом краю не ужиться, одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тэдди, не задумываясь, ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи, что Тэдди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще натыкался на старые, но увидеть самого медведя ему никак не удавалось.

Встреча их произошла неожиданно. Тэдди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку среди сосен, поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тэдди посмотрел по направлению запаха и увидел наконец своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу! Как он расправится с ним! Глазки Тэдди зажглись бешенством. Враг его скрылся на мгновение за соснами и вышел на поляну...

Это был такой зверь-громадина, что Тэдди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага! Это был настоящий зверь, косматый, бородачатый, с железными когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тэдди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса.

Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тэдди. И еще не было произнесено ни звука, не было сделано ни движения, а Тэдди уже понял, что именно он должен навсегда покинуть этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой ужасной громадиной!

И то, что понял Тэдди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того, он понял также, что и Тэдди это понял. Нет, он не бросился на Тэдди, чтобы убить его, он только

негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тэдди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым, его ухо не способно различить тончайших оттенков в рычании. Тэдди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев, негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое: «Пошел вон!» Ослушаться этого приказа значило для Тэдди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью. И Тэдди не издал ни звука в ответ. Он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он в последний раз оглянулся: медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов.

Тэдди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники, ушел, чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл, причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.

11

Листья совсем почти облетели с берез и осин, лежали на земле толстым шуршащим ковром, птицы сбивались в стаи, малина кончилась, пошли обильные грибы и начались первые утренние заморозки, когда Тэдди, перевалив через множество холмов и сбившись вправо от большой реки, вдоль ее притока, вышел как-то утром на широкую поляну.

Внизу бежал ручей, тихонько гудели огромные сосны, отцветали последние ромашки, жадно глядящие на бессильное солнце. Берег ручья во многих местах состоял из мягкого золотистого песка со следами пурхавшихся в нем тетеревов; мелодично и бесконечно динькала вода, и Тэдди, остановившийся на поляне, понял вдруг, что нашел землю обетованную и наконец-то пришел в страну своего детства. Больше его никуда уже не манило, никуда не хотелось идти, путешествие его было окончено.

Здесь все было точно так, как было давным-давно, когда Тэдди еще не имел имени, а был просто маленьким глупым медвежонком, когда он обедался муравьями и земляникой и мать долго полоскала его в ручье, держа за шиворот, а потом длинным розовым языком крепко растирала его вздувшийся живот. То были прекрасные, невыразимо счастливые дни, и сейчас Тэдди вновь как бы вернулся туда... Но это было, конечно, не то. Нет, детство затерялось где-то в смутной дымке времени, не вернется, не придет, не вспыхнет солнечным блеском и зеленой травой. Ах, стать бы ему теперь снова маленьким, найти бы ему свою мать, поплакать бы под ее мягким теплым боком! Как жаль, что это невозможно...

Передвигаясь днем и ночью, Тэдди постепенно обходил этот край, отмечая для себя границы своих владений. Он исследовал ручьи, болота, овраги, потные луга, опушки и глухие места. Он встречал в изобилии следы волков, лосей, белок, выдры, зайцев. К одним он относился равнодушно, другие раздражали его, и он принимался копать и разбрасывать землю или обдирать кору, чтобы заявить свое право на землю и лес, и даже самый воздух.

Глухари и тетерева, взметая сухие листья, с необыкновенно крепким звуком взлетали у него из-под носа, но теперь ничто не удивляло его, и он принимал все как должное и давно знакомое. Он не внюхивался больше с беспокойством и любопытством в след, оставленный каким-нибудь животным, просто мимоходом отмечал для себя: «Вот здесь прошли лоси. Их было три», или: «Пробегала лиса; она очень торопилась и несла в зубах куропатку».

Шуба его приняла оттенок ореха, отросла и стала пушистой и блестящей. Лапа больше не болела, и он теперь пускал ее в ход, когда нужно было вывернуть пенек или

перевернуть упавшее когда-то тяжелое дерево. Он очень много ходил, подгоняемый ужасным аппетитом. Но здесь всего было вдоволь, и он часто испытывал громадное удовольствие, чувствуя себя как никогда свободным и сильным!

Великая вещь свобода! Она похожа на солнце, на огромное звездное небо; она похожа на теплый ровный ветер или на быстро бегущую звонкую воду.

Не нужно никого бояться, не нужно делать того, что не хочется делать!

Можно встать когда хочешь, и идти, куда захочешь!

Можно остановиться и долго провожать глазами пролетающий над рекой караван гусей, можно подняться на холм, открытый всем ветрам; там слышны все запахи — выбери для себя любой из них, иди туда, куда он зовет тебя!

Можно забраться в чащу, где так много сухих деревьев, дуплистых и изъеденных червем, и, наслаждаясь своей могучей свободной силой, валить эти деревья — сухие, мертвые, они будут падать с таким жалким треском!

Пришел ноябрь — месяц крепких заморозков, — и начался осенний гон лосей. Бродя по холмам, Тэдди с раздражением прислушивался к их реву. Несколько раз он видел издали лося-великана с большими рогами. Тот, потеряв всякую осторожность, ходил по мелколесью, взбирался на сухие гривы, храпел и почти безостановочно ревел. Медведю все меньше нравилось это шумное соседство. Тэдди, зверь осторожный, иногда забывался и шумел, но постороннего шума терпеть не мог и скоро возненавидел лося, как когда-то возненавидел медведя.

Однажды он наткнулся на свежие следы лосей и тотчас понял, что это давешний великан с лосихами. В этот день он был особенно зол, желание прогнать нахала сразу охватило его, с яростью разбросал он лосиный помет и быстро пустился по следу. Поднявшись на гриву, он потерял след, опять спустился, сделал большой полукруг и снова почуял лосей. Скоро он увидел их. Они кормились в реденьком осиннике, дотягиваясь бархатными губами до самых нежных веток.

Тэдди рывкнул и полез к ним. Лосихи шарахнулись и помчались вниз громадными прыжками, а лось-самец неожиданно захрапел и двинулся навстречу медведю. Конечно, в другое время он, не задумываясь, последовал бы за лосихами. Теперь же, после многих побед, весь во власти любовной горячки, он смело пошел навстречу врагу, и они сошлись на поляне. Тэдди сердито заревел. Лось ответил храпом с придыханиями. Вся кожа его дрожала от жажды боя, глаза налились кровью, ноздри трепетали, и легкий парок от дыхания сносило ветерком. Он был в самом расцвете сил, с огромными лопастями рогов, мощной шеей и легким вислым задом.

Тэдди, не ожидавший такой встречи, опешил, он не испугался, он только приостановился, раздумывая, как бы удобнее броситься. Но лось, по-своему истолковавший эту заминку, вдруг нагнул голову, всхрапнул и кинулся на медведя. Тэдди не успел отскочить, и удар сбил его с ног. Тотчас лось поднялся на дыбы над поверженным врагом, и тут, может быть, и закончилась бы жизнь Тэдди, попади ему лось по голове. Но лось не попал в голову, как целил, а попал по плечу. Крепка медвежья кость, выдержала, не сломалась, но где уж теперь драться, только бы живым уйти!

Увидев, что не попал, как хотел, лось опять вскинулся, но Тэдди откатился, и лось на этот раз вовсе промахнулся. Тогда лось нагнул голову и ринулся, как в первый раз. Тэдди увильнул и заскочил за куст, а лось не мог сразу остановиться. Когда же он повернул за медведем, тот, хромая, что было сил улепетывал вниз. Победа, небывалая победа досталась красавцу лосю, но ему теперь мало было этого, ему хотелось уничтожить врага или прогнать его далеко. И он помчался следом, легко догнал и еще несколько раз успел ударить на ходу. Потом, будто что-то вспомнив, вдруг остановился и, фыркая, вернулся назад, к лосихам. А несчастный Тэдди, весь избитый, забрался в самый густейший бурелом и долго стонал и сопел там, переживая позор своего

поражения. Недавно его прогнал бородатый медведь, теперь выживает лось... Хуже всего было то, что ему теперь нужно опасаться вообще всех лосей: раз его побил один лось, значит, так же могли поступить с ним и другие. Жизнь его с этого дня стала нечеловеческой. Как назло, следы лосей попадались ему все время. Шел ли он за брусничкой, или к муравейнику, или к ручью напиться — встретив следы, он тотчас сворачивал и уходил.

Но безвыходное положение продолжалось недолго. В нем вдруг проснулись все его дикие предки и свирепо требовали, чтобы он нашел врага и убил его. Он стал кружить по лесу, выслеживая лося, яростно драл когтями землю и деревья, заявляя о своем владычестве, устраивал засады, в которых на долгие часы замирал совершенно неподвижно. Один раз, найдя много свежих лосиных следов у ручья, он залег в кусты и стал ждать. Он лежал, прикинувшись к земле, и смотрел между ветками на тропу. Всюду толстым слоем лежали сырые желтые листья. Деревья были голые, и густые темные елки особенно явственно выступали в поредевшем полупрозрачном лесу. Утром хватил заморозок, но теперь оттаяло. День был хмурый, холодный.

Во второй половине дня наверху послышался легкий хруст и пофыркивание. Тэдди поднял голову и потянул воздух: пахло лосями. Уши его напряглись, шерсть на загривке поднялась. Он прижался к земле и подобрал под живот задние лапы. Раза два лоси останавливались. Что они делали — прислушивались или срывали ветки какие-нибудь — этого Тэдди не знал, он терпеливо лежал. Наконец наверху из-за кустов показались рога, а потом и сам лось. За ним шли три лосихи. Они остановились, внимательно посмотрели вниз, прядая ушами, потом стали спускаться к водопою: впереди лось, за ним — лосихи.

Все-таки лось зачуял медведя и сразу стал как вкопанный. Тэдди выскочил из засады с глухим ревом, лось всхрапнул и бросился на медведя. Тот успел отскочить и цапнуть лапой лося за бок. Удар когтистой лапы был, казалось, легким, мимолетным, но кожа на боку была сразу сорвана, и показалась кровь. Почуввав запах крови, Тэдди озверел. Впервые в жизни захотелось ему рвать живое мясо, услышать предсмертный хрип жертвы. Лось между тем повернулся и опять бросился. Медведь был тяжел, но ударом мощных рогов лось отбросил его, как котенка. Тэдди покатился, как и в прошлый раз, но теперь на шее лося закровенилась новая рана. Тэдди вскочил и издал свой самый великий рев, всколыхнувший все его тело, и прыгнул на лося, норовя наброситься сбоку, так как понял, что рога — такое оружие, против которого он бессилен.

Они продолжали биться, вырывая жухлую мокрую траву и землю, ломая все вокруг себя, но лось явно слабел. Кровь брызгала у него из многих ран, и на холоде он весь дымился от пара. Наконец медведю удалось прыгнуть на лося сбоку, он вцепился в мощный загривок, одновременно задними лапами раздирая лося бок. Затем, держась левой лапой и зубами за загривок и рыча сквозь стиснутые зубы, медведь со страшной силой ударил правой лосю по шее и еще потянул вниз, разрывая позвонки, и лось повалился. Медведь разодрал ему грудь, но и с разорванной грудью и сломанной шеей лось еще пытался подняться и сбросить медведя — так он был силен! Урча и кашляя, глотал Тэдди кровь мертвого уже врага и не скоро опомнился.

Потом медведь, поминутно рыча, ушел в лес, но вернулся и попытался утащить лося. Тащить было тяжело и неловко, тогда он стал заваливать лося валежником. Закидав кое-как мертвого врага и изрыв вокруг землю, он ушел окончательно. Его никто не учил этому, и прежде он никогда не делал этого, но теперь он знал, что так надо.

Через два дня, уже забыв про лося, Тэдди случайно проходил мимо, когда ветер донес до него сладковатый запах. Он тотчас вспомнил все, пришел и наелся. Еще раньше у лося побывали волки, — Тэдди узнал это по следам, оставленным ими, и поэто-

му никуда не ушел и уснул поблизости. Целую неделю он приходил к лосю и спал тут же, чувствуя, что теперь он властелин всего, что вокруг, и что его территория так же неприкосновенна, как территория бородатого медведя.

12

Но прошло какое-то время, и в последний раз, как застарелая рана, Тэдди охватила тоска по человеку. Сила, еще более могучая, чем инстинкт, погнала его вдруг из леса. И он точно так же, как недавно искал уединения и свободы, теперь стал искать встречи с человеком.

Четыре дня шел он к юго-востоку, пока наконец не вышел на открытое место. Перед ним был огромный пологий холм, на холме ярко зеленела озимь, а около опушки, где остановился Тэдди, лежал тракт, часто катили автомашины или медленно проезжали на телеге.

Тэдди стоял на опушке, приподнявшись на задних лапах, и раскачивался в тоске по человеку. Но ему не просто был нужен человек, а только могучий человек в белых панталонах. Ему нужно было, чтобы тот подошел и почесал бы ему за ухом и сказал ласково: «Тэдди!» — и положил бы своей крепкой рукой кусок сахара ему в пасть...

И так долго стоял медведь, совсем не прежний Тэдди, как бы вновь постигая великий, таинственный смысл жизни и одновременно навсегда уже прощаясь с прошлым. Он не вышел на дорогу к людям и не выкинул ни одной из тех уморительных штук, которым научился в цирке. Он безмолвно тосковал. Потом как будто повернулось что-то в нем, будто свалилась с него последняя тяжесть, последняя нить, связывающая его с людьми, порвалась, и он ушел обратно в лес. Через четыре дня он был снова у себя.

Становилось холоднее с каждым днем. Тэдди теперь спал много и ходил редко. По утрам маленькие озера и старицы затягивались звонким ледком. Голод, всегдашний руководитель Тэдди, отступил вдруг на задний план, что-то другое все сильнее беспокоило его. В цирке Тэдди не давали спать зимой — он должен был выступать, но здесь он подчинялся лесным законам. Он хотел спать. Он все ходил, словно примериваясь, но все казалось ему то неудобно, то открыто.

Однажды ночью выпал снег, и утром было бело, далекие холмы просвечивали как сквозь дымку, и Тэдди еще сильнее захотелось спать: даже собственные следы на снегу не удивляли его. Раз он устроился под елкой на сухих листьях и проспал три дня, но потом проснулся и снова побрел куда-то, с тоской поглядывая на оживленных, черных на белом снегу ворон.

Наконец он нашел то, что было ему нужно. Это была глубокая яма, засыпанная палым листом и хвоей. Сверху она заросла кустами, кроме того, на нее как раз повалилась спиленная ель. Ель когда-то спилил человек, отпилил себе верхушку, а комель оставил. Хвоя с лап осыпалась в яму, но лапы и без того были так густы, что когда Тэдди забрался под них, он почти не увидел неба. Но ему все было нехорошо. Он опять вылез, стал таскать и наваливать сушняку сверху и только к вечеру залез внутрь. Там он ворочался долго, никак не мог лечь, чтобы было удобно, наконец улегся, и ему показалось, что хорошо, и он начал вылизываться. Понемногу темнело, шел неслышный снег, и когда совсем стемнело и снег на вершинах сосен потерял свои последние лиловые краски, Тэдди уснул.

Что снилось ему?

Снился ли цирк и долгая жизнь артиста, разделенная как бы надвое темнотой коридора и ослепительным светом манежа? Снились ли переезды, вагоны, стук колес,

запахи угля и бензина, люди, смеющиеся и яростно кричащие, и человек в белых панталонах?

Или снилась, новая, свободная жизнь, сладкие муравьи, звенящие холодные ручки, страшная гроза, медведь, прогнавший его, битва с лосем?

Снилось ли ему детство? Прилетали ли к нему в берлогу нежные, зовущие, мудрые запахи леса?

Кто знает!

Он не проснулся ни на другой день, ни на третий... Снег все сыпал, и с каждым днем пушистей становились кусты, непролазней тропы, блее сосны и ели, и только березы оставались голые, и на них подолгу засиживались вечерами тетерева. Ударили лютые морозы, и пошла гулять по лесам настоящая русская зима!

А сон Тэдди становился все глубже, дыхание было все реже, пар уже не клубился над ямой, и скоро заваленную снегом берлогу можно было угадать только случайно, по небольшой отдушине-жерлу и желтоватому инею на сучьях.

1956

НИКИШКИНЫ ТАЙНЫ

1

Бежали из лесу избы, выбежали на берег, некуда дальше бежать, остановились испуганные, сбились в кучу, глядят заворуженно на море... Тесно стоит деревня! По узким проулкам деревянные мостки гулко отдают шаг. Идет человек — далеко слышно, принимают старухи к окошкам, глядят, слушают: семгу ли несет, с пестерем ли в лес идет или так... Ночью белой, странной погонится парень за девушкой, и опять слышно все, и знают все, кто погнался и за кем.

Чуткие избы в деревне, с поветями высокими, крепко строены, у каждой век долгий — все помнят, все знают. Уходит помор на карбасе, бежит по морю, видит деревня его темный широкий парус, знает: на тоню к себе побежал. Придут ли рыбаки на мотоботе с глубьевого лова, знает деревня и про них, с чем пришли и как ловилось. Помрет старик древний, отмолят его по-своему, отчитают по древним книгам, повалят на песчаном угрюмом кладбище, и опять все видит деревня и вопли женок принимает чутко.

Никишку в деревне любят все. Какой-то он не такой, как все, тихий, ласковый, а ребята в деревне все «зуйки», настырные, насмешники. Лет ему восемь, на голове вихор белый, лицо бледное в веснушках, уши большие, вялые, тонкие, а глаза разные: левый пожелтей, правый побирюзовей. Глянет — и вот младенец несмышленный, а другой раз глянет — вроде старик мудрый. Тих, задумчив Никишка, ребят сторонится, не играет, любит разговоры слушать, сам говорит редко, и то вопросами: «А это что? А это почто?» — с отцом только разговорчив да с матерью. Голос у него тонкий, приятный, как свирель, а смеется басом, будто немой: «гы-гы-гы!» Ребята дразнят его: как чуть что, бегут, кричат: «Никишка-молчун! Молчун, посмейся!» Сердится тогда Никишка, обидно ему, прячется в поветь, сидит там один, качается, шепчет что-то. А в повети хорошо: темно, не заходит никто, подумать о разном можно, и пахнет крепко сеном, да дегтем, да водорослями сухими.

Стоит конь оседланный возле Никишкиного крыльца. Грыз плетень, щепал крупным желтым зубом; надоело ему, глаза закрыл, голову свесил, осел, ногу заднюю под-

жал, только вздохнет другой раз глубоко, ноздри разымутся. Стоит конь, дремлет, а деревня знает уже: собрался Никишка к отцу на тоню ехать за двадцать верст по сухой воде, мимо гор и мимо леса.

Выходит Никишка с матерью на крыльцо. Через плечо киса, на ногах сапоги, на голове шапка, шея тонкая шарфом замотана: холодно уже, на дворе октябрь.

— Ступай все берегом, все берегом, — говорит мать. — В стороны не сворачивай, будут тебе по пути горы. Проедешь ты эти горы, а там тебе тропа сама покажет. Тут близко, не заблуждайся гляди-дак... Двадцать верст всего — близко!

Никишка молчит, сопит, мать плохо слушает, на коня лезет. Взбирается на седло, ноги в стремя, бровки сдвигает...

— Но-о!

Тронулся конь, просыпается на ходу, уши назад насторчил, хочет понять, что за седок на нем нынче. Закачались мимо избы, подковы по мосткам затукали: тук-ток. Кончились избы, высыпали навстречу бани. Много бань — у каждого двора своя, — и все разные: хозяин хорош — и банька хороша, плох хозяин — и банька похуже. Но вот и бани кончились, и огороды с овсом прошли, блеснуло справа море. Конь по песку захрупал, по сырým водорослям. На море косится, глаз выворачивает, не любит моря, хочет все левее забрать, подальше от воды. Но Никишка знай себе подергивает за правый повод, знай пятками по бокам коня колотит! Покоряется конь, по самому краю воды бежит, шею согнул, пофыркивает.

Недалеко от берега — камни. Их много, обнаженных отливом, они черны и мокры. Там, возле камней, разбиваются в пену волны, вскипают белыми бурунами, глухо, бессильно рокочут. Здесь, возле берега, совсем тихо, светлое дно видно, вспыхивают искры перламутровых раковин и пропадают, лижет песок прозрачная волна. Сидят на камнях чайки, сонно смотрят в море. Потихоньку слетают, когда Никишка близко подъедет, скользят стремительно над самой водой и вдруг — крылья вверх, хвост веером! — садятся на воду. Сильно светит низкое солнце, блестит под ним море и кажется выпуклым. Длинные мысы плавают впереди в голубой дымке, будто висят над морем.

Смотрит Никишка вокруг, сияет разноглазьем, и улыбку губы распускает. Глядит на солнце, на выпуклое, огненное море, смеется:

— Солнушко, гы-гы-гы!..

Перелетают вдоль берега кулички, кричат печально и стеклянно. Качаются на высоких ножках у моря, бегают у самой воды: волна отойдет, они по мокрому за ней, волна обратно, и они назад.

— Кули-кули... — лопочет Никишка, останавливает лошадь, смотрит, какие они подбористые, с клювами, как шило.

А чего только нет на песке у моря! Вон красные мокрые медузы, оставшиеся после отлива, похожие на окровавленную печенку. Есть медузы другие — с четырьмя фиолетовыми колечками посередине. Есть и звезды морские с пупырчатыми, искривленными лучами, а еще — следы чаек, долгие, запутанные, тут же помет их сиренево-белый. Лежат грудями водоросли, тронутые гниением, тяжело и влажно пахнут. А то еще след босой ноги тянется у самой воды, сворачивает к лесу, топчется возле странной, вросшей в песок темной коряги. Кто это шел? Куда шел и зачем?

А слева все бревна да бревна: белые, вымытые дождями и волнами, выбеленные солнцем, замороженные и вновь прогретые, высушенные. Слышал Никишка, много лет тому назад на большой реке Двине запань прорвало. Весь лес, который был, в море убежал, не могли его поймать, а море выкинуло по берегам. Лежит с тех пор тут лес, никто его не берет, никому не нужно, рыбак разве только да охотник редкий — на костер...

Весело Никишке. А конь все копытами хрупают да фыркает. Ступит иногда с маху на медузу, разбрызгается она по песку, как редкий камень драгоценный. Пусто впереди, пусто позади, пусто слева, пусто справа. Справа море, слева лес. А в лесу что? В лесу вереск да сосны кривые, маленькие, злые, да березы такие же. Еще в лесу ягоды есть сладкие: брусника да черника. И грибы: маслята липкие, рыжики крепкие, сыроежки с пленочкой, с торчащими на шляпках сосновыми иглами. Медведи в лесу ходят и другие звери, а птицы совсем нет, рябки одни тонко перекликаются. Дед Созон говорит: «Отлетела чегой-то птица. Бывало, побежишь с пестерем-то в лес, полон пестерь набьешь-дак. А ныне отлетела чегой-то птица, бог с ней, совсем ушла!»

Выбегают из лесу в море реки большие и маленькие. Через большие реки мосты положены. Мосты сгнили уже, нюхает конь бревна, слушает, как внизу вода вызванивает. Ступнет шаг, шею выгнет, назад оглядывается.

— Но! — скажет Никишка потихоньку.

Конь еще шагнет. А звук на таких мостах глухой, мертвый, как по гробу, и вода внизу темная, будто крепкий чай. Все реки из болот выбегают, нету чистой воды, вся такая, и море возле впадения рек желтую пену швыряет на песок.

А вон еще что-то темнеет впереди. Подъезжает ближе Никишка: шхуна в песок вросла. Мачт нет, и килия не видно, засосало. Лежит шхуна на боку, палуба сгнила, борта светятся, внутри водоросли с песком, больше ничего нет. Волна подходит, затопляет все, хлюпчит внутри, клокает, булькает, отходит — тонко струйки звенят, стекает вода на камни.

Воля, простор везде, воздух синий, резкий, и никого нет вокруг, на много верст. Попадет когда тоня рыбацья пустая, заброшенная. Стены мхом поросли, окошки маленькие, голову только просунуть, крыша осела, прохудилась, да и сама тоня на один бок села, другой задрала, глядит окошками в пустое небо. Вешала повалены, все рушится, только крест старый поморский, черный, восьмиугольный, страшно торчит, будто страж, поставленный навечно, и нет ему смены. Жутко глядеть на такое, отвернись — и мимо, мимо...

Но Никишка не боится. Знает, в таких избушках лешаки живут, смирные, грустные. Скучно им, спят целый день. И теперь спали, да услышали, едет мимо Никишка, проснулись, зевают, в окошки потихоньку выглядывают. У одного борода черная, у другого — сивая, у третьего — вовсе не поймешь какая. Болбонят — любопытно им, куда это Никишка едет.

А то черное что-то в песок вросло, коряга там или, может, камень темный, бутристый. Конь издали еще заметит, насторожит уши, голову задерет и вот вбок норовит, боится.

— Ты уж вбок не ныряй, — говорит коню Никишка. — Это ничего. Это так, дерево росло, да сгнило, да в песок устряло. Вишь, коряга. Вишь, это тебе ничего.

Конь слушает внимательно, кожей передергивает, фыркает и несет Никишку дальше, все вперёд и вперёд. Слушается он Никишку, его все звери слушаются.

Вот и горы пошли. Высокие, черные, стеной в море обрываются; на обрывах сосенки да березки корявые лепятся, смотрят в море, ждут горя. А внизу осыпь каменная: камень воду лезет пить. Много камня, громоздко очень. Конь все осторожнее идет, принохивается, выбирает, куда ногу поставить. Шел, шел и уперся, стал, ни вперед, ни назад, ни вбок — никуда. Слезает долой Никишка, коня берет за повод, шагает по мокрым камням. Вытягивает конь шею, прижимает уши, скачет за Никишкой, приседает, щелкают подковы, дрожат ноги. А под ноги ему накатываются со звоном волны. «Шшшш!» — набегают — «ссс!» — откатываются, «шшшш!» — снова набегают...

Нет, не может идти конь! Чудится ему, разверзается справа водяная бездна, приливает море, шумит, а под ногами камни — не уйти, не убежать! Останавливается он

в ужасе, храпит, скалит желтые зубы. Сердится Никишка, дергает, тянет изо всех сил за повод. «Но-о!» — кричит. Не идет конь, смотрит на Никишку фиолетово-дымчатыми дрожащими глазами. Стыдно становится Никишке, подходит он, гладит коня по щеке, шепчет ему что-то ласковое, тихое. Слушает конь Никишкин шепот, звон моря слушает, дышит тяжело, носит боками. Куда идти? Справа море, слева горы, сзади камень и спереди камень. Набирается конь решимости, снова скачет вперед, и снова щелкают подковы.

Наконец выбрались из осыпей, подвел Никишка коня к большому камню, забрался в седло, и опять захрупали копыта по песку, по водорослям. А земля впереди все мысы в море выставляет, будто длинные жадные пальцы. Едет Никишка, впереди далекий голубой мыс, доезжает до него, любопытно: а что там, за ним? А за ним — новый мыс, еще дальше выпяченный в море, там еще и еще, и так без конца.

Началась незаметная тропа, конь сам на нее свернул. Никишка задумался, смотрит вокруг, хочет тайну такую понять, чтобы все, что видит, разом открылось ему. Да не понять этой тайны, смотри только с тоской, впитывай глазами, слушай ушами да нюхай. И смотрит Никишка зачарованный, думает, а тропа все дальше в лес забирается, тихо становится, золотисто. Под ногами коня языки желтые, красные, оранжевые. Мхом пахнет, грибами, янтарные рыжики везде, румяные волнушки. Весь лес горит, елочки только зеленые, да вереск стелется приплюснутыми островками. Красен лес, а из-под земли камни обомшелые, темные и бурые, выпирают, да стоят особняком серые, изуродованные, скрученные елки и березы, странно похожие на яблоню.

Попался бы кто-нибудь навстречу! Но никто не попадается, один Никишка в мертвом лесу. Скоро ли жильё? Не у кого спросить, молчат сосны и елки, загадочно смотрят на Никишку камни из-под земли. Все тут камень да сырость... Только тропа глубоко в земле выбита, старая, глухая. И вспоминает Никишка, рассказывала бабушка, давно это было, шли по мертвым лесам странные люди, шли беглые, больные, несчастные, обиженные — всякий народ шел. И шли они все к одному месту, в одно место тропы глухие прокладывали, в пресветлую обитель — Соловецкий монастырь. А где этот монастырь, Никишка не знает, там где-то, где солнышко закатывается, а где, поди-ко узнай!

И вдруг среди этого безмолвия, тишины мертвой, звуков неживых — песня. И слышно, топором кто-то постукивает, слышно, дымком попахивает. Конь — уши торчком, заржал звонко, рысью, рысью вперед: жильё чует. Выезжает Никишка из лесу, перед ним избушка — тоня отцовская. Все новое, все крепко и ладно, из трубы дымок курится, на вешалах сети сушатся, рыбой пахнет, на катках карбас лежит, черным боком маслится. На пороге отец сидит, топором постукивает, весло кормовое ладит да песню поет.

2

Увидел Никишку, встал отец — огромный, бородатый, в высоких сапогах, с ножом на поясе, в брезентовой робе. Руки у него красные, лицо бурое, борода светлая, а глаза резкие, пристальные, под густыми бровями.

— Сынок приехал! — говорит радостно отец. — То-то сон мне снился... Ну, как же дома у нас там? Все ли живы?

— Живы! — отвечает Никишка, слезает с коня, качается, ногами топает. — Председатель коня дяде Ивану дал, мамка меня послала, я и поехал... Ехал-ехал, весь заболел, спину больно.

— Ах ты, молодец у меня! — ласкает отец Никишку, волосенки льняные ручищей своей гладит. — А я слышу: топ какой-то, а кто такое, и не толкую. А это вон Никишка! Не боялся ехать-то?

— Не, ничего! Птиц видал, грибов видал, с конем говорил. Конь-то умный. На вот тебе, мамка наклала, — снимает Никишка кису. — А почто это камни на меня смотрели? Они тоже думают? Небось ночью-то переваливаются, кому неловко лежать, за день-то вон как бок отлежишь!

— Камни-то? — задумывается отец. — Камни, они, надо думать, тоже живые. Все живое!

— А ты понимаешь, об чем березы говорят?

— Дак они по-своему, по-березьи небось говорят! Надо язык ихний знать. А то где понять!

— А дядя Иван где?

— Дядя Иван на соседнюю тоню поехал, на Керженку. Давеча рыбаки туда бежали на доре, так и его взяли, баня у них там, у нас-то нету ее, вот дядя Иван и поехал.

— А в деревню когда он поедет?

— В деревню завтра поедет, полечится. Ноги-то, вишь, совсем у него разломило, на лошади и поедет по сухой воде.

— А я как же?

— Ты со мной останешься. Останешься? Семгу будем ловить.

— Останусь!

— Ну вот! Пойду лошадь расседлаю...

Пошел отец, коня поймал, расседлал, потом веревку вынес, привязал коня к березе, чтобы в лес не ушел. А Никишка в избу заходит: сильно пахнет рыбой, в печке угли глеют, на столе хлеб, миски да ложки. Стены плакатами оклеены, на полке газеты ворохом лежат, чисто в избе, подметено, на веревке рукавицы, портянки да штаны сохнут. Выходит Никишка, обходит избу вокруг, в сарай заглядывает, сарай открыт, не запирается, не от кого запирать. Только хотел было Никишка в сарай забраться, посидеть, подумать о сегодняшнем, вдруг... Что-то живое в сарае показалось, темно-рыжее, будто тусклый пламень. Глазами светит, в глазах блеск красноватый вспыхивает, как солнце предзакатное. Собака! Большая, лохматая...

Сел Никишка на корточки, смотрит во все глаза на собаку, оглянулся, — отец не видит, — заговорил с ней:

— Адя... Уууурр! Гу-гуррр... Гам!

Собака молчит, нюхает, голову набок склонила, одно ухо вверх, другое повисло хвостом молотит — нравится ей Никишка. Наговорившись, выходит Никишка из сарая, собака за ним бежит, будто век его знает. Смотрит Никишка на отца, какой он большой, красный, солнцем освещенный, как царь лесной.

— Ну, сынок! — весело говорит отец. — Поедем сейчас за семгой! Только постой, весло доделаю.

Отходит Никишка немного, ложится на теплый песок, собака подбегает, рядом ложится тоже, дышит часто. Закрывает глаза Никишка, качает его, все кажется, на коне едет и чайки бесконечно над морем взлетают, а мимо горы, да леса, да кресты черные, лешаки из избушки выглядывают, болбонят: «Гляди ты! Никишка-то к отцу едет семгу ловить, чай-сахар везет!» И песню кто-то тонко поет, голос то распухнет, то утончится, баюкает, солнышко светит, а море все: «шшшшу!» — накатывает, «сссс!» — отходит. Глеющие водоросли крепко пахнут, дурманят голову, а кулики стеклянно кричат: «пи-пии, пи-пии!»

Лежит Никишка, ни спит, ни дремлет... Песок теплый, собака теплая, смотрит на Никишку огненными глазами, говорит: «Пойдем, Никишка, в лес!» — «Я в море пойду, семгу стеречь!» — Никишка отвечает. А собака свое: «Пойдем в лес, я тебе тайны открою! Об чем березы шепчут, послушаем, что камни думают, узнаем». Любопытно Никишке, сомневается он уже, то ли в море идти, то ли в лес, но тут отец как раз подошел с веслом новым в руке.

— Вставай, сынок, поедем!

Встал Никишка, идет с отцом на берег, а море радуется, вспыхнет, заиграет, заголубеет, так и манит, так и расстилается. Налег отец грудью на карбас, столкнул в воду, Никишку посадил в корму, сам сапогами по воде бухает. Но вот и сам в карбас залез, на веслах уместился, Никишке кормовое дал, от берега отвалили, развернулись, и пошло качать-покачивать — вверх-вниз, вверх-вниз. Берег качается, собака на берегу качается... А отец шибко гребет, волна по скулам карбаса шлепает, взлетает брызгами вверх.

Подплывают осторожно к ловушке, привязывают карбас к жерди, встает отец, чутко вниз глядит, в тайник, — нет ничего!

— Пусто... — шепчет отец и садится, спокойный.

Оглядывается Никишка, тихо кругом, ни звука, ветерок легкий ровно дует, солнце светит, слепит глаза море, а берег далеко, темный, в обе стороны уходит. И кажется Никишке, был он здесь, сидел давно годами, семгу ждал, думал о чем-то. Или снилось ему это?

— Прилив начался, — говорит отец. — Вода пошла, прибывает.

— Светла погода, — тихонько откликается Никишка. — Хорошо! Донушко видать...

— А как же! Она донушко светлое любит. Ей камни там или водоросли не нужны. Любит она по дну идти, в полводы. Полная вода или сухая вода — это ей неподходяще, не любит она этого, а идет, говорю, в полводы.

— А это колотушка?

— Это? Колотушка, сынок. Ее бить. Она здоровая, сильная, так не вытащишь, упаришься, вот и бьем мы ее колотушкой.

— А если она выскочит?

— Но! У нас ведь ловушка на то. Вишь, полотно-то? Сеть то есть. Это вот стенки на кольях с оттягами, а внизу... Глянь-ко, глянь!

Свешивается Никишка за борт, руками глаза свои разноцветные огородил, смотрит в воду, в глубину, видит блики зеленоватые на дне, тонкие ячейки сети видит.

— Вишь? Вишь, внизу тоже сеть — это дно. Стенки да доно, это вот тайник, а там ворота, эвон где жерди две рядом торчат, ворота там... Она идет, в ворота зайдет и в тайник, а в тайнике мы ее бьем. От ворот заезжам, выход загораживам, доно подымам и бьем.

— Знаю, — говорит Никишка, вспомнив что-то.

— Я и то говорю, знаешь, — соглашается отец. — Ты у меня все знаешь!

— А почто меня ребята дразнят?

— Они дурачки, не слушай их. Озорники они, все им баловство, а ты хороший, смиренный да умный, вот они и дразнят. Не слушай их, ты всех умней.

— Это потому, что я думаю много.

— А ты много не думай и мало не думай, а так: захочется — думай, не захочется — не думай.

— А я думаю вот, куда это вода в море отливает, а после обратно приливает. Реки, те в море утекают, а море куда утекает?

— Море? Гм... — скребет отец бороду, на горизонт глядит, соображает. — Море, надо думать, в горло уходит, в Ледовитый океан. А из океана еще и в другие океаны переливается.

— А много других океанов?

— Много, сынок, и стран всяких много на земле.

— А ты был там?

— Был! В Италии и во Франции был, и в Норвеге, когда моряком ходил.

— А какая Италия?

— Италия-то? Италия, сынок, хорошая. Жарко там, солнца много, фрукты всякие растут, сладкие да вкусные. Все там черные от солнца ходят, раздетые, а зимы вовсе нет.

— Как нет?

— А так, снегу нет, морозу нет ничего. Солнце круглый год.

— Хорошо! — вздыхает Никишка. — Пожить бы там!

— И поживешь, — говорит отец. — Вырастешь, на капитана пойдешь учиться, дадут тебе пароход большой в Архангельске, и побежишь ты мимо Норвеги, вокруг земли, прямо в Средиземное море.

— А ты капитаном был?

— Нет, я был матросом. Всем я был: лесорубом, охотником, рыбаком, зверобоем...

— Ой, глянь-ко, что это?

— Где?

— Эвон кажется...

— А! То тюлень. Тюлень, сынок, подплыл на нас поглядеть.

— Знаю. А где он живет?

— В море живет. Днем рыбу промышляет, а ночью к берегу плывет, на камнях спит в местах глухих на съемных коргах.

— А почто его бьют? Его ведь не едят.

— Шкура у него хороша и жиру много. Его легко бить, глупый он; подкрадаются и бьют из винтовки. А ходим за ним всяко: другой раз на карбасах, другой раз на ледоколе. Теперь-то все больше на ледоколе.

— А если темна погода, страшно на карбасе?

— Ой, страшно! Вот вырастешь, возьму я тебя на зверобойку, узнаешь тогда наше северное морюшко. Эвон там, где блестяшки, — показывает отец рукой, — где солнушко стоит, там островок есть махонький, Жижгин называется. Тюлени там стадаются. На Жижгине этом поморы всегда промышляют. Стоит там избушка зверобойная на корге, прибегают туда поморы на карбасах, живут, хлеб жуют, поветрия ждуть, погоды, значит. В хорошую погоду в море бегут, тюлешков стреляют, ночью на льдине спят. Бывает, падет темна погода, так уж понесет, так понесет — заревишь на голос, с жизнью простишься. Кто посчастливей, того и отпустит скоро, ветер напеременку пойдет, утихнет, а кого и в горло вынесет, мимо Канина Носа пронесет — да в океан... А там только если с самолета заметят, спасут, а так...

— Семга! — шепчет вдруг Никишка.

— Но! — встал отец на носу на колени, наклонился над тайником. — А и верно! Ну, господи благослови, я буду доно подымать, а ты карбас сдерживай...

Быстро отвязывает отец карбас, гребет по борту в объезд ловушки, к воротам. Заходят со стороны ворот, нагибается отец, руки в воду опускает, Никишка за жердь держится. А в глубине что-то беззвучно мечется — огромное, сильное, живое, — вздрагивают жерди, как струны дрожат оттяги. Шуршит капроновая сеть, подтягивает ее отец к карбасу; Никишка шею вытянул, смотрит вниз. Вот все меньше семге места остается, вот она уже два раза поверху плеснула, держит отец одной рукой подобранное доно, другой колотушку шарит. Нашел, руку вымахнул, ждет, когда ударить можно, а семга бьется все яростней, все сильнее, гулко по дну карбаса стучает, не дается, водой рыбаков окатывает. Вот уже вся она на виду, как в чаше пенной, — могла бы кричать, закричала бы от ужаса. Бьет отец с размаху ее по голове, и сразу все обрывается, обмякает семга, заваливается набок. Хватает отец ее за жабры, с усилием втягивает в карбас, шлепает вниз, под ноги Никишке. Смотрит Никишка на нее остановившимися глазами, а она еще жива, еще жабры вздрагивают, чешуя еще сжимается — огромная,

серебристая рыба, с темной спиной, с загнутой вверх нижней челюстью, с черным крупным глазом.

Опускает отец доно, выталкивает карбас из ловушки, рукавом лицо вытирает и руки, рыбой пахнувшие, вытирает о штаны, весело смотрит на семгу, на Никишку.

— Вот как мы ее!

Никишка бледен, поражен, опомниться не может. И опять привязан карбас к жерди, качается на волне вверх-вниз, молчит отец, сложив на коленях могучее красные кисти рук, отдыхает. А Никишка, привыкнув немного к семге, вспоминает отцовские слова о тюленях...

— Не, я лучше капитаном буду! Не хочу тюленей бить, они смиренные...

— Можно и капитаном, — соглашается отец и смотрит на небо. — Глянь, тучи натягивает, солнушко скрывает. Скоро домой поедем. Можно капитаном, а можно инженером тоже...

— А почто инженером?

— Как почто? Строить чего-нибудь будешь, это — тоже дело! Да вот хоть бы у нас: выстроим дорогу по берегу асфальтовую, причалов настроишь, огни гореть будут, машины гудеть...

Никишка задумывается, глядит на далекий берег: какой он темный, безлюдный.

— Ладно, — решает, — буду инженером.

— Ну вот! Посидим еще и — домой. Там у меня рыбка есть, давеча утром рюжу осматривал по сухой воде, так рыбки немного попало. Ухи мы с тобой наварим да чай вскипятим, оно и хорошо спать-то будет. А теперь давай-ко помолчим-дак... Семгу надо сторожить.

Молчит все: молчит море, карбас беззвучно качает, молчит берег, не доносится оттуда ни звука. Низкое уже солнце скрылось в облаках, потемнело все кругом, запечалилось. И никого нигде нет! Пусто везде, безлюдье, летают редкие чайки, на берегу в лесу рябки притаились да качаются в карбасе два рыбака и с ними семга заснувшая.

3

Гудит печка, потрескивает, тепло в избушке, за окошками сумерки. Зажег отец лампу, между ног ведро поставил с водой, шкерает на уху пятнистую тресочку, темную, горбатую рявшу, тонкую навагу. А Никишка дремлет, наговорился за день, нагляделся, наслушался, накачался, устал — дремлет ему, думается бог знает о чем!

Круто меняется погода. Дует верховой обедник, шумит море, все зеленеет и зеленеет на западе, просинь открывается, воздух стекленеет: настает вечер необыкновенной чистоты, со звездами и смутным небесным светом.

Лежит рыжий пес у печки, спит, подрагивает во сне. Никишка встрепенется, слушает вполуха — отец чего-то говорит мирное, давно знакомое, родное: о рыбе говорит, о море, о ботах, о деревне, о ветрах — полуношнике, побережнике, шелонике, обеднике... Большой отец, склонился низко над ведром, волосы, как у Никишки, белесые на глаза свесились, борода распушилась, сам неподвижен, руки только двигаются, нож сверкает, рыба в ведро с плеском падает, тень отцовская на стене вздрагивает. Говорит, говорит отец низким голосом. Никишка глаза закроет, видит землю родную с морем, лесами, озерами, солнце видит, птиц молчаливых, зверей странных, кажется ему, вот-вот тайну какую-то узнает, никому не ведомую, слово заветное произнесет, и нарушится молчание, заговорят, все с Никишкой, все ему разом понятным станет. Но нет слова, не раскрыта тайна, — слышит Никишка ровный отцовский голос, и еще многое видит он и слышит.

Видит он, что псу рыжему снится — лес ему снится, звери страшные, неизвестные со всех сторон кидаются. Бежит пес, лает от страха, одно ему спасение — Никишка. Слышит, камни шептаться начинают, море шумит, деревья в лесу шевелятся, крикнет кто-то... Видит, вот отец в шторм на льдине качается, ревит; еще видит, семга огромная, сердитая бережает, по дну плывет, по чистому донушку, а за ней другие — тайник отцов ищут.

Гудят в печке дрова, потрескивают... Отец из избы выходит воду вылить из ведра, слышно, за стенкой ходит, дрова собирает, потом в избу входит, грохает дрова у печки. Вскакивает пес рыжий, вздрагивает Никишка, глаза открывает.

— Спишь, сынок? — наклоняется к нему отец. — На воле-то не видал, что делается? Ясень какой! Глянь-ко, глянь, поди...

Выходит Никишка — темно, холодно, ветер сырой дует. Солнце давно село, леса не видно, а вверху, между звезд, жемчужно светится продолговатое пятнышко. Будто облачко плывет на страшной высоте, озарено последним светом солнца. Но вот облачко медленно, неуверенно вытягивается в длину, пухнет в середине, выгибается мостом-радугой, между западом и востоком. Смотрит Никишка, закинув голову. Дверь хлопает, пес к Никишке подбегает, за псом отец выходит, тоже голову поднимает.

Неясные тени начинают ходить по облаку, цвета меняются, все синеют, все густеют — от молочного к синему. Кажется Никишке, напрягается облако, силится рубиновым огнем загореться, запылкать вместо ушедшего солнца. Все сильнее мерцают краски, все больше света сверху льется, но напрасны усилия, все гаснет, и опять большие, смутные тени передвигаются печально по световому мосту.

Смотрит Никишка, смотрит отец и молчит, пес смотрит и тоже молчит. Молчит и лошадь, заснула возле березы, — все молчит, одно море светлеет от небесного огня и шумит, шумит...

Вот совсем гаснет свет, идет Никишка в теплую избу, забирается на кровать с ногами, пес у печки ложится, ставит отец уху на огонь и чайник ставит.

Скоро Никишка спать ляжет, и приснятся ему необыкновенные сны. Обступит его деревня, избы с глазами-окошками, лес подойдет, камни и горы, конь явится, пес рыжий, чайки прилетят, кулики сбегутся на тонких ножках, семга из моря выйдет — все к Никишке сойдутся, смотреть на него станут и, бессловесные, будут ждать заветного слова Никишкиного, чтобы разом открыть ему все тайны немой души.

1957

АРКТУР — ГОНЧИЙ ПЁС

1

История появления его в городе осталась неизвестной. Он пришел весной откуда-то и стал жить.

Говорили, что его бросили проезжавшие цыгане.

Странные люди — цыгане. Ранней весной они трогаются в путь. Одни едут на поездах, другие — на пароходах или плотах, третьи плетутся по дорогам на телегах, неприязненно посматривая на проносящиеся мимо автомашины. Люди с южной кровью, они забираются в самые глухие северные углы. Внезапно становятся табором под городом, несколько дней слоняются по базару, шупают вещи, торгуются, ходят по домам, гадают, ругаются, смеются, — смуглые, красивые, с серьгами в ушах, в ярких

одеждах. Но вот уходят они из города, исчезают так же внезапно, как и появились, и уж никогда не увидать их здесь. Придут другие, но этих не будет. Мир широк, а они не любят приходить в места, где уже раз побывали.

Итак, многие были убеждены, что его бросили весной цыгане.

Другие говорили, что он приплыл на льдине в весеннее половодье. Он стоял, черный, среди бело-голубого крошева, один неподвижный среди общего движения. А наверху летели лебеди и кричали: «Клинк-кланк!»

Люди всегда с волнением ждут лебедей. И когда они прилетают, когда на рассвете поднимаются с разливов со своим великим весенним кличем «клинк-кланк», люди провожают их глазами, кровь начинает звенеть у них в сердце, и они знают тогда, что пришла весна.

Шурша и глухо лопаясь, шел по реке лед, кричали лебеди, а он стоял на льдине, поджав хвост, настороженный, неуверенный, внюхиваясь и вслушиваясь в то, что делалось кругом. Когда льдина подошла к берегу, он заволновался, неловко прыгнул, попал в воду, но быстро выбрался на берег и, отряхнувшись, скрылся среди штабелей леса.

Так или иначе, но, появившись весной, когда дни наполнены блеском солнца, звоном ручьев и запахом коры, он остался жить в городе.

О его прошлом можно только догадываться. Наверно, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его, чистокровная сука из породы костромских гончих, низкая, с длинным телом, когда пришла пора, исчезла под крыльцом, чтобы совершить свое великое дело втайне. Ее звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно совершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей...

Он родился, как и все щенки, слепым, был тотчас облизан матерью и положен поближе к теплему животу, еще напряженному в родовых схватках. И пока он лежал, привыкая дышать, у него все прибавлялись братья и сестры. Они шевелились, кричали и пробовали скулить — такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось, все нашли по соску и затишли; раздавалось только сопенье, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь.

В свое время у всех щенят прорезались глаза, и они узнали с восторгом, что есть мир, еще более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть свет. Он был слеп, бельма толстой серой пленкой закрывали его зрачки. Для него, слепого, настала горькая и трудная жизнь. Она была бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту. Но он не знал того, что слеп, ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему.

Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному, ненужному людям щенку. Он остался жить и претерпел великие мытарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его.

У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нем, как о своем друге. Он стал бездомным псом-бродягой, утрюмым, неловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, часто болел, рылся на свалках возле столовых, получал пинки и ушаты грязной воды наравне с такими же бездомными и голодными собаками.

Он не мог быстро бегать, ноги, его крепкие ноги, в сущности, не были ему нужны. Все время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жесткому. Когда

он дрался с другими собаками, — а дрался он множество раз на своем веку, — он не видел своих врагов, он кусал и бросался, ориентируясь на шум дыхания, на рычание и визг, на шорох земли под лапами врагов, и часто бросался и кусал впустую.

Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении, — для людей он не имел имени. Неизвестно также, остался бы он жить в городе, ушел бы или сдох где-нибудь в овраге, но в судьбу его вмешался человек, и все переменялось.

2

В то лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. У берега стояла пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил, разве только пригородные колхозники в базарный день да командированные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод.

Вокруг города по низким, пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые: лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с Ледовитого океана задувал прохладный, влажный ветер, нагоняя тучи, сосны грозно гудели и роняли шишки, которые крепко стучались о землю.

Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятый, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, но двух сыновей его убили на фронте, жена умерла, дочь уехала в Москву, и доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность: он любил петь. Тончайшей фистулой он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты, но он редко заходил туда, обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину — доктор не гонял их и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские куры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспешно начинали рыться возле смородиновых кустов. Еще в сад забредали коты и, затаившись возле лопухов, следили за воробьями.

Я жил в городе уже недели две, но все никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами с прорастающей меж досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам пароходов по ночам.

Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережная и улицы его были негромки и задумчивы. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук — это шли рабочие с ночной смены. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышались спящим. Казалось, что у домов чуткие стены и что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей.

Ночью наш сад пах смородиной и росой, с террасы доносился тихий храп доктора. А на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: «Ду-ду-ду...»

Однажды в доме появился еще один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, доктор увидел слепого пса. С обрывком веревки на шее он сидел, забившись между бревнами, и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел его во всех подробностях, почмокал губами, посвистал, потом взялся за веревку и потащил слепого к себе домой.

Дома доктор вымыл его теплой водой с мылом и накормил. По привычке пес вздрагивал и поджимался во время еды. Ел он жадно, спешил и давился. Лоб и уши его были покрыты побелевшими рубцами.

— Ну, теперь ступай! — сказал доктор, когда пес наелся, и подтолкнул его с террасы. Пес уперся и задрожал.

— Гм!.. — произнес доктор и сел в качалку.

Наступал вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звезды. Гончий пес улегся на террасе и задремал. Он был худ, ребра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мертвые глаза, настораживал уши и поводил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза.

А доктор растерянно рассматривал его и ерзал в качалке, придумывая ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор задумчиво поднял глаза: низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда.

— Арктур... — пробормотал доктор.

Пес шевельнул ушами и открыл глаза.

— Арктур! — снова сказал доктор с забившимся сердцем.

Пес поднял голову и неуверенно замотал хвостом.

— Арктур! Иди сюда, Арктур! — уже властно и радостно позвал доктор.

Пес встал, подошел и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову.

Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, побирушки, есть свободные и угрюмые бродяги, есть глупо-восторженные брехуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостом, рабски умильные, они бросаются с паническим визгом прочь, если ударить их или даже просто замахнуться.

Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично, быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца.

У хозяина бывало минутами плохое настроение, иногда он был равнодушным, часто от него раздражающе пахло одеколоном — запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и тогда Арктур изнывал от любви, шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь радостным лаем. Но он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение! Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими, они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды, и Арктуру казалось, что все это уже было с ним, было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда.

3

В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, чер-

ной спиной и рыжими подпалинами на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще, морде его и всему телу была свойственна сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натываясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боком — многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки и люди и многие другие животные смело взбегали по лестницам, перепрыгивали через канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я никогда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по луку да по террасе нашего дома... Но если животные и люди были еще понятны ему и он, наверно, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах. И лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же никогда не интересовался он самолетами.

Но если не мог он ничего увидеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нем. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашел дорогу домой. Каждая вещь пахла! Запахов было множество, и все они звучали, как музыка, все они громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, третьи сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать, и он сразу же ощущал свалки и помойки, дома, каменные и деревянные, заборы и сараи, людей, лошадей и птиц так ясно, как будто видел все это.

Был на берегу реки, за складами, большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил обнюхивать. В его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались иной раз неделями, их мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждение, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность.

И еще он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи, за многие версты вокруг. Он слышал пение комаров и зудение в осином гнезде на чердаке. Он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и неживым, как для нас. Дом тоже жил: он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой бревен в запани около лесозавода. Тихо поскрипывали уключины — кто-то переплывал реку в лодке. И совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему.

И еще была у него одна особенность: он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему.

Однажды я шел по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Вдали на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, тонкие, протяжные крики, хлопанье кнутов: с лугов гнали стадо.

Внезапно я заметил собаку, бежавшую с деловитым видом по дороге навстречу стаду. По особенному, напряженному и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Рань-

ше он никогда не выбирался за пределы города. «Куда это он бежит?» — подумал было я и заметил вдруг в приблизившемся уже стаде необычайное волнение.

Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам-собакам стали у коров врожденными. И вот, увидев бегущую навстречу темную собаку, первые ряды сразу остановились. Сейчас же вперед протиснулся приземистый палевый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, пригнул к земле рога и заревел, икая, дергая кожей, выкатывая кровавые белки.

— Гришка! — закричал кто-то сзади. — Бежи скорее вперед, коровы ста-али!

Арктур, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбегу он пробежал еще несколько шагов и круто осел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и поддел его рогами. Черный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлепнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, хрипя и со стуком сшибаясь рогами. Задние напирали вперед, все смешалось, пыль поднялась столбом. С напряжением и болью ожидал я услышать предсмертный визг, но его не было.

Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса, дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороге. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его.

— Ах, собака! — злорадно закричал он, выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом.

Арктур не взвизгнул, он только вздрогнул, повернув на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал.

Бык стоял поперек дороги, взрывал землю и ревел. Пастух стегнул и его так же сильно и ловко, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль и оставляя на дороге лепехи, тронулось дальше.

Я подошел к Арктуру. Он бы грязен и тяжело дышал, вывалив язык, ребра ходили под кожей. На боках его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отозвался. Все его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и стегали. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях. Арктур не скулил.

4

И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный и героический смысл.

Случилось это так. Я пошел утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми, я уже знал, начнется скорое увядание. За мною увязался Арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного переждал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание.

Лес ошеломил Арктура. Там, в городе, все ему было знакомо. Там были деревянные тротуары, широкие мостовые, доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему незнакомые предметы: высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие листья. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, буд-

то стоворилось прогнать из леса. И потом — запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натываясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы, вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган.

— Ах, Арктур! — тихонько говорил я ему. — Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты и как сильно блестит роса на траве; не знаешь, что вокруг нас полно цветов — белых, желтых, голубых и красных — и что среди седых елей и желтеющей листвы так нежно краснеют гроздь рябины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звезды, ты, может быть, с удовольствием полаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади, и собаки, и кошки — все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, и зелеными, и просто серыми, и как сильно блестят стекла окон при закате, каким огненным морем разливается тогда река! Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песнь рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверя, захлебываясь лаем, не помня себя, и этим неистовым бегом по горячему следу ты служил бы своему владыке — охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес!

Так, потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше уходил в лес. Арктур мало-помалу успокаивался и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он, какой восторг охватывал его! Теперь, он, увлеченный своим важным делом, уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывал в мою сторону мертвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает, иду ли я за ним, потом опять принимался кружить по лесу.

Скоро мы вышли на луг и пошли мелочами. Страшное волнение охватило Артура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов. Он громко дышал, лез напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завозился, зафукал... «Кого-то причуял!» — подумал я и остановился.

«Гам! — звонко и неуверенно раздалось в кустах. — Гам, гам!»

— Арктур! — в беспокойстве позвал я.

Но в этот момент что-то случилось. Арктур завизжал, завыл и с шумом ринулся в глубь кустов. Вой его быстро перешел в азартный лай, и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно, как он там продирается. Испугавшись за него, я бросился наперехват, громко окликавая его. Но мой крик, видимо, придавал ему только азарта. Спотыкаясь, застревая в густоте, задыхаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в ложину, выбежал на чистое место и сразу увидел Артура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем, бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так, как бегают обыкновенно собаки, но тем не менее гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлебываясь, срываясь на тонкий щенячий голос.

— Арктур! — крикнул я.

Он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня, глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле: видимо, он все-таки ударился где-то несколько раз, но так велика была его страсть, так был он возбужден, что и не почувствовал этих ушибов.

С этого дня жизнь его пошла другим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру, иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, грудь раздалась, голос окреп, лапы стали сухими и мощными, как стальные пружины.

Как он гонял там один, как не разбивался, этого я не мог понять. Он, наверно, чувствовал все-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, он ждал одобрения, поддержки со стороны человека, что так необходимо каждой гончей собаке.

Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Бег его, бег слепой, неловкой собаки, конечно же, был медлительным и неуверенным. Нет, никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы! Лес был ему молчаливым врагом, лес стегал его по морде, по глазам, лес бросался ему под ноги, лес останавливал его. Только запах, дикий, вечно волнующий, зовущий, нестерпимо прекрасный и враждебный запах, доставался ему, только один след среди тысячи других вел его все вперед и вперед.

Как находил он дорогу домой, очнувшись от бешеного бега, от великих грез? Какое чувство пространства и топографии, какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы, очнувшись, совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много верст в глухом лесу с шорохом трав и запахом сырых оврагов, добраться до дому!

Каждой гончей собаке необходимо одобрение со стороны человека. Собака гонит зверя и забывает все, но даже в момент наивысшей страсти она знает, что где-то там, впереди, охваченный такой же страстью, перебегает по лапам ее хозяин-охотник и что, когда придет пора, его выстрел решит все. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку; он тоже лазит по кустам, бегаёт, хрипло порскает, помогает собаке распутать след. А когда все кончено, хозяин бросает собаке пазанки, смотрит на нее хмельными, счастливыми глазами, кричит с восторгом: «Ну, ты! Мил-лая!» — и треплет за уши.

Арктур был одинок в этом смысле и страдал. Любовь к хозяину боролась в нем с охотничьей страстью. Несколько раз я видел, как ранним утром Арктур вылезал из-под террасы, где любил спать, побегав по саду, садился под окном своего хозяина и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, и, если доктор, проснувшись, в хорошем настроении, выглядывал в окно и звал: «Арктур!» — что тогда выделял этот пес! Торжественно он подходил к самому окну, задирая вверх голову с поддерживающимся горлом и покачиваясь, переступая с лапы на лапу. Потом он проникал в дом, там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки, арии доктора и топот по комнатам.

Он и теперь ждал пробуждения доктора. Но теперь что-то другое сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почесывался, поглядывал вверх, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая всё большие круги, опять садился под окном, даже коротко взлаивал от нетерпения и, насторожив уши и наклоня попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя я видел его далеко в поле, трусящим своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. Направлялся он к лесу.

Как-то раз я шел с ружьем по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирили, их было много, в низинах часто попадались бекасы, и охота была легкой и радостной.

Выбрав пень поудобней, я присел отдохнуть, и, когда стих набежавший перед тем легкий ветерок и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки. Было похоже, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол, и этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, что где-то лает собака. Лай, доносившийся с противоположного берега озера, из глуши сосновых лесов, был чист, слаб и далек; иногда он пропадал совсем, но потом опять упорно возобновлялся, немного ближе и громче.

Я сидел на пне, посматривал кругом на желтые, засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем багряные листья осины, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканная пауками паутина. Скоро в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое, и я понял вдруг, что это гонит Арктур.

Так вот когда пришлось мне услышать его! Слабое серебряное эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось его молчание, лес сразу стал пустым и мертвым. Я как бы видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился о дерево? Может быть, он лежит сейчас с разбитой грудью, не в силах подняться, окровавленный и тоскующий?

Но гон возобновился с новой силой, уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему, ни один не пройдет мимо. Много интересного видел я возле этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую, бурую от конского щавеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась с поднятой передней лапой, поставив торчком уши, и вслушалась в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговину, пошла на опушку, нырнула в овраг и скрылась в мелколесье. Сейчас же на луговину вылетел и Арктур. Он шел немного стороной от следа, беспрестанно и зло подавал голос и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Следом за лисой он слетел в овраг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол.

Как в странном театре, промелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли, и я опять остался один с тишиной и далеким лаем.

Слава о необыкновенном гончем псе скоро разнеслась по городу и по всей округе. Его видели на далекой реке Лосьве, в полях за лесными холмами, на самых глухих лесных дорогах. О нем говорили в деревнях, на пристанях и перевозе, о нем спорили за кружкой пива сплавщики и рабочие лесозавода.

К нам в дом стали навещать охотники. Как правило, они не верили слухам — они по себе знали цену охотничьим рассказам. Они осматривали Арктура, рассу-ж-

дали о его ушах и лапах, о его вязкости и других охотничьих статях; они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктур, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и настороженный, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака непродажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие.

Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся, татарская борода сквозила, на голове был мятый треух, на ногах — сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы, поскреб голову и посмотрел на небо.

— Погоды-то ныне, погоды... — неопределенно начал он и, крикнув, умолк.

Я догадался и спросил:

— Не за собачкой ли пришли?

— Да и как же! — оживился он и надел шапку. — Ведь это что, к примеру, получается? На что доктору собака? Ни к чему она ему, а мне вот как нужна собачка! Скоро охоты и все такое... У меня, слышь, у самого есть гончак, да плох: дурак, след не держит и голосу никакого. А ведь это что? Сляпой-то, а? Ведь это уму непостижимо, как выгнивает! Царская собака, вот те крест святой!

Я посоветовал ему поговорить с хозяином. Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закуривал. Потом нахмурился.

— Что ж, отказали вам? — спросил я, заранее зная ответ.

— И не говори! — огорченно воскликнул он. — Ну что ты скажешь! Я с малолетства охотник — во, вишь, глаз потерял, — и сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышь, для дела собачка нужна, для де-ела! Нет, не дает... Пятьсот рублей сулил — цена-то какова, а? — и не подходи, не дает! Чуть не заревил, а? Это мне ревить надо! Охоты подходят — собаки нет!

Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг на лице его что-то мелькнуло, что-то такое хитрое и умное. Он сразу стал спокойнее.

— Она где же помещается у вас? — как бы невзначай поинтересовался он и замигал глазом.

— Уж не украсть ли собачку хотите? — спросил я.

Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и пытливо глянул на меня.

— Прости господи! — сказал он и засмеялся. — Ведь так с вами и до греха дойдешь. А ты думал! Ну на что ему собака? Скажи ты вот!

Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня:

— А голос-то, го-олос! Понимаешь ты — голос! Чистый ключ, я тебе говорю!

Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома:

— Погоди, собачка-то моя будет. На что ему собака? Человек он умственный, не охотник... Продаст он мне ее. Святой крест, продаст! До покрова-то далеко, чего-нибудь удумаем. А ты говоришь... Эх!

Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор.

— Что он тут вам говорил? — волновался он. — Ах, какой противный старикашка! Какой у него глаз, вы заметили? Прямо разбойничий! И откуда он узнал о собаке?

Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела, седая прядка свалилась на лоб. Арктур, услышав голос своего хозяина, выполз из-под террасы, и, прихрамывая, подошел к нам.

— Арктур! — сказал доктор. — Ты ведь мне никогда не изменишь?

Арктур закрыл глаза и ткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло книзу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пес уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес.

8

Август подошел к концу, погода испортилась, и я собрался уезжать, когда пропал Арктур. Утром он ушел в лес и не вернулся ни к вечеру, ни на следующий день, ни еще через день.

Когда друг, который жил с тобой, которого ты видел каждый день и к которому часто даже невнимательно относился, — когда этот друг уходит и не возвращается больше, на долю тебе остаются одни воспоминания.

И я вспомнил все дни, проведенные с Арктуром вместе, его неуверенность, смущение, его неловкий, несколько боком, бег, его голос, привычки, милые пустяки, его влюбленность в хозяина, даже запах чистой, здоровой собаки... Я вспоминал все это и жалел, что это был не мой пес, что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте, очнувшись от погони за много верст.

Доктор осунулся за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился, что Арктура в глаза не видал. Мало того, вызвался искать его вместе с нами.

Весть о пропаже Арктура мгновенно облетела весь город. Оказалось, что многие знают его и любят и что все готовы помочь доктору в поисках. Все были заняты самыми разноречивыми толками и слухами. Кто-то видел собаку, похожую на Арктура, другой слышал в лесу его лай...

Ребята, те, которых доктор лечил, и те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по десять раз в день навевались к доктору узнать, не пришел ли, не нашелся ли чудесный гончий пес.

Я не искал Арктура. Мне не верилось, чтобы он мог заблудиться, — для этого у него было слишком хорошее чутье. И он слишком любил своего хозяина, чтобы пристать к какому-нибудь охотнику. Он, конечно, погиб... Но как? Где? Этого я не знал. Мало ли где можно найти свою смерть!

А через несколько дней понял это и доктор. Он как-то сразу поскучнел, перестал петь и вечерами долго не спал. В доме без Арктура стало пусто и тихо, коты уже никого не боялись и свободно разгуливали в саду, камень возле реки никто не обнюхивал больше. Беспольный, он уныло торчал над землей и чернел от дождей, запахи его никому не были нужны.

В день моего отъезда мы долго говорили с доктором о разных разностях. Об Арктуре мы старались не вспоминать. Один раз только доктор пожалел, что смолоду не стал охотником.

9

Года через два я опять попал в те места и снова поселился у доктора. Он по-прежнему жил один. Никто не стучал когтями по полу, не фукал носом и не молотил хвостом по плетеной мебели. Дом молчал, и в комнатах так же пахло пылью, аптекой и старыми обоями.

Но была весна, и пустой дом не производил тягостного впечатления. В саду лопались почки, орали воробьи, в роще городского сада с гомоном устраивались грачи, доктор тончайшим фальцетом распевал свои арии. По утрам над городом стоял синий пар, река разлилась, куда хватал глаз, на разливах отдыхали лебеди и утром поднимались со своим вечным «клинк-кланк», гнусаво сигналили юркие катера и протяжно гудели упорные буксиры. Было весело!

На другой день по приезде я пошел на тягу. В лесу стоял золотистый туман, кругом капало, звенело, булькало. Земля оголилась, сильно и резко пахла, и сколько было других запахов — осиневой коры, гниющего дерева, сырого листа, — всех их перебил сильный и резкий запах земли.

Был прекрасный вечер с огненным морем заката, и вальдшнепы летели густо. Я убил четырех и еле отыскал их на темном слое листвы. Когда же небо позеленело и погасло и высыпали первые звезды, я тихо пошел домой по знакомой наезженной дороге, обходя широкие разливы, в которых отражалось небо, и голые березы, и звезды.

Обходя один из таких разливов по небольшой гривке, я вдруг заметил впереди что-то светлое и подумал сначала, что это последний клочок снега, но, подойдя ближе, увидел лежавшие вразброс немногие кости собаки. Сердце мое глухо застучало, я стал всматриваться, увидел ошейник с позеленевшей медной пряжкой... Да, это были останки Арктура.

Разобравшись внимательно во всем, я уже в полных сумерках догадался, как было дело. У нестарой еще, но сухой елки был отдельный нижний сук. Он, как и все дерево, высыхал, осыпался и обламывался, пока наконец не превратился в голую острую палку. На эту палку и наткнулся Арктур, когда мчался по горячему пахучему следу и не помнил уже, и не знал ничего, кроме этого зовущего все вперед, все вперед следа.

В полной темноте я пошел дальше, вышел на опушку, а оттуда, чавкая ногами по мокрой земле, и на дорогу, но мыслью все возвращался туда, на маленькую гривку с сухой, обломанной елью.

У охотников есть странная любовь к звучным именам. Каких только имен не встретишь среди охотничьих собак! Есть тут и Дианы, и Антеи, Фебы и Нероны, Венеры и Ромулы... Но, наверно, никакая собака не была так достойна громкого имени, имени немеркнувшей голубой звезды!

1957

ОЛЕНЬИ РОГА

1

Уже много дней живет она в доме отдыха на берегу моря. После долгой болезни приехала она сюда и первые три дня не выходила из дому, сидела на гулкой холодной веранде, грустно смотрела на прыгающих по соснам белок.

На четвертый день она просыпается рано утром, когда за окном стоит еще полутьма медленного весеннего рассвета. Она одевается, выходит на крыльцо и начинает розоветь от холода, от запаха мартовского снега, от вида поросших соснами холмов, от утренней чистоты и тишины. Она осторожно сходит на подтаявшую вчера днем и замерзшую за ночь дорожку, расставив руки, делает несколько шагов. Льдинки хрустят, звенят у нее под ногами. Этот хруст и звон прозрачен, громок и что-то напоминает ей, давно забытое, до сердцебиения сладкое и тайное. Не оглядываясь, она все дальше

уходит от дома, поднимается на холм, видит внизу замерзшее море с темной полосой свободной ото льда воды у горизонта, видит, как постепенно все светлеет кругом и как наконец встает солнце, еще неярко-белое, еще бессильное.

Возвращается она пахнувшая морозом и, когда проходит столовой, здоровается с отдыхающими, — низко наклоняет лицо, прячет улыбку, прячет одурманенные глаза.

Как все выздоравливающие, она делается беспричинно счастлива, и счастье ее особенно свежо и остро, потому что ей шестнадцать лет, потому что глаза ее загадочны, темны и влажны, потому что она одна и свободна, а воображение ее наивно и романтично. И еще потому, что необычайным, сказочным кажется ей все вокруг.

Каждое утро восторгом сотрясает ее глубокий добрый голос диктора: «Руна Рига! Парейс лайкс...» Каждое утро, хрустя каблуками, ставя ноги во вчерашние свои следы, идет она к холмам, — вытягиваясь, закидывая тонкое лицо, ломает вербу и ставит ее дома в вазу. И все дальше бродит совершенно одна в сосновых борах, выходит к морю, замирая от страха, идет по льду и наконец останавливается, еле переводя дух, боясь пошевелиться, чувствуя, как покачивается, волнуется лед.

Потом она идет обратно и с задумчивым любопытством осматривает заколоченные на зиму пустые дома. Ей делается отчего-то жутко-весело, как будто входит она в фантастический мир сказок, которыми, стыдясь, втайне от всех, зачитывается еще и сейчас. Она ни с кем не знакомится в доме отдыха, только аккуратно здоровается тонким голоском, едва не приседая по-школьному, пламенея, смущаясь, боясь взглянуть на того, с кем поздоровалась.

Ее одиночество, свобода, ее прогулки нравятся ей все больше, она боится даже думать о времени, когда придется ей уезжать отсюда. Но чем чаще она уединяется, чем взрослее, строже хочет казаться на людях, тем больше видна в ней девочка.

Однажды ее встречает молодой лыжник. В вязаном свитере, с тонкими сухими ногами, — он замедляет бег, останавливается и долго смотрит ей в спину. А она спешит пройти, упорно глядя себе под ноги, стараясь притвориться рассеянной, не замечая, какой пугливой делается вдруг ее походка. С этого дня он часто прибегает сюда на лыжах, взлетает на холмы, оглядывается, но больше уже не встречает ее...

Стоят в лесу дома, один красивее другого, светит солнце, лежат у заборов, у деревьев сине-зеленые тени, прыгают по соснам белки, зеленеет, желтеет на бетонных столбах оград плотный мох. А ночью тягуче вызванивают часы-куранты на кирхе, редко в два тона гудит электричка, потрескивает дом, шуршит в водосточной трубе лед и шумит вдали море. Остро, колко пахнет зернистым снегом, сосновой корой и горькими липкими почками. С каждым днем все продолжительнее, все стекляннее вечерняя заря, все глубже и холоднее по тону небо над ней, все синее и пронзительней на востоке звезды. А когда закат погаснет, подернется слабой желтизной, переходящей в зелень, в лиловость, — черными тогда кажутся на его фоне деревья, дома с прозрачными верандами, кирха и крест на ней.

Ночью девочка летает во сне над холмами, слышит тихую музыку, и у нее щемит сердце от страха и восторга. Проснувшись, чувствуя головокружительную легкость, она важно думает о том, что с ней происходит. А происходит с ней что-то необычное, совсем ей непонятное. Она почти не отвечает на письма, она влюблена в глухие боры, в музыку, в одиночество. Она любит заброшенность, безмолвие, любит тихие солнечные поляны, заросли краснотала, сизо-серебристые канадские ели, каменистые мрачные гроты в холмах.

Вечерами в доме отдыха, в гостиной со старинной мебелью растапливают камин. Трещат поставленные стоймя березовые дрова, пляшут на стенах багровые пятна, слегка пахнет дымом, и светятся большие холодные окна, выходящие на запад.

А она уже ждет этой минуты, на цыпочках спускается в гостиную, забирается в кресло и смотрит в огонь огромными блестящими глазами. Иногда, оглянувшись на окна, прислушавшись к говору отдыхающих в далекой столовой, она подходит к ореховому кабинетному роялю и открывает крышку. Клавиши рояля смуглы от времени, туги и холодны. Нажав на скрипящую педаль, она ударяет по клавише и слушает томительный, затихающий звук. Ей хочется вспомнить музыку, слышанную во сне. Она подбирает аккорды, пальцы ее холодеют, ее знобит, ей кажется уже, что вот-вот она все вспомнит... Нет, все не то, не так, все не похоже! И, осторожно закрыв крышку, подышав на лак и оставив на нем туманное пятно, она опять забирается с ногами в кресло, опять рассеянно смотрит в огонь, слушает треск, с наслаждением ощущает странно-печальный, какой-то домашний запах березового дыма. «Что со мной? — изумленно думает она. — Отчего так болит, ноет сердце? И отчего эта боль так сладка?»

С некоторых пор ее внимание привлекает один пустой дом. Стоит он на большом участке, под деревьями, и еле виден из-за ограды. Двери его забиты, окна закрыты деревянными жалюзи, крыша под темной черепицей высока и остра, крыльцо занесено снегом — оттаяли только верхние ступени. Под окном в мезонине прибиты к стене лаково-коричневые рога оленя, а окно почему-то не загорожено и вместе с верандой бледно отсвечивает на закате. Снег вокруг дома нетронут, чист, участок особенно велик, особенно глух, ограда особенно высока и прочна. Только в одном месте выломаны планки, и в дыру лезят собаки. Оставляя глубокие отчетливые следы, все они бегут к старой кряжистой сосне, а от нее — веером куда-то в глубь участка.

Оленьи Рога — так называет девочка дом и участок вокруг него. И почти никуда уже не ходит, а идет каждый раз к Оленьим Рогам, с удовольствием видит свои вечерашние следы, убеждается, что никто больше не побывал здесь, садится на пень, подтыкает под коленки пальто и замирает.

Она думает о заколоченном доме. Она воображает его пустые, гулкие, сумрачные комнаты, тишину по ночам, тонкие лунные иглы, пробивающиеся сквозь ставни.

А поляна полна блеска, света, солнце напекает так, что тает смола на солнечных сторонах сосен, стволы верб потеют, стоят в темных талых лунках, и пушисты уже, туманно-сизы и гибки их набухшие ветки.

2

Случается это в день, когда особенно тепел и прян весенний воздух, особенно кружится, туманится голова и томительно замирает сердце, — девочка вдруг тихо ахает, закрывает рот руками и смотрит во все глаза на дом: наверху, в мезонине, отворяется окно и наружу выглядывает человек!

Он вылезает задом, достает ногами до оленьих рогов и крепко хватается за отрок. Тотчас же просовывается через окно длинная тонкая лестница. Человек устанавливает ее и первым спускается вниз, на крыльцо. За ним следом спускается другой. «Да это же тролли! — догадывается она. — Волшебные карлики! Они живут в этом заколоченном доме!» И, пригнувшись, приоткрыв рот, она следит блестящими глазами за обитателями дома.

Одеты они в старинные одежды: чулки и короткие штаны, длинные лиловые камзолы. Оба бородаты и важны, оба в красных колпачках с кисточками, оба курят старинные голландские трубки. Усевшись рядом на верхней теплой ступеньке крыльца, они свешивают ноги, поднимают лица к солнцу и замирают. Только то у одного, то у другого вылетают изо рта, из зеленоватых бород клубочки дыма.

Дым несет в сторону спрятавшейся девочки, она чувствует странный аромат юга, благоухание тропиков, она часто, глубоко дышит, а воздух дрожит, струится, шорохи

слышатся со всех сторон — падают с елей и сосен комки снега... Тролли вдруг встают и деловито, друг за другом, идут по синему снегу к зарослям вербы. Там они долго нюхают что-то, выкапывают и рассматривают, поднося близко к глазам, какие-то корешки. Потом вытирают руки и начинают играть, кидая друг в друга пушистыми шариками вербы, бегают неторопливо, с достоинством, сохраняя на лицах задумчивую важность и не выпуская изо рта трубок. Наигравшись, они бредут к крыльцу, поднимаются в окно, втягивают лестницу внутрь. Окно захлопывается, и дом опять кажется необитаемым.

Еле переводя дух, одурманенная солнцем и дымом из трубок троллей, тихая и строгая, девочка идет домой, больше всего боясь, что по лицу ее узнают, что с ней произошло, начнут расспрашивать, допытываться... И весь день она сама не своя, смотрит на все вокруг совсем одичавшими глазами, мучаясь сомнениями, уже не веря тому, что видела, и еле может дождаться ночи. А ночью она ложится не раздеваясь и думает о троллях. Ей не спится, голова горит, пересыхают, трескаются губы. На кирхе бьют куранты, дом отдыха безмолвен, но ей кажется, что кто-то ходит по комнатам, заглядывает в окна, трогает клавиши рояля в гостиной.

Изнемогая от волнения, страха, от радостного озноба, она встает, прислушивается, замирая и оглядываясь, выходит на крыльцо и опять, как и в первый раз, болезненно поражается тишине, острым синим звездам и запаху снега.

Боясь оглянуться, бежит она парком, запыхавшись, выбегает на улицу и идет мимо спящих домов, мимо магазинов с запертыми ставнями, под фонарями, постукивает каблуками по рубчатым каменным плитам тротуара и наконец сворачивает к морю, к лесу, к Оленьим Рогам.

Остаются позади фонари, сразу гложет и голубеет все вокруг, подступают к тропинке черные сосны и ели, становится виден свет луны. У оград лежат резкие глубокие тени, снег сияет и как будто дымится.

Подойдя к Оленьим Рогам, она поднимается на цыпочки, смотрит в глухую тьму частых деревьев: сквозь жалюзи дома пробивается свет. Будто во сне, идет она вдоль ограды, доходит до выломанных планок, нагибается, пролезает в дыру. Сначала она широко и редко шагает по залубенелой тропе, протоптанной собаками, потом сворачивает напрямик к дому. Снег плотен, зернист, глухо хрустит под ногой. Хруст его похож на звук разрезаемого арбуза.

Она подходит к дому и останавливается. В доме горит огонь, из трубы поднимается прозрачный дым, по снегу бегут слабые шевелящиеся тени. Внутри играют на флейте, на незнакомых струнных инструментах. Звук флейты, пустой и нежный, размеренные, глуховатые аккорды струн выпевают, наигрывают старинную мелодию, изящную и медлительную. Но ведь это та самая музыка, которую слышала она во сне! И она тотчас же вспоминает свои легкие призрачные сны, узнает все, как она летала здесь, перелетая с холма на холм, отталкивалась, плыла в воздухе между редких сосен, в дымных столбах лунного света, и наигрывала, наигрывала нечеловечески прекрасная музыка...

Она подходит еще ближе к дому и видит сквозь косые прорезы ставней трепещущий шафранный свет на потолке, уродливые двигающиеся тени. Крепко прижав руки к груди, она заглядывает в щель ставня.

Горит, рубиново пылает большой камин, стоит посреди комнаты грубый стол и такие же неуклюжие, высокие стулья. На столе — бочонок с вином, оловянные кружки, круглые головки сыру. За столом сидят тролли. Их много, все они бородаты, все комично-серьезны и важны, пьют, едят, играют в карты и курят. С такими же важными лицами сидят на обрубках возле камина другие тролли, и самый древний из них, надвинув на глаза колпачок, отведя в сторону и согнув острым углом руки, играет на флейте. Остальные серьезно, печально перебирают струны инструментов, похожих на лютни. И лишь лица танцующих немного оживлены. Танцуют они по-старинному,

движения их плавны и округлы, поклоны изящны и почтительны. А комната полна дыма, озарена светом тонких розовых свечей в медных подсвечниках. «Что все это значит? — думает девочка. — Что за волшебный дом! И что, если я войду к ним!»

Она отходит от окна, поднимается на крыльцо и трогает дверь. К ее удивлению, дверь подается, музыка становится отчетливее, громче, будто звучит, играет сам дом, будто поют его старые балки и танцует мебель, оставленная хозяевами.

Девочка проходит веранду с разноцветными стеклами, ощупью идет по коридору, робко открывает дверь в комнату, где веселятся тролли, — и сразу меркнет огонь в камине, обрывается музыка, вздрогнув, останавливаются танцующие. Дико и грозно смотрят тролли на нее. Она хочет сказать им что-то хорошее, приветливое, шевелит губами, но не может сказать, не может произнести ни звука. Зато глаза ее сияют, зато лицо ее пылает от смущения, любопытства и радости, вся она тянется к троллям, и они сразу успокаиваются.

Но потаенность их жизни нарушена — они встают, убирают еду со стола, собирают карты, открывают люк, гасят свечи и огонь в камине и по очереди, серьезно и медленно, кланяясь каждый внезапной гостье, уходят под пол.

Остается один только тролль, самый старый, самый важный и уродливый, тот, что играл на флейте. И она вопросительно, умоляюще смотрит на него, ждет, что он ей скажет. Но ничего не говорит он, подходит к люку с последней свечой в руке и тоже начинает спускаться. В последний миг он оборачивается и пристально смотрит на нее. В его взгляде тайная доброта, обещание чего-то прекрасного, чего-то необыкновенного. Что-то говорит он ей глазами, своим тысячелетним мудрым лицом, своим вещим знанием печалей и радостей жизни, но она не понимает его, и ей больно от этого. Он же прикладывает палец к губам, значительно качает головой, дует на свечу и захлопывает над собой крышку люка.

С трудом выходит она в темноте на крыльцо и садится на ступеньку. Щеки ее горят, сердце колотится. «Почему он мне ничего не сказал? — горько думает она. — Ах да! Они ведь не могут с нами говорить... А он хотел сказать, я это видела. Ужасно интересно!»

Внезапно она чувствует чье-то присутствие за спиной, оборачивается и снова видит старого тролля. Опять он смотрит на нее с задумчивой доброжелательностью, лицо его теперь, при лунном свете, еще более значительно-таинственно, умно и вещь. Но он так мал и хрупок, что ей хочется погладить его бороду и потрогать шапочку. Молча он кивает ей, прыгая со ступеньки на ступеньку, спускается с крыльца, оглядывается, манит ее. Она встает и послушно идет за ним. Он подходит к окну, в щель ставня которого она увидела веселящихся троллей, и показывает на него рукой. Замирая от предчувствия, она заглядывает в щель и тихо вскрикивает.

Вместо комнаты она видит солнечный день, холмы, поросшие соснами, и знакомого лыжника, беззвучно скользящего с холма на холм. Она видит его разгоряченное решительное лицо, его сильную худую фигуру, видит, как далеко он выбрасывает лыжи и как резко толкается палками.

Наглядевшись, она поворачивается к троллю, но того уже нет, все глухо кругом, ярко светит луна, широко раскрыли свои мохнатые ресницы изумрудные звезды, и падают, падают с елей и сосен шапки снега, повисая в лунном свете легчайшими столбами снежной пудры.

На другой день она просыпается поздно, когда солнце уже дымно бьет в окно, лежит, расчерченное переплетом окна, палевым квадратом на полу. И опять неска-

занно радуется, поражает ее новый день, голос диктора: «Руне Рига!», свежий морозный воздух из форточки, запах кофе и тепло дома. Все утро она поет, танцует, когда никто не видит, подражая троллям, и падает лицом в подушку в приступах беспричинного смеха.

А после полудня, не вытерпев, снова приходит к Оленьим Рогам, боясь даже посмотреть, повернуть лицо в сторону дома. Ей кажется, что тролли рассердятся, если опять увидят ее здесь. Но она уже ничего не может поделать с собой. Неуверенно смахивает она красной варежкой пушистую утреннюю порошу, садится на пенек и, вздохнув несколько раз открытым ртом, набравшись решимости, поднимает глаза на дом.

Дом необитаем, жалюзи его глухи, тускло блестят олени рога на стене, окно в мезонине закрыто. Троллей нет! Она ищет свои ночные следы на снегу, но следов не видно, и у нее обрывается, падает сердце от горького разочарования. Значит, она не приходила сюда?

Она вскакивает, бежит к ограде, уже не таясь пролезает в дыру, нагибается, пристально рассматривает, даже щупает ослепительный, ровный снег. Нет, ничего нет — одна заледенелая собачья тропка к сосне! Она подходит к дому, обходит его, трогает дверь, узнаёт окно, на которое показывал ей тролль, ищет щель, но ставни плотны, а дверь наглухо заколочена. И нигде никаких следов, и не было троллей, не было музыки, свечей, пылающего камина... И впервые ей становится невыносимо больно и одиноко, и она плачет, стирая варежками слезы со щек.

Среди сосен показывается лыжник, стремительно слетает с холма, поднимая снежную искрящуюся пыль, взбирается на другой и скатывается уже с него, чтобы взобраться на третий и так бежать вдоль моря, вздымаясь и пропадая.

Она сразу узнаёт его, прячется за угол дома и, всхлипывая, следит за ним. Она уже ничему не верит и, когда лыжник исчезает в лесу, идет, вытирая слезы, посмотреть, остались ли после него следы.

Поднявшись на холм, набрав в ботинки снегу, она видит глубокий пушистый след, круглые ямки и чирканье палок, изумленно оглядывается и узнаёт все, что показал ей тролль: прекрасный мартовский день, голубые ели, темно-зеленые сосны, совсем освободившееся ото льда море, — ей делается радостно, она опять верит в чудеса, в сны и сказки, она улыбается, поднимает порозовевшее, похорошевшее лицо, вытягивает шею, прикрывает влажные еще ресницы, кричит: «Эге-ге-аой!» — и с восторгом слышит звонкое, крепкое эхо.

И сразу, услышав этот ликующий зов, тормозит палками и останавливается лыжник, поворачивает назад разгоряченное бегом лицо, ждет и, не дождавшись ничего, резко, разбрасывая снег, перекидывает лыжи и мчится назад по своей лыжне.

А она с колотящимся сердцем стоит, спрятавшись за сосну, прислушивается, ждет ответа, — счастливая, в распахнутом пальто, в красной, почти такой же, как у троллей, шапочке, с обнаженной тонкой шейкой, с большими темными глазами на пылающем лице.

Какого ответа спрашивает она у сосен, у моря, у весны? Почему снится ей музыка и почему летает она во сне? Почему так важно было ей, что скажет тролль? Почему у нее такое лицо, с такой улыбкой встречает она каждый новый день и так уверенно и страстно ждет чего-то?

И кто найдет ее, кто угадает, чего же она ждет?

МАНЬКА

Посвящается К. Г. Паустовскому

1

От Вазинцев до Золотицы — тридцать верст. Дороги нет, идти нужно по глухой тропе, зарастающей мхом, травой, даже грибами. Маньке кажется иногда: не ходи она каждый день с почтой по этой тропе, все бы давно заглохло — блуди потом по лесу!

Манька — сирота.

— Батюшка в шторм потонул, — говорит она, опуская глаза и облизывая губы острым языком, — а матушка на другой год руки на себя наложила. Порато тосковала! Вечером раз вышла из избы, побегла по льду в море, добегла до полыньи, разболкалась, одежду узелком на льду сложила и пала в воду...

И, покраснев, невнятно договаривает:

— У меня матушка дикая была...

Дикость какая-то, необычность есть и в Маньке. Дремучесть, затаенность чувствуются в ее молчании, в неопределенной улыбке, в опущенных зеленоватых глазах. Когда года четыре назад хоронили ее мать, Манька, скучная, равнодушная, упорно смотревшая себе под ноги, вдруг поднимала ресницы и разглядывала провожавших такими лениво-дерзкими, странными глазами, что мужики только смущенно откашливались, а бабы переставали выть и бледнели — пугались.

Года два уже работает Манька письмоношцем. В свои семнадцать лет она прошла так много верст, что, наверное, до Владивостока хватило бы. Но работу свою она любит. Дома неприглядно, пусто, скучно: скотины нет, сквозь давно не чиненную крышу повети глядит небо, печь полгода не топлена.

Худая, высокая, голенастая — ходит Манька легко и споро, почти не уставая. Выгорают за лето ее волосы, краснеют, а потом темнеют ноги и руки, истончается, худеет лицо, и еще зеленей, пронзительней становятся глаза.

Дует в лицо ровный морской ветер, несет удивительно крепкий запах водорослей, от которого сладко ломит в груди. По берегам темных речушек, заваленных буреломом, журчащих и желто пенящихся, зацветают к августу пышные алые цветы. Рвет тогда их Манька, навязывает из них тяжелые букеты. Или, отдыхая в тени серых, изуродованных северными зимними ветрами елок, украшает себя ромашками, можжевельником с темно-сизыми ягодами, воображает себя невестой.

Легко, сладко, вольно ходить ей, когда мало почты. Но иногда приходит много посылок, бандеролей, журналов. Тогда надевают на спину Маньке большой пестерь и плотно, тяжело нагружают его.

— Ну как, девка? — кричит тенором начальник почты. — Дойдешь ли? Может, за лошадью послать?

— Ничего... — сипло отвечает Манька, розовеет лицом и шевелит лопатками, поудобнее устраивая пестерь.

Уже через версту начинает ломить у нее спину и тяжелеют ноги. Зато сколько радости в эти дни у рыбаков на тонях! Какое оживление, веселье разгорается, как медленно, старательно, с каким смехом заполняются квитанции, и как любят рыбаки Маньку в такие дни!

— А ну, девка! — кричат ей. — Скидывай пестерь-то, поспеешь еще дак... Садись с нами уху хлебать! Митька, ложку!

И кидается какой-нибудь белообрый Митька со всех ног в чулан за ложкой, торопливо обтирает ее полотенцем, с шутливым низким поклоном подает Маньке.

— Семужки, семужки ей поболее! — покрикивают с разных сторон. И, краснея, опуская глаза, Манька садится и ест, стараясь не глотать громко, с благодарностью чувствуя заботу и любовь к себе рыбаков.

Зато с газетами и письмами идти хорошо, не режут плеч лямки пестеря, чего только не насмотришься в дороге, о чем не надумаешься! В три рыбацких тони нужно зайти Маньке по дороге в Золотицу. Каждый раз ждут ее там с нетерпением, и никогда не обманывает она ожидания: вовремя зайдет, попьет чаю с брусникой, расскажет новости, отдаст почту, к вечеру приходит в Золотицу и ночует там. А утром, захватив обратную почту, идет к себе в Вазинцы.

2

Первая от Вазинцев тоня называется Вороньей. Жили там четверо рыбаков со стряпухой, а с лета, когда ночи стали золотеть, прибавился пятый — Перфилий Волкитин.

Черноволосый, стриженный, с крепким маленьким лицом, он по весне демобилизовался, месяца два жил дома, хотел подаваться в город, но вдруг загулял с Ленкой — самой красивой и озорной девкой в деревне, из-за которой не раз дрались в клубе ребята, — решил остаться и попросился на Воронью рыбаком.

Принес он на тоню гармонь, часто играл, бездумно глядя в море, был постоянно и ровно весел, был по-солдатски чуток, расторопен, охотно брался за самую тяжелую работу, а вечерами брился, подшивал к гимнастерке ослепительные подворотнички, чистил сапоги, надевал набекрень фуражку и уходил в деревню, в клуб, возвращаясь каждый раз на рассвете.

Был он еще силен и буен, ловок, неумолим в танцах, был находчив и насмешлив в разговоре, и Манька, встречаясь с ним в клубе, отдавая ему письма и газеты, стала вдруг краснеть и опускать глаза. Ночами, дома и в Золотице, стала она плохо засыпать — подолгу думала о Перфилии, вспоминала его лицо и голос, его слова и смех, воображала с пылающими щеками, что живет она с Перфилием в высокой новой избе окнами на море и все у них есть, а заснув, колотилась коленками в стену, бормотала во сне.

Она спала в Золотице, в душной, натопленной избе, где ночевали еще человек восемь — бригада плотников, — когда под утро ей приснился вдруг Перфилий. Яркий, необычен и стыден был этот предрассветный сон, и Манька сразу проснулась, широко раскрыла свои зеленоватые глаза, вскинулась и села, ничего в первую минуту не чувствуя, кроме колотящегося сердца.

Всхрапывали спящие на полу и на лавках плотники, тлела за потными окошками белая ночь, и неслышно давилась, всхлипывала Манька, внезапно понявшая, что любит Перфилия, содрогаясь от жалости к себе, к своему худому, детскому еще телу, от ненависти к красивой Ленке, от мысли, что пропала, загублена теперь вся ее жизнь. И только на рассвете, сморенная, измученная, заснула она с мокрым от слез лицом.

Страшно стало ей после этого утра подходить к тоне, боялась выдать себя, боялась грубого рыбацкого смеха, вздрагивала, холодела, увидев Перфилия, услышав его голос, сердце у нее падало, губы пересыхали и мягко ныло в груди.

Вся сомлев, полуживая, уходила она от Вороньей, понемногу прибавляла шагу, чуть не бежала, забиралась в глушь, падала лицом в сухой белый мох и долго сладко плакала от радости, от любви, от одиночества и непонятости. Несколько раз блудила она в лесу, шла куда глаза глядят, улыбалась, разговаривала сама с собой.

А иногда выходила к морю, садилась на камень, сжималась в комок, пригретая солнцем, смотрела на чаек, на сине-зеленую гладь моря, раскачивалась и бормотала: «Чаячки, чаячки... Донесите вы к нему мою любовь!» И вспоминалась ей, как сквозь сон, старая ее бабка, давно умершая, давно ушедшая из этого мира, вспоминались ее сказки, ее вопли, и приходили сами собой, уверенно выговаривались дикие и вещие слова: «Стану я, раба божия Манька, благословясь, пойду перекрестясь... Из дверей в двери, из ворот в ворота, выйду я в чисто поле... Так бы и он скрипел, и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!» Жутко становилось ей, громко стучало сердце, потели ладони, и особенно желанным, особенно недоступно-красивым был для нее в эти минуты Перфилий!

Море было неподвижным, шелковистым, едва заметно поднималось и опадало, будто дышало. Небо затягивало легкими светлыми облаками, пряталось в них солнце, светило мутным пятном. А там, над горбатым голубым мысом, падали в море веерообразные, бело-синие столбы света, и нестерпимо сияло, вспухало и как бы дымилось в том месте море. Лето стояло прекрасное, радостное, необычно теплое...

3

Однажды, уже в сентябре, Манька еще более одичавшая за лето, подошла к тоне и настороженно остановилась. День выдался с утра ненастный, с ветром, с беспорядочным волнением на море. На рассвете прошел короткий крупный дождь, изба потемнела, приняла сразу осенний вид, скупое, бледно отсвечивала стеклами. Особенно много навалило на берегу в этот день водорослей, особенно много было на песке влажно-алых медуз, буро-желтых мелких звезд...

Вчера к вечеру попало в ловушки много семги, сегодня в Вазинцах был престольный праздник, — стосковавшиеся рыбаки погрузили семгу в карбас и все вместе поехали сдавать ее на рыбоприемный пункт, а заодно попариться в бане, переночевать дома и погулять на празднике.

Поехал вместе со всеми и Перфилий, вечером пошел в клуб, послушал гармошку, сам немного и пренебрежительно поиграл, потом бросил, стал грызть подсолнухи, стал особенно громко острить, потом выпил с ребятами на улице, темные красивые глаза его начали косить, голос слегка охрип, он все больше возбуждался, расталкивал ребят и девок, враскачку входил в круг, закинув суховатое маленькое лицо, лениво прикрывая глаза, постукивал, поскрипывал хромовыми сапогами и равнодушно, под радостный гогот ребят и притворную ругань девок, выпевал похабные частушки...

И весь вечер хищно, трепетно следил за Ленкой, и что бы ни делал — делал ради нее. А когда всех выгнали из зала, стали расставлять лавки и продавать билеты в кино, он нашел ее в толпе, крепко схватил за руку, вывел в сени, где хрустела под ногами подсолнечная шелуха и пахло уборной, прижал к стене и, все больше бледнея, кося глазами, зашептал:

— Пойдем к тебе... Что ж ты со мной делаешь? Пойдем, дома посидим...

— Дома я всегда насижусь, — бойко, равнодушно сказала Ленка, не глядя на Перфилия, жадно прислушиваясь к тому, что делалось в клубе.

— Не хочешь, значит? — с угрозой и бессилием просил Перфилий, вдыхая запах пудры и волос Ленки. — Другого нашла? Из морячков, да? Смотри, не пожалела бы! Смотри, потрешь на кулак слезы...

— Пусти! — шепотом приказала Ленка, грубо и сильно рванулась и, не взглянув на Перфилия, ушла опять в клуб, сильно хлопнув дверью. А Перфилий впервые заметил, какая у нее раздражающе высокая грудь, какие жадные и крупные руки, какое жестоко-красивое лицо и как нагло, вызывающе покачивает они на ходу бедрами.

Он вышел на темную улицу, освещенную редкими фонарями, на бодрящий холод, отрывая пуговицы, расстегнул гимнастерку, снял фуражку и пошел домой, вздрагивая от ярости и стыда, крепко стуча сапогами по деревянным мосткам. Из дому, не слушая уговоров матери, захватив с собой бутылку водки, хлеба и сала, он спустился к морю, сел в карбас и через два часа был у себя на тоне.

Он вошел, разгоряченный злобной греблей, зажег лампу, не присаживаясь к столу, налил стакан водки, выпил и сжал зубы, моргая, ероша отросшие за лето жесткие волосы. Потом вышел из избы, сел на бревне, закурил и долго остекленелыми глазами смотрел в темноту, в холод моря, туда, где летом катился ночью по горизонту огромный тускло-багровый диск солнца и где теперь все чаще дрожали, зыбко светились и устало потухали голубые столбы северного сияния.

И когда утром, настороженная необычной тишиной, вошла в избу Манька, Перфилий спал на своей койке в углу, раскинув ноги, с заголившимся мускулистым животом, завернув голову телогрейкой. Услышав стукнувшую дверь, он проснулся, тупо посмотрел на Маньку, потер лицо.

— А! Пришла... — сказал он хмуро и сел к столу, обхватив голову руками. — Письма есть?

— Нету... — Манька опустила на лавку, стыдливо поджала ноги и перевела дух.

— Нету! А чего принесла?

— Газеты, — Манька кашлянула и облизала губы.

— Газеты! — Перфилий мрачно посмотрел в окно. — Шторм будет! Как бы ловушки не сорвало... В деревне-то чего у нас? Уехали, суки, гулять им надо!

Он тяжело поднялся, пошел к ведру напиться, оглядывая съжившуюся фигуру Маньки.

— Чего это ты сегодня какая-то... — невнятно спросил он и, закинув голову, раздувая горло, стал пить.

— Какая? Никакая... — прошептала Манька, краснея до смуглоты, наклоняясь, разглаживая платье на коленях.

— Все одна живешь?

— Одна...

— Скучно одной-то, — без выражения сказал Перфилий, глядя в окно.

— Живу... — Манька слабо двинула рукой, кашлянула, встала, подошла к ведру и тоже стала пить, наслаждаясь от мысли, что пьет из той же кружки, из которой только что пил Перфилий.

— Идти мне надо, — сипло сказала она, снова садясь и поднимая на Перфилия испуганный взгляд. Но Перфилий не слышал ее — смотрел в окно и молчал.

— Шторм идет! — сказал он глухо. — Метеористы чертовы! Три балла сегодня по метеосводке...

Манька тоже взглянула в окно. Море потемнело, билось в берег, ветер посвистывал в вешалах. Волны шли быстро, пенясь, налезая друг на друга, а по горизонту росла, приближалась черно-лиловая полоса.

— Шторм идет, а они гулять поехали! — горько и грубо повторил Перфилий, вспомнив Ленку, пошел за занавеску, стал натягивать брезентовые штаны и куртку.

— Куда ты? — спросила Манька, обмирая. — Куда ты, ай утонуть хочешь?

— Куда! Ловушки в море стоят, выбирать надо! — пробормотал Перфилий и вышел вон. Манька, приоткрыв рот, прислушалась к ветру, потом глянула в окно на полосу, которая значительно расширилась за эту минуту, и опрометью выскочила вслед за Перфилием. Ветер туго ударил ей в лицо. Перфилий возился у карбаса, когда Манька подбежала к нему.

— Ну? — Перфилий недовольно повернулся к ней и, не дожидаясь ответа, стал спихивать карбас по каткам к воде.

— Я с тобой, — сказала Манька и тоже уперлась плечом в карбас.

— Еще чего! Детский сад! — заорал Перфилий, когда карбас уже прыгал и бился по песку. — Пошла в избу!

— Не пойду! — Манька вцепилась белыми пальцами в борт. — Чего я, моря не видала?

— Ну так прыгай! — весело вдруг и с какой-то отчаянностью закричал Перфилий и оскалился. — Лезь!

Манька ловко вскочила в карбас, падая с борта на борт, пробралась на корму. Перфилий, побагровев, оттопыривая зад, по пояс в воде, толкнул карбас, подпрыгнул, упал животом на борт, перевалился внутрь, схватил весла и стал заворачивать карбас на волну. Через минуту они уже ходко шли, поднимаясь и проваливаясь, к черным кольям ловушек, поставленных метрах в двухстах от берега. Манька сильно подгробала, слизывая с губ соленые брызги, ветер раздувал ее волосы. «Платок забыла! — думала она. — Ой, потонем мы, ой, ветер порато дует!» И влюбленно глядела в закинутое, решительное, красное от напряжения лицо Перфилия.

Подошли к первой ловушке и с ходу, спеша, боясь даже глядеть на приближающуюся черную полосу, стали вытаскивать кольца и укладывать их вместе с сетью в карбас. Манька то подтягивала сеть, то выбрасывала черпаком воду. У нее скоро заломило руки и ноги, платье намокло, задралось, оголились пятнистые от холода крепкие узкие бедра, показался край розовых штанов. Маньке было стыдно, но она уже не могла выбрать минуту оправить платье. А Перфилий и не смотрел на нее, кольца были вбиты крепко, он раскачивал их, карбас бросало, волны становились все выше, надо было спешить.

Минут через пятнадцать ловушка была снята, пошли к берегу. Карбас осел. Перфилий бешено греб, глядя на что-то, что приближалось с моря. Манька сидела лицом к берегу, подгробала, вычерпывала воду и боялась оглянуться.

— Стой! — дико заорал Перфилий. — На берег не выедем, кидай в воду, отсюда не унесет!

Выбросив ловушку, которую тотчас с ревом потащило на берег, они повернули опять в море. Теперь лицом к морю сидела Манька, полуживая от ужаса. Ни неба, ни облаков, ни моря вдали не было. Было что-то черное, туманное, бесстыдно, нагло возбужденное, взлохмаченное, и в черноте этой одни гребни волн холодно и жестоко белели. До второй ловушки еле добрались сквозь ветер. Перфилий выгибался, закидывался при каждом гребке, у Маньки подламывались руки...

И опять цеплялся Перфилий за кольца, раскачивал их, опять ходуном ходил карбас и, когда поднимался, задира л нос, заваливаясь набок — голова и руки Перфилия скрывались за бортом. Округлив от ужаса глаза, Манька видала тогда только его напряженный зад и раскоряченные ноги в мокрых блестящих сапогах. Выданный из грунта кол прыгал вверх, Перфилий отваливался назад, втаскивал сеть в карбас. В этой ловушке было несколько семг, метались брусковатые сиги, но на них не обращали внимания.

Наконец подошел настоящий шторм, волны сразу покрылись пеной, полетела водяная пыль, от берега стал доноситься сплошной рев: там по песку шел чудовищный накат, доставая почти до тони. Море начало приобретать шоколадный цвет. Вторая ловушка была почти вся в карбасе, оставалось втащить только полотно правой стенки, когда карбас полез на волну, встал почти вертикально, падая в то же время на бок, перевернулся и оглушенная, задохнувшаяся Манька оказалась под ним.

Она уже ничего не понимала в темноте, ей хотелось света, воздуха, хотелось увидеть Перфилия, а она стукалась головой о скамейки, тонущая сеть запуталась у нее в

ногах, тащила за собой. «Господи! — гудело у нее в голове. — Мамочка, ой, пропала я совсем, ой, пропала!»

Что-то шаркнуло ее по ноге, она брыкнулась, вцепилась в скамейку, прислонила лицо ко дну, — тут еще оставалось немного пахнущего рыбой воздуха, — и завывала. И опять, скользнув по ногам, схватили за бедра, за платье резкие злые руки, жестоко дернули вниз, Манька захлебнулась, давясь, уже по-звериному вырываясь, изгибаясь, — а ее все так же больно, грубо рвануло кверху, прижало к пузатому рубчатому боку карбаса: Перфилий, отплевываясь, заголяя напряженную, с выступившими позвонками спину, карабкался на киль, тащил за собой Маньку.

— Чего под карбасом болтаешься, дура! — счастливо заорал он ей в самое ухо, крепко прижимая ее к себе, держась за осклизлый киль. — Держись! К берегу несет, выплывем!..

Манька, мотаясь, кашляя, ничего не видя сквозь слезы, задыхаясь от влажного соленого ветра, от водяной пыли, одной рукой вцепилась в киль, другой — обняла Перфилия за шею и замерла, заоченела.

— Ничего! — весело, надсадно орал Перфилий, ерзя сапогами по днищу карбаса. — Живем! Кто у моря не живал, тот и горя не видал!..

А море ревело, будто громадный буйный зверь, и, будто зверь, поднимало, опускало на своей спине опрокинутый карбас, все ближе поднося его к берегу. Уже через полчаса, поблескивая круглыми боками, карбас плясал в ревущем прибое. Волной подхватывало его, выносило на берег, потом волна разбивалась внизу, а карбас, окруженный шипящей пеной, сначала медленно, затем все быстрее мчался назад, чтобы снова, поднявшись на волне, броситься на берег.

Внезапно все стихло, слышно стало шипенье скатывающейся назад воды, а сзади послышался нарастающий, как от поезда, гул. Перфилий оглянулся и чуть не выпустил киль: неслась на них злобная, закрученная, поплескивающая сверху волна. Она ударила в карбас, который не успел взобраться на нее, перевернула его, понесла на берег, гулко хряпнула о песок, и последнее, что помнила Манька, — это как несло ее куда-то, ударяя лицом, спиной, локтями о песок, ломая, вывертывая руки и ноги.

Очнулась Манька на берегу. Перфилий стоял возле нее на коленях, приподнимал ей голову. Маньке стало стыдно, она оттолкнула его и села, оправляя платье, прикрывая заголившиеся ноги. Ее тошнило, голова кружилась, плавали в глазах мушки.

— Никак жива! — обрадовался Перфилий. — Погоди тут, я сейчас...

Он тяжело побежал по песку туда, где, как живой, ерзал в пене лоснящийся карбас, забрел по пояс в воду, поймал конец, поволок карбас на берег. Потом, снова забредя в мутно-белый шипящий раскат, ухватил ловушку и, наклоняясь почти до песка, дрожа ногами, вытащил на берег и ее. Запыхавшись, хлопая голенищами сапог, мокрыми полами куртки, он вернулся к Маньке. Она еще сидела, не в силах подняться.

— Ну что ты! — притворно-укоризненно и бодро сказал Перфилий. — Ничего, ничего... А ну, берись за шею — понесу! — крикнул он, нагибаясь, тревожно заглядывая ей в лицо.

Но Манька отвернулась и встала, качаясь как пьяная, со слабой виноватой улыбкой на белом лице. Они пошли рядом. Перфилий обнимал, поддерживал ее за спину, чувствовал ее худые лопатки, ширкал голенищами сапог, все больше оживляясь, поглядывая на море, загораясь, говорил, смеялся над собой, над Манькой, над штормом, будто не он минуту назад держался за киль, хрипло, надсадно орал, напрягался и с ужасом глядел на волны.

В избе Перфилий растопил печку, стащил с себя все мокрое, переоделся, вынес штаны, свитер и куртку Маньке, ушел в сени и жадно закурил там, рассматривая дрожание, в ссадинах руки.

— Скоро ль, что ль? — закричал он через минуту.

— Ой! Сейчас! — испуганно отозвалась Манька и заторопилась, с усилием стаскивая прилипшее к телу платье и рубашку. Одеваясь в сухое, путаясь с непривычки в длинных штанах, она покосилась, потрогала свою еще чуть припухшую грудь, тяжело вздохнула.

— Ну? — опять крикнул Перфилий из сеней.

— Иди! — смущенно разрешила Манька, торопясь, опуская глаза, стесняясь мужской одежды, быстро вынесла вон все свое мокрое, выжала и развесила на ветру.

— Ну-ка! — встретил ее Перфилий. — Поди сюда! Сейчас лечиться будем по последнему слову науки и техники...

Он посадил Маньку за стол, на лавку, достал из-под койки начатую вчера бутылку водки, налил в стаканы ей и себе.

— Выпьем! — сказал он жарко, глядя ей в лицо. — Пей, пей! Подыдем стаканы, содвинем их сразу... Это от простуды. С благополучным приземлением вас...

Он выпил первый, подышал открытым ртом и тотчас налил в кружки чаю. Манька тоже выпила, задохнулась, затрясла головой. Она быстро опьянела, зарозовела, зеленые глаза ее замерцали. Вся обмирая, ужасаясь, все больше, острее хотела она только одного: чтобы обнял, поцеловал ее Перфилий.

И Перфилий, взглянув на нее, вдруг замолчал и побледнел. Отодвинув кружку с чаем, он встал, легким хищным шагом вышел из избы, быстро посмотрел в обе стороны: берег был пустынен. Он вернулся, напряженно сел, стал жадно, открыто разглядывать Манькино лицо с пылающими щеками, влажные еще, курчавившиеся волосы, опущенные золотистые ресницы, уже понимая причину ее молчания, ее странности, опущенных глаз, сиплого голоса. Грозно, гулко шумело за стеной море, а в избе было тепло, сухо, трещала печка, пахло рыбой.

— Тебе лет-то сколько? — быстро спросил он изменившимся голосом.

— Идти мне надо... — слабо сказала Манька, приподнимаясь, и тут же села.

— Лет-то сколько тебе? — опять спросил Перфилий, стараясь заглянуть ей в глаза.

— Девятнадцать... — соврала, прошептала Манька, отвернулась и почувствовала, как холодеют у нее руки и кружится голова. И вспомнила вдруг, будто облитая холодом, свою летнюю тоску, свои слезы, весь стыд первой тайной любви, все отчаяние призрачных белых ночей — сладкий ужас охватил ее: сидел рядом Перфилий, смотрел на нее страшными глазами, сбывались ее сны! «Чего же это! — подумалось ей. — Ай он кинется на меня сейчас! Мамочка, чего же это!» — и дико взглянула в лицо Перфилию.

— Эх! — вскрикнул он в нарочитом отчаянии и, легко притворившись тоже диким, придвинулся по лавке к ней, схватил, запрокинул ей лицо и, перекосив глаза, жадно и долго поцеловал ее, бесстыдно шаря свободной рукой по ее щуплому телу. Манька обомлела, помертвела...

— Чегой-то ты! — вырвалась она. — Проклятый! Да ты чегой-то!

— Сердце у меня слабое... — смущенно забормотал Перфилий, поднимаясь и двигаясь к ней.

— Дурак! — чуть не плача, хрипло закричала Манька. — Своих лахудров целуй... А меня не трожь! Я... я тебе не кто-нибудь!

— Маня! Манюша... — уже растерянно, покаянно просил Перфилий. — Погоди ты, я ж к тебе по-хорошему!..

— Я тебе не какая-нибудь! Ленку свою целуй, ступай к ней. А я еще неце-лованная! — с усилием выговаривала Манька, вся трясась, и вдруг отвернулась, прерывисто дыша, расстегнула куртку, бросила на пол. — Уйди, проклятый! — сказала она низко. — Мне почту... Почту надо...

Она переделалась, уже не боясь, что войдет Перфилий, дрожа от ярости и какого-то сладкого, мстительного чувства, взяла сумку и, низко наклонив голову, не простясь с топтавшимся в сених и курившим Перфилием, пошла.

Она отошла уже порядочно, когда, простоволосый, в опорках на босу ногу, догнал ее Перфилий.

— Вот тут у меня было... — забормотал он, суя в сумку ей шоколадные конфеты. — Это тебе на дорогу. Не обижайся, Маня... Простишь, а? А с Ленкой у меня все! — отчаянно и грустно сказал он. — Стерва она, гуляет...

— Уйди! — сказала Манька, глядя в сторону. — Отстань!

— В субботу в клуб придешь? — спросил Перфилий, быстро шагая рядом.

— Почта у меня, — по-прежнему глядя в сторону, сказала Манька.

— Ну в воскресенье! — не сдавался Перфилий. — Мне тебе что-то сказать надо... Приходи, Маня, а?

— Не знаю, — помолчав, невнятно сказала Манька и ускорила шаг. Перфилий отстал.

«Как же! Так и приду, жди! — думала Манька, низко наклонив голову, слушая приглушенный расстоянием шум моря. — Дуру какую нашел... Чего я пойду! С конфетами... подлизывается!» Она запустила руку в сумку, нащупала конфеты, сжала, но не бросила почему-то, как сперва хотела, так и шла, сжимая конфеты в руке.

На повороте она оглянулась, будто кто-то толкнул ее в спину: Перфилий стоял на дорожке, на том месте, где отстал, и смотрел ей вслед. Увидев, что Манька обернулась, он поднял руку, и Манька сейчас же заторопилась, заспешила, еле удерживаясь, чтобы не побежать. А пройдя с полверсты, она присела, настороженно осмотрелась, свернула в кусты, в золотисто-желтые березки, в мох и легла там, лицом на сумку. «Ах, да что ж это приключилось... Как же я теперь письма им буду носить!» — думалось ей.

Лицо ее горело, голова кружилась от свежего, чистого, рыбацкого запаха Перфилия. Видела она близко его темные, шальные, перекошенные глаза, замирала, вновь переживая весь ужас, всю радость, весь стыд сегодняшнего дня. И уже весело, мстительно, томительно-уверенно звучали в ней все те же дикие и вещице слова: «Так бы и он скрипел и болел, и в огне горел, не мог бы он ни жить и ни быть и ни пить и ни ись!»

1958

ТРАЛИ-ВАЛИ

1

Разморенный жарким днем, наевшись недожаренной, недосоленной рыбы, бакенщик Егор спит у себя в сторожке.

Сторожка его нова и пуста. Даже печки нет, вырезана только половина пола, навалены в сених кирпичи и сырая глина. По бревенчатым стенам висит из пазов пак-

ля, рамы новые, стекла не замазаны, тонко звенят, отзываются пароходным гудкам, и ползают по подоконникам муравьи.

Просыпается Егор, когда садится солнце и все вокруг наполняется туманным блеском, а река становится неподвижно-золотой. Он зевает, зевает со сладкой мукой, замирая, выгибаясь, напрягаясь чуть не до судорог. Почти не открывая глаз, торопливо вялыми руками свертывает папиросу и закуривает. А закурив, страстно, глубоко затягивается, издавая губами всхлипывающий звук, с наслаждением кашляет со сна, крепко дерет твердыми ногтями грудь и бока под рубахой. Глаза его увлажняются, хмелеют, тело наливается бодрой мягкой истомой.

Накурившись, он идет в сени и так же жадно, как курил, пьет холодную воду, пахнущую листом, корнями, оставляющую во рту приятно-оскоменый вкус. Потом берет весла, керосиновые фонари и спускается вниз, к лодке.

Лодка его набита мятой осокой, набрала воды, осела кормой и отяжелела. Егор думает, что надо бы вылить воду, но выливать лень, и, вздохнув, поглядев на закат, потом вверх и вниз по реке, он раскорячивается, напрягается больше, чем нужно, и спихивает лодку с берега.

Плес у Егора небольшой. Ему нужно зажечь фонари на четырех бакенах, два из которых стоят наверху, два — внизу. Каждый раз он долго соображает, куда ловчее сначала грести: вверх или вниз. Он и сейчас задумывается. Потом, устраиваясь, стучит веслами, уминает осоку, пихает ногами фонари и начинает выгребать против течения. «Все это трали-вали...» — думает он, разминаясь, разогреваясь, гребя резкими рывками, быстро валясь назад и выпрямляясь, поглядывая на темнеющие, розовеющие, отраженные в спокойной воде берега. Лодка оставляет за собой темный на золоте воды след и аккуратные завитки по бокам.

Воздух холодеет, ласточки носятся над самой водой, пронзительно визжат, под берегами всплескивает рыба, и при каждом всплеске Егор делает такое лицо, будто давно знает именно эту рыбу. С берегов тянет запахом земляники, сена, росистых кустов, из лодки — рыбой, керосином и осокой, а от воды уже поднимается едва заметный туман и пахнет глубиной, потаённостью.

По очереди зажигает и устанавливает Егор красные и белые фонари на бакенах, лениво, картинно, почти не огребаясь, спускается вниз и там зажигает. Бакены горят ярко и далеко видны в наступающих сумерках. А Егор уже торопливо выгребает вверх, пристаёт возле сторожки, моется, смотрится в зеркало, надевает сапоги, свежую рубаху, туго и набекрень натискивает морскую фуражку, переезжает на другой берег, зачаливает лодку у кустов, выходит на луг и зорко смотрит вперед, на закат.

На лугу уже туман, и пахнет сыростью.

Туман так плотен и бел, что издали кажется разливом. Как во сне, идет, плывет Егор по плечи в тумане, и только верхушки стогов видны, только черная полоска леса вдали под беззвучным небом, под гаснущим уже закатом.

Егор поднимается на цыпочки, вытягивает шею и замечает наконец вдали розовую косынку над туманом.

— Э-ей! — звучным тенором окликает он.

— А-а... — слабо доносится издали. Егор ускоряет шаг, потом пригибается и бежит, будто перепел, тропой. Свернув с тропы, он ложится, обзеления коленки и локти о траву, и с колотящимся сердцем всматривается в ту сторону, где показалась ему розовая косынка.

Проходит минута, две, но никого нет, звука шагов не слышно, и Егор не выдерживает, поднимается, глядит поверх тумана. По-прежнему видит он только закат, полоску леса, черные шапки стогов — смутно и сизо вокруг него. «Спряталась!» — с нетерпеливым восторгом думает он, опять ныряет в туман и опять крадется. Он наду-

вается, сдерживая дыхание, лицо наливается кровью, фуражка начинает резать ему лоб. Вдруг он видит совсем рядом съезжившуюся фигурку и вздрагивает от неожиданности.

— Стой! — дико вопит он. — Стой, убью!

И, топоча сапогами, гонится за ней, а она с визгом, со смехом убегает от него, роняя что-то из сумки. Он быстро догоняет ее, вместе валятся они на мягкие, пахнущие свежей землей и грибами кротовые кучи и крепко, счастливо обнимаются в тумане. Потом поднимаются, разыскивают уроненное из сумки и медленно бредут к лодке.

2

Егор очень молод, но уже пьяница.

Пьяницей была и его жена, распущенная потрепанная бабенка, гораздо старше его, утонувшая осенью в ледостав. Пошла в деревню за водкой, обратной дорогой выпила, опьянела, шла и пела песни, подошла к реке против сторожки, закричала:

— Егор, зараза, выходи, глянь на меня!

Егор вышел, радостный, в накинутах полушубке, в опорках на босу ногу, и видел, как она шла, помахая сумкой, как принялась плясать посреди реки, хотел крикнуть, чтобы поскорее шла, и не успел: на его глазах проломился лед, и мгновенно ушла под воду жена.

В одной рубахе, скинув полушубок и опорки, побежал он босиком по льду, и когда бежал, все потрескивал, мягко колыхался, подавался под ним лед, — упал, дополз на животе до полыньи и только посмотрел на черную дымящуюся воду, только завыл, зажмурился и пополз обратно. А через три дня заколотил сторожку и ушел на зиму к себе в деревню за три километра, на другую сторону.

Весной же, на разливе, перевозил он как-то молодую Аленку из Трубецкого, и когда та стала доставать деньги, Егор вдруг торопливо сказал:

— Ну ладно, ладно... Это все трали-вали! А ты когда зайди ко мне-то: один живу, скучно. Да и постирать там чего, а то завшивеешь без бабы, а я тебе рыбы дам.

А когда недели две спустя Аленка, возвращаясь откуда-то к себе в деревню, зашла под вечер к нему в сторожку, у Егора так забило сердце, что он испугался. И первый раз в жизни засуетился Егор из-за девки, побежал на улицу, развел из щепок костерок между кирпичами, поставил закоптелый чайник, стал спрашивать Аленку про жизнь, замолкая вдруг на полуслове, смущая ее до слез и сам смущаясь, вымылся и надел чистую рубаху в сенях, а через реку перевез ее уже ночью и далеко провожал лугами.

Теперь Аленка часто приходит к нему и каждый раз остается в сторожке дня на три. И когда она с ним, Егор небрежен и насмешлив. Когда ее нет, он скучает, места себе не находит, все валится у него из рук, он много спит, и сны снятся ему нехорошие, тревожные.

Егор крепок, кадыкаст, немного вял и слегка косолап. Лицо у него крупное, рыхлое, неподвижно-сонное и горбоносое. На летнем солнце, на ветру загорел он почти до черноты, и серые глаза его кажутся синими от этого. «Недоделанный я какой-то! — жалуется он, выпив. — Черт меня делал на пьяной козе!»

Этой весной он остается вдруг у себя в сторожке на Первое мая. Почему не пошел он в деревню, как сперва хотел, он и сам не знает. Валяется на сбитой, неприбранной постели, мрачно посвистывает. В полдень прибегает из деревни сестренка и тоненько вопит с того берега:

— Его-о-ор!..

Егор сумрачно выходит к воде.

- Его-орка, тебе велели иди-ить...
- Кто велел-то? — помолчав, кричит Егор.
- Дядя ...а-ася и дядя ...е-едя...
- А для чего они сами не пришли-и?
- Они не ...о-гут иди-ить, они пья-аныи-и...

Лицо Егора изображает тоску.

— Работа у меня, скажи, рабо-ота! — кричит он, хотя никакой работы у него, конечно, нет. «Эх, и гуляют сейчас в деревне!» — горько думает он и воображает пьяных родных, мать, столы с закуской, пироги, непрерывную музыку, дрожжевой вкус браги, нарядных девок, флаги на избах, кино в клубе, мрачно плюет в воду и лезет на обрыв, в сторожку.

— О-о-ор... иди-и... — звенит, манит его с того берега голос, но Егор не слушает.

Относится он ко всему с равнодушием, с насмешкой, ленив необыкновенно, денег у него бывает много, и достаются они ему легко. Моста поблизости нет, и Егор перевозит всех, беря за перевоз по рублю, а в раздражении — и по два. Работа бакенщика, легкая, стариковская, развратила, избаловала его окончательно.

Но иногда смутное беспокойство охватывает Егора. Чаще всего бывает это вечером. Лежа рядом со спящей Аленкой, вспоминает Егор, как служил во флоте на Севере. Вспоминает корешей, с которыми, конечно, давно потерял всякую связь, вспоминает их голоса, их лица и даже разговоры, но неясно, лениво...

Вспоминает Егор низкий сумрачный берег, северное море, жуткое полярное сияние зимой, сизые маленькие изуродованные елки, мох, песок; вспоминает, как горел по ночам маяк, как ослепительно и дымно мерцал его свет, лучами скользя по мертвому лесу. Но думается ему обо всем этом равнодушно и отдаленно.

Иногда же его охватывает, бьет странная дрожь и странные, дикие мысли лезут в голову: что берег и сейчас такой же, и сейчас стоят на нем бараки с шиферными крышами, сверкает по ночам маяк, а в бараках моряки, койки в два яруса, треск радиоприемника, разговоры, писание писем, курило... Все-все такое же, а его нет там, как будто он умер, он даже как бы и не жил там, не служил, а все это так... наваждение, сон!

Тогда он встает, выходит на берег, садится или ложится под кустом, завернувшись в полушубок, и чутко слушает и смотрит в темноту на отраженные в реке звезды, на далекие яркие огоньки бакенов. Притворяется ему в такие минуты не перед кем, и лицо его становится грустным, задумчивым. Томно у него на сердце, хочется чего-то, хочется уехать куда-нибудь, хочется иной жизни.

На Трубецком плесе медленно возникает и так же медленно пропадает густой, бархатистый, трехтоновый гудок. Немного погодя показывается пароход, ярко озаренный светом, торопливо шлепает плицами, шипит паром и снова гудит. И шум его, плеск, гудение гулко, знобяще отдаются в прибрежных лесах. Егор смотрит на пароход и еще сильнее тоскует.

Он воображает дальнюю дорогу, воображает, как спят по каютам молодые женщины, пахнувшие духами и едущие неизвестно куда. Он воображает, как возле машинного отделения сладко, мягко пахнет паром, начищенной медью и утробным машинным теплом. Палубы и перила покрыты росой, на мостике стоят зевающие вахтенные, перекатывают руль. На верхней палубе сидят одинокие пассажиры, завернулись в пальто, смотрят в темноту, на огоньки бакенов, на редкие красные костры рыбаков, на зарево фабрики или электростанции — и все это им кажется прекрасным, чудным и так манит сойти где-нибудь на маленькой пристани, остаться в тишине, в росистом холоде. И обязательно спит кто-нибудь на лавке, натянув пиджак на голову, поджав ноги, и просыпается на секунду от гудков, от чистого воздуха, от толчка парохода о пристань...

Идет мимо него жизнь! Что за звон стоит в его сердце и над всей землей? Что так манит и будоражит его в глухой вечерний час? И почему так тоскует он и немилы ему росистые дуга и тихий плес, немилы легкая, вольная, редкая работа?

А ведь прекрасна же его родина — эти пыльные дороги, исхоженные, истоптанные с младенчества, эти деревни — каждая на особицу, каждая со своим говором, со своими девками, деревни, куда так часто ходил он вечерами, где он целовался, прячась во ржах, где дрался не раз до крови, до беспамятства; прекрасен же сизый дым костра над рекой, и огни бакенов, и весна с лиловым снегом на полях, с мутным необозримым разливом, с холодными закатами в полнеба, с ворохами шуршащих палых прошлогодних листьев по оврагам! Прекрасна и осень с ее скукой, с дождиком, с пахучим ночным ветром, с особенным в это время уютом сторожки!

Так почему же просыпается он, кто зовет по ночам его, будто звездный крик гудит по реке: «Его-о-ор!»? И смутно и знобко ему, какие-то дали зовут его, города, шум, свет. Тоска по работе, по настоящему труду — до смертной усталости, до счастья!

И, волоча полушубок, идет он в сторожку, ложится к Аленке, будит ее и жалко и жадно приникает, прижимается к ней, чувствует только ее, как ребенок, готовый заплакать. Зажмурившись, трется он лицом о ее плечо, целует ее в шею, слабея от радости, от горячей любви и нежности к ней, чувствуя на лице ответные, быстрые и нежные ее поцелуи, уже не думая ни о чем и ничего не желая, а желая только, чтобы так продолжалось всегда.

Потом они шепчутся, хотя могут говорить громко. И Аленка, как всегда, уговаривает Егора остепениться, бросить пить, пожениться, поехать куда-нибудь, устроиться на настоящую работу, чтобы его уважали, чтобы писали про него в газетах.

И уже через полчаса — успокоенный, ленивый и насмешливый — через полчаса бормочет Егор свое любимое «трали-вали», но бормочет как-то рассеянно, не обидно, желая втайне, чтобы она еще и еще шептала, чтобы еще и еще уговаривала его начать новую жизнь.

3

Часто в сторожке у Егора ночуют проезжие, поднимающиеся и спускающиеся по реке на моторках, на байдарках и даже на плотках. Каждый раз при этом происходит одно и то же: проезжие глушат внизу мотор, и кто-нибудь поднимается к Егору в сторожку.

— Здорово, хозяин! — наигранно бодро говорит проезжий.

Егор молчит, посапывая, ковыряет ивовую вершу.

— Здравствуйте! — уже слабее повторяет проезжий. — Переночевать нельзя ли у вас?

И опять ответом ему молчание. Егор даже дышать перестает, так занят вершей.

— А сколько вас? — спустя долгое время спрашивает он.

— Да трое только... Мы как-нибудь... — с робкой надеждой говорит проезжий. — Мы заплатим, не беспокойтесь...

Егор равнодушно, медленно, с паузами расспрашивает, кто такие, куда едут, откуда... И когда спрашивать уже нечего, с видимой неохотой разрешает:

— Ну что ж, переночевать можно.

Тогда все вылезает из лодки, подыскивают место, складывают вещи, вытаскивают и переворачивают лодку, носят в сторожку рюкзаки, канистры, котелки, мотор. В сторожке начинает пахнуть бензином, дорогой, сапогами, делается тесно. Егор оживляется, подает каждому руку, чувствует прилив веселости, чувствует предстоящую выпивку.

Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер.

А когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему недольют. Потом берет своей крепкой, темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит: «Со знакомством!» — и выпивает, каменея лицом.

Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет — и начинает врать складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой.

— Рыба, — говорит он, осторожно и как бы нехотя закусывая, — у нас всякая... Правда, мало ее стало, н-но... — он хакает, делает паузу и понижает голос, — но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правду сказать, небольшая — полтора пуда всего... Утром поехал по бакенам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидую в воду, пока с бакенами возился, она и села: крючок аж в пузо зашел!

— Где же щука-то? — спрашивают его.

— А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал, — не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука.

И если кто-нибудь усомнится — а сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением, — он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе — ровно сто пятьдесят граммов, — быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно-отчаянные глаза и говорит:

— А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?

— «ЛМ-1», — отвечают ему.

Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу.

— Этот? Ну, это трали-вали! — пренебрежительно говорит он. — У Славки — болиндер, это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь, а не мотор: двадцать километров в час! Это еще против воды... Ну? Давай на мотор! Ставлю болиндер против твоей трали-вали! Ну? Один такой поспорил — ружье проспорила. Показать ружье? Заказная «тулка», бьет, как зверь, я на нее зимой, — он секунду думает, стеклянея глазами, — триста пятьдесят зайцев взял! Ну?

И покоробленные, немного растерявшиеся гости, чтобы хоть как-то уколоть его, тотчас спросят о печке:

— Что ж, парень, без печки живешь?

— Печка? — уже кричит Егор. — А кто может склать? Ты можешь? Склади! Глина, кирпич есть, матерьял, словом. Склади, полтора ста сразу даю, как пить дать! Ну? Склади! — настаивает он упорно, зная, видя, что просьба его невыполнима, а раз невыполнима, то победа опять его. — Ну? Склади!

И в ту же минуту, заметив, что водка еще есть, что гости смеются, он выходит в сени, надевает там морскую свою фуражку с «крабом», распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова.

— Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью и тут же докладывает: — Боцманмат Северного флота прибыл в ваше распоряжение! Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма. Все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите!

Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает.

Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запекает.

И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры — непонятно, с испугом все смотрят на него! Не частушки поет он и не современные песни, хоть все их знает и постоянно мурлычет, — поет он на старинный русский манер, врасстяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как, слышал он в детстве, певали старики. Поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими «о-о-о...» и «а-а...». Поет негромко, чуть играя, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего русского, будто бы древне-былинного, что через минуту забыто все — грубость и глупость Егора, его пьянство и хвастовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое и будущее, и только необычайный голос звенит, и вьется, и туманит голову, и хочется без конца слушать, подпершись рукой, согнувшись, закрыв глаза, и не дышать и не сдерживать сладких слез.

— В Большой театр тебе надо! В Большой театр! — кричат все сразу, когда Егор кончает, и все возбужденно, блестя глазами, предлагают ему помощь, все хотят написать куда-то: на радио, в газету, позвонить кому-то... Всем радостно, празднично, а Егор, счастливый от похвал, уставший, уже слегка остывший, опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает.

Смутно представляет он себе Большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра — как все видел он это в кино, — лениво потягивается и бормочет:

— Все это трали-вали... театры там всякие...

И на него даже не обижаются: так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям.

Но это еще не вся слава его.

4

Это не вся слава его, а только четверть. А настоящая слава бывает у него, когда, как он сам говорит, его затынет. Затыкает же его раза два в месяц, когда особенно скучно и не по себе становится ему.

Тогда хандрит он с самого утра, с самого же утра и пьет. Пьет, правда, понемногу и время от времени лениво говорит:

— Ну чего... Давай, что ли, это.. А?

— Чего? — притворяется непонимающей Аленка.

— Споем, что ли... дуэтом, а? — вяло говорит Егор и вздыхает.

Аленка пренебрежительно усмехается и ничего не отвечает. Она знает, что время еще не пришло, что Егора еще не окончательно затынуло. И она ходит по сторожке, все что-то чистит, что-то моет, уходит на реку полоскать белье, снова возвращается...

Наконец наступает время. Случается это обычно к вечеру. И Егор уже не просит «дуэта», он встает, нечесанный, хмурый, смотрит в одно окошко, в другое, выходит, пьет воду, потом сует в карман бутылку с водкой, берет полшубок.

— Далеко ль собрался? — невинно спрашивает Аленка, но все в ней начинает дрожать.

— Пошли! — грубо говорит Егор и косолапо перешагивает порог.

Лицо его бледнеет, ноздри разываются, на висках обозначаются вены. Аленка, покашливая, стягивая у горла шерстяной платок, идет рядом. Она знает, что Егор выйдет сначала на обрыв, посмотрит вверх и вниз по реке, немного подумает, будто не зная, где приладиться, и пойдет потом к любимому своему месту — к перевернутой дырявой плоскодонке, у самой воды, в березках. И там он будет петь с ней, но совсем не так петь, как пел гостям: им он пел немного небрежно, немного играя и далеко не в полный голос...

Егор и вправду останавливается на берегу и минуту думает, потом молча идет к плоскодонке. Он стелет здесь полушубок, садится, опираясь спиной о борт лодки, раскорячивает и подвертывает ноги и ставит меж ног бутылку.

А закат прекрасен, а на лугах туман, как разлив, и черна полоска леса на горизонте, черны верхушки стогов. А ветви берез над головой неподвижны, трава волгла, воздух спокоен и тепел, но Аленке уже зябко, прижимается она к Егору, а Егор берет дрожащей рукой бутылку и глотает из нее, передергиваясь и хакая. Рот его полон сладкой слюны.

— Ну... — говорит он, вертит шеей, покашливает и предупреждает шепотом: — Только втору давай смотри мне!..

Он набирает полную грудь воздуха, напрягается и начинает заунывно и дрожаще чистейшим и высочайшим тенором:

Вдо-о-оль по морю..
Мо-о-орю си-и-инему..

Аленка зажмуривается, мучительно сотрясается, выжидая время, и вступает низко, звучно и точно — дух в дух:

Плывет ле-ебедь со лебе-едушко..

Но себя, но своего низкого, матового, страстного голоса она и не слышит уже — где уж там! Чувствует она только, как мягко, благородно давит, сжимает ее плечо рука Егора, слышит только его голос.

Ах, что за сладость — песня, что за мука! А Егор, то обмякая, то напрягаясь, то подпуская сиплоты, то, наоборот, металлически-звучно, все выговаривает дивные слова, такие необыкновенные, такие простонародные, будто сотню лет петые:

Плывет ле-ебедь, не всколо-о-охнется,
Желтым мелким песком
Не взворо-о-охнется..

Ах да что же это? И как больно, как знакомо все это, будто уж и знала она всюто свою жизнь заранее, будто уж и жила когда-то, давным-давно, и пела вот так же и дивный голос Егора слушала!

Откуль взялся сизо-о-ой орел...

Стонет и плачет Егор, с глубокой мукой отдается пению, приклонив ухо, приотвернувшись от Аленки. И дрожит его кадык, и скорбны губы.

Ах, этот сизой орел! Зачем, зачем кинулся он на лебедя белого, зачем поникла трава, подернулось все тьмою, зачем попадали звезды! Скорей бы конец этим слезам, этому голосу, скорей бы конец песне!

И они поют, чувствуя одно только — что сейчас разорвется сердце, сейчас упадут они на траву мертвыми, и не надо уж им живой воды, не воскреснуть им после такого счастья и такой муки.

А когда кончают, измученные, опустошенные, счастливые, когда Егор молча ложится головой ей на колени и тяжело дышит, она целует его бледное холодное лицо и шепчет, задыхаясь:

— Егорушка, милый... Люблю тебя, дивный ты мой, золотой ты мой...

«А! Трали-вали...» — хочет сказать Егор, но ничего не говорит. Во рту у него сладко и сухо.

В ГОРОД

1

Василий Каманин шел рано утром по дороге в Озерище. Сапоги его были в грязи, бурая шея давно не мыта, глаза с желтыми белками смотрели мутно, и от самых глаз начиналась серая щетина. Походка его была неровной, ноги разъезжались и как-то отставали от стремящегося вперед тела. В спину ему дул холодный ветер, по сторонам темнели бесконечные отвалы вспаханной зяби. Между отвалами кое-где свинцово поблескивала вода — дожди шли уже целую неделю. По обочинам дороги мотался на ветру красно-бурый, забрызганный грязью конский щавель.

Накануне Василий Каманин сильно выпил у свата. Сегодня у него болела голова, во всем теле стояла ломота, какая бывала у него только к непогоде, в рот набегала противная слюна. Василий сплевывал, поднимал тяжелую голову, с тоской смотрел вперед. Но спереди была грязная исхлостанная дорога, уныло темнели копны соломы, и до самого горизонта — низкое серое небо без малейшего просвета, без надежды на солнце. Василий опускал глаза, привычно выискивал места посуше, но потом, поглощенный мыслями, опять шел как попало, осклизаясь, тяжело переставляя ноги, наклоняясь вперед худым телом.

Жил Василий Каманин в Моховатке, в стоящей отдельно просторной старой избе. Моховатка до войны была большой деревней, и дом Каманиных стоял в общем ряду. Но, отступая, подожгли немцы деревню, вся она сгорела дотла, только Каманины чудом уцелели. После войны деревня вновь отстроилась, но уж далеко было до прежнего, и изба Василия очутилась за выездом. Ему предлагали перевезти избу, он и сам собирался, но как-то все не доходили руки, так и остался жить на отшибе.

Три дочери его одна за другой вышли замуж, уехали жить в город. Изба опустела, Василий все чаще нанимался работать на сторону — был он хорошим плотником, много зарабатывал, но с годами стал скучать, пить, во хмелю был мрачен и бил жену.

Жену Акулину Василий не любил давно. Еще до войны попал он как-то по вербовке на большое строительство, проработал там все лето, и с тех пор мысль переехать жить в город уже не покидала его.

Каждый год по осени, когда было мало работы, его забирала вдруг тоска, он делался равнодушен ко всему, подолгу лежал на дворе, закрыв глаза, и думал о городской жизни. Городских он терпеть не мог, считал всех дармоедами, но жизнь городскую — парки, рестораны, кинотеатры и стадионы — любил до того, что и сны ему снились только про город.

Несколько раз собирался он было совсем и даже корову продавал, но Акулина шептала по ночам о земле, о родине, о хозяйстве, о том, что она с тоски помрет в городе, и он раздумывал и оставался.

Все в колхозе знали о его страсти к городу и посмеивались над ним.

— Что ж, так и не уехал? — спрашивали его.

— Ночная кукушка денную перекукует, — отвечал он, сумрачно усмехаясь и затаивая злобу на жену.

Весной Акулина заболела. Сперва думали — переможется. Потом Акулина стала ходить в медпункт, брала прописанные порошки и микстуры, охотно, с верой в исцеление, пила горькие лекарства. Но исцеление не приходило, становилось, наоборот, все тяжелее и хуже. Тогда были испробованы тайные средства. В дом к Василию зачастили старухи, носили в пузырьках наговоренную воду, настойки на корнях. Но и это не помо-

гало. Глаза у Акулины провалились, запали виски, лез волос, вся она неправдоподобно быстро худела, таяла. Люди, видевшие ее недавно здоровой, теперь при встречах останавливались, долго смотрели ей вслед. С ней становилось страшно спать: так она была худа и так стонала во сне. Василий стал спать во дворе, на свежем сене.

Целые дни проводил он в поле, работал на сенокосе, ругался с бригадиром и, сдвинув крупные темные брови, думал о жене, все больше уверяя себя, что скоро она помрет. А вечером возил домой сено, таскал мешки с зерном, выданное авансом на трудодни. Домой приходил усталый, с бурным от солнца лицом, садился на лавку, упирался потрескавшимися ладонями в колени, смотрел исподлобья на жену.

Страшно похудевшая, с неистовым взглядом темных сухих глаз, но все еще красивая, Акулина подавала на стол. Потом, привалясь к стене, трудно дышала, открыв черный рот. На лице ее выступала обильная испарина.

— Вася! — просила она. — Свези ты меня, ради Христа, в город! Свези! Помру я, должно, скоро... Мочи моей нету, больная я вся, Вася!

Василий молча хлебал суп, боясь взглянуть на жену, выдать затаенные свои мысли.

— Свези, Вася! — совсем тихо говорила Акулина и садилась на пол возле стены. — Есть не могу ничего, все назад тошнит. Теперь уж и молока не принимаю... Скотина у нас, Вася! Ходить за нею надо, трудно мне — уж я на карачках... Ползаю, легче мне так. А внутри-то так и жгет, так и жгет! Свези ты меня, пуцай профессор поглядит. Я уж тут никому не верю, а только худо мне, ой, худо!

И вот теперь Василий шел в Озерище к председателю колхоза просить лошадь для жены, а заодно просить, чтобы совсем отпустили его из колхоза.

Настроение у него было плохое, болела с похмелья голова, злоба на жену, на бригадира и соседей переполняла его. Он ругался и придумывал, как бы ловчее сказать председателю, чтобы отпустил он его в город.

2

В Озерище Василий пришел через час, и даже ноги у него подкашивались: так устал.

Дом председателя выделялся своей величиной, крыльцом со столбиками, железной крышей и высоким двором, крытым не соломой, как у всех, а щепой. В саду под яблонями чернели колоды с пчелами. Тщательно вытирая о скобу сапоги, Василий покосился на колоды, подумал который раз: «Надо бы пчелу завести, хорошее дело!» Но, вспомнив, зачем пришел, только крякнул и, чувствуя непривычное волнение и стеснение, открыл дверь в темные захламленные сени.

В доме было не убрано, грязно, пахло топленным молоком и кислой капустой. На столе стояла швейная машинка, на полу валялись лоскуты материи, на проводах от лампы к приемнику висели носки. Хозяина дома не было. Жена его Марья, крепкая чернявая баба с тугим задом, стояла возле печи, жарко освещенная, двигала ухватом, широко расставив ноги и приседая.

— Здорово! — хмуро сказал Василий, стаскивая шапку. — Где Данилыч-то?

— На что тебе? — также хмуро, не глядя на Василия, спросила Марья.

— Дело, значит, есть.

— В поле он, чуть свет поехал.

— Домой-то скоро будет?

— Говорил, к завтраку, а там не знаю...

— Погожу тогда! — решительно сказал Василий и тяжело сел на лавку лицом к печи.

Он вынул махорку, хотел было закурить, но вспомнил, что Марья не любит, когда курят в избе, и спрятал кисет. Да и курить что-то не хотелось. В теле была противная слабость, в голове стоял шум.

Василий опустил голову и задумался. Думал он, что жена скоро помрет, надо будет делать гроб и что лучше заранее раздобыться хорошими досками. Барана придется резать, а то и двух на поминки, родни припрет, пожрать любят...

Потом он стал думать, кому и за сколько продать дом и хозяйство и куда поехать. На первое время можно бы в Смоленск, к старшей дочери, а там видно будет. Денег у него, слава богу, соберется, можно будет в городе какой домишко присмотреть.

Потом он стал подбирать наиболее убедительные слова, чтобы председатель не возражал. В мыслях все выходило складно, и никак не мог устоять председатель против Василия.

— Зачем пришел-то? — спросила хозяйка, ставя ухват в угол и садясь к столу.

Василий не сразу понял, о чем его спрашивают, так задумался. Моргая, будто спросонок, он посмотрел на Марьино красивое лицо, на ее полные губы и голубые слегка навывкате нагловатые глаза.

— Жена у меня дуже болеет, — наконец сказал он. — Насчет лошади я, в город бы ее свезть. Ну и потом, значит, по своим делам.

— Сколько ей годов-то, Акулине? — без интереса спросила Марья.

— Годов-то? — Василий минуту подумал. — А вот считай: мне пятьдесят пять, ну а ей на два годка помене.

— А! — только сказала хозяйка.

Некоторое время она молчала, тоже о чем-то крепко задумавшись, потом нагнулась к швейной машине, перекусила нитку, разобрала материю, и мерный ровный стрекот наполнил избу.

Василий опять закрыл глаза. Его тянуло лечь на лавку, укрыться с головой, не думать ни о чем, а заснуть... Мысль о том, что нужно дожидаться председателя, говорить и доказывать, что в колхозе ему больше невозможно, а потом идти по грязной дороге назад в Моховатку, — мысль эта наполняла его отвращением и холодом. Между лопаток у него дергало что-то, а кожу на груди и на руках стягивало.

Скоро Василий забылся под стрекот машины, уже не думал ни о чем и вздрогнул, когда в сенях затопали плотные шаги и в избу вошел хозяин.

Был он крупного роста с маленьким бледным лицом, на котором, как у скопца, росли едва заметные белесые кустики. Он приехал верхом и, войдя в избу, первое время потирал ляжки и морщился, нагнувшись и глядя на что-то в окно.

Василий тоже обернулся и посмотрел: мальчишка уводил вдоль забора высокого костистого жеребца с подрезанным хвостом. Тот разъезжался ногами и задирал голову.

— Ну как? — громко спросила Марья, подходя к шестку и берясь снова за ухват.

Председатель, все еще нагнувшись, повернул к ней голову, хотел что-то сказать, но увидел Василия и, смолчав, протянул ему холодную влажную руку. Потом прошел через избу, вздохнул, как человек, сильно уставший, сел на лавку спиной к окну и принялся стаскивать сапоги.

Разувшись, шевеля пальцами босых ног, он смотрел на жену, и лицо его постепенно принимало сонное и тайное выражение. Василий тоже внимательно оглядел Марию, как она напрягалась, передвигая чугуны в печи, на ее сильную спину и невольно подумал: «Ишь, черт, гладкая!»

— Ну, как там у вас? — спросил председатель. — Сено возите?

— Возим, — торопливо ответил Василий, отводя глаза от Марьи. — Возим, но навряд скоро управимся... Дожди не ко время пошли, дуже сыро. Да и народу мало, по домам сидят.

— Чем у вас там бригадир думает? — поморщился председатель. — Сколько раз говорено было, чтобы свозить! Дождались дождя! Вот погодите, доберусь я до этого бригадира!

Председатель посмотрел на жену и снова вздохнул. Василий кашлянул и поерзал на лавке.

— Скоро, что ль, там? — спросил председатель у жены.

— Сейчас поспеет, — невнятно сказала Марья.

Василий томился. Хозяин не спрашивал, зачем он пришел, а начинать первому о своей просьбе было неловко. Все слова, придуманные им, пока он сидел в ожидании, вдруг пропали, и опять Василий почувствовал, что он совсем болен, что самое главное сейчас — опохмелиться бы и лечь поспать.

— Букатинские поля смотрели, — сказал председатель и оживился, — с корреспондентом с областной газеты. Лен должен хорош быть. Обещал написать про девокто наших.

Не поворачиваясь, он нашарил позади себя на подоконнике сложенную газету, оторвал клочок, вытянул вперед правую ногу, достал из кармана махорки и закурил.

— Ну! — притворно удивился Василий и тоже торопливо закурил. — Они напишут! Такое ихнее дело — писать...

— Задымили, — хмуро сказала Марья и, хлопнув дверью, вышла на двор.

— Ты зачем ко мне? Дело какое? — спросил председатель, подмигивая вслед жене и улыбаясь Василию.

Василий подобрал ноги, уселся плотнее и наклонил голову.

— Жена у меня дуже болеет, — начал он. — Хочу я ее в город свезть. Дорогу вот только развезло, машины совсем не ходят. Лошадь бы мне, Данилыч...

— Лошадь? — председатель покряхтел, поскреб голову. — А что, в медпункт не ходила она?

— Была. Только, я так думаю, операцию надо ей.

— Ну ладно! Сегодня уж так, а завтра я скажу, чтоб дали. С утра и поедешь.

— А я ть тоже здоровьем плох стал чегой-то... — опять начал Василий, делая грустное лицо. — Да ты зашел бы когда ко мне, а? — перебил он вдруг себя, вспомнив, что такие дела на сухую не делаются. — Брага у меня есть, дочка посылку из города прислала — сахару. Выпили бы, бражка у меня хороша, жена намедни заварила, ничего бражка. Сальцо тоже есть, восемь пудов потянул поросенок... Зашел бы!

— Зайти можно, — сказал председатель, улыбаясь.

— А я, Данилыч, — подхватил обрадованный Василий, — решил совсем, значит, с колхозом распроститься.

— То есть это как же — распроститься? — председатель перестал улыбаться.

— А вот так, — сказал Василий, набираясь решимости и поводя глазами. — Вот так, что нету больше моего желания работать тут. Жена хворает, дочки пишут, зовут... Чего мне здесь! Потом же, давно я собирался... Старый председатель отпускал меня, спроси хоть кого хошь! Пушай другие поработают, а с меня хватит. Я по плотницкой части работу себе всегда у городе найду. А тут что?

— Как что! — председатель оглядел Василия, будто впервые видел. — Ты что, или забыл, об чем на правлении говорили?

— А чего мне правление...

— Погоди, не чегокай! Работы нету! Вот осенью новый телятник будем ставить — это тебе что? Потом клуб перестроить, это тебе не работа? А парники закладывать — не работа?

— Это верно, только пушай другие. И ты меня не держи, все равно уйду, я покуда свои права знаю.

— Знаешь? А что в колхозе людей не хватает — знаешь?

— Это меня не касается. Это вы смотрите, чтоб у вас никто не бег из колхозу. От хорошего не побежишь! А мне, может, пожить охота, я тебе не старик какой столетний — на печи лежать. А что я с колхоза имею? Культуру я имею? Выпить и то негде.

— Живешь бедно, да? — председатель хищно согнулся и начал желтеть лицом. — На колхозных работах убился?

— Ты на меня не сипи! — сказал Василий и сдвинул брови. — Не глотничай! Ты фост на меня не подымай! Чего есть, своим горбом добыл, с вашего колхозу зимой снегу не выпросишь.

— Так... Люди работай, люди борись, а ты в город?

— У меня вон жена помирает, — у Василия зазвенело в голове, перехватило дух. — В город ее надо везть? Это как?

— Лошадь мы тебе дадим, — председатель встал.

— Непустишь, значит? — спросил Василий, тоже вставая.

— Деньгами разбогател, видно?

— Денег у меня черт на печку не вскинет, — серьезно подтвердил Василий.

— Известно! — председатель громко задышал. — Мастер на стороне хапать. Вот телятник нам построишь, да клуб, да парники, а там поглядим.

— Телятник? А этого не хоть? — Василий сделал непристойный жест.

Председатель отвернулся к окну.

— Кончен у нас с тобой разговор. Катись! Постановления партии знаешь? Грамотный? Ну вот и все. Вызовем на правление, там поговорим!

— Ладно, — Василий нахлобучил шапку. — Ладно, мать твою... Поглядим! Найдем и на твою шею удавку!

Хлопнув дверью, он вывалился в сени, загромыхал с крыльца. Хлюпая носом от обиды, скрипя прокуренными зубами, он быстро шел по улице, пугая примостившихся возле плетня кур.

— Поговорили, растуды твою... — бормотал он, вытирая вспотевшее лицо. — Ясно, без пол-литра какой разговор!

И всю дорогу он жалел, что пришел к председателю без пол-литра.

3

На другой день, с утра выпив браги, Василий пошел на конный двор и через полчаса вернулся на лошади. Привязав лошадь у крыльца, он вынес со двора сена, навалил и умял на телеге, подумав, кинул немного лошади и пошел в дом. Еще с вечера он решил зарезать барана — в городе был сегодня базарный день, а баран две недели уже как кашлял.

Велев Акулине собираться, он взял длинный и узкий немецкий штык и пошел на двор. Барана, черного, крупного и старого, с белым пятном на шее, он еле вытащил из закутка: тот не шел, упирался и дрожал.

— Чуешь, значит? — бормотал Василий и нехорошо улыбался. Передохнув немного, Василий взялся за теплый витой рог. Баран прозрачными глазами смотрел на открытую дверь.

— Ну, молись богу! — сказал Василий, завалил барана, наступил коленом на мягкий бок и сжал ладонью ему морду. Баран взбрыкнул и вылез из-под колена. Василий, сипло задышав, опять подмял его под себя и отворотил голову назад, натянув горло с белым курчавым пятном. Потом, сжав зубы, примерился и с излишней даже силой резанул по белому пятну.

Баран вздрогнул, обмяк под коленом, из широко разошедшейся раны туго ударила черная почти кровь, заливая солому и навоз, пачкая руки Василию.

По телу барана прошла мелкая дрожь, глаза, по-прежнему смотревшие на свет, прижмурились, помутнели. Теленок, с любопытством приняживавшийся из своего угла, вдруг засопел и несколько раз толкнулся в стенку.

Василий встал, бросил штык, осторожно вытащил кисет и стал скручивать папироску кровавыми пальцами, густо смачивая бумагу слюной и не отрывая взгляда от барана.

Тот начал подергиваться, потягиваться, глаза совсем закрылись, задние ноги задергались сильнее, и через минуту все тело сильно и мерно билось, ноги взбрыкивали весело, как при беге, разбрасывая солому и куриные ошметки.

Подождав, пока баран стихнет, Василий подвесил его на перевод и стал быстро и ловко снимать шкуру, подрезая мутно-сизую пленку и перерезая сухожилия на ногах.

Разрезав живот, из которого дохнуло паром, он вынул горячую печень, отрезал кусок и с хрустом сжевал, пачкая губы и подбородок кровью.

На крыльцо вышла Акулина, чисто одетая, с узелком в руках. В узелке была смена белья, на случай, если ее положат в больницу. Кое-как вскарабкавшись на телегу, она покрылась дождевиком и стала поджидать Василия, с тоской и любовью глядя на темные поля и реку внизу, оглядывая, будто прощаясь навсегда, свой дом и деревню.

Немного погодя со двора вышел Василий, держа, как ребенка, тушу барана, уже разделанную совсем и завернутую в мешок.

Положив барана в передок телеги, он пошел задать корму скотине и запереть дом. А Акулина вдруг услышала сладковатый запах свежей убоины. Раньше она любила этот запах. Он всегда стоял в избах в предпраздничные дни. Но теперь ей стало нехорошо, и она закрыла рот и нос концами платка.

Василий, еще раз хлебнув браги и заперев дом, вышел, подпоясываясь, на крыльцо. Утром он побрился и умылся, надел новую рубаху и теперь выглядел помолодевшим и веселым.

— Вася! — сказала Акулина. — Глянь-ка, красота какая... Помру я, должно, в городе. Больно уж жалко расставаться. Сердце давит...

Василий тоже оглядел поля с темными стогами сена и с черными вспаханymi клипами, речку, потемневшие от дождей крыши деревни, сплюнул и промолчал.

Потом он отвязал и взнуздав лошадь, сильно дергая и разрывая ей губы; поправил еще раз сено в телеге, сел и тронулся. Напуганная лошадь пошла с места быстрым шагом, телега начала переваливаться в широких колеях.

Акулина сидела сзади, сжав плечи, держась за грудь, глядя тоскливыми глазами на избы по обеим сторонам, на березы и рябины с налившимися уже шафранно-красными кистями.

Она глядела и вспоминала всю свою жизнь в колхозе: и молодость, и замужество, и детей, любя все это еще сильнее и острее, зная, что, может быть, никогда больше не увидит родных мест и никого из своих близких. Слезы катились у нее по впалым щекам. Одного она хотела: умереть дома, на родине, и чтобы похоронили на своем кладбище.

Женщины, случившиеся в эту минуту на улице, останавливались и, молча глядя на нее, кланялись. Акулина улыбалась сквозь слезы напряженной стыдливой улыбкой и тоже кланялась — охотно, низко, едва не касаясь головой грядки телеги.

Василий же все понукал лошадь. Красное лицо его было напряженно-ожидющим и радостным. Он думал о том, как, сдав жену в больницу, поедет на базар, продаст барана, заедет к родне и поедет потом в привокзальный ресторан.

Он будет сидеть там и пить легкое вино, глядя в окно на проходящие поезда. Ему будут прислуживать официантки в белых передничках и наколках, будет играть оркестр, будет пахнуть едой и дымом хороших папирос.

И там уж он, посоветовавшись с родней, решит, как ему быть дальше, как ловчее уехать из колхоза в город и подороже продать дом и все хозяйство.

1960

НИ СТУКУ, НИ ГРЮКУ

1

Старик, хозяин сарая, в первый же вечер пришел к нам заспанный, босой и забормотал, поддергивая спадавшие штаны:

— Поскольку, конечно, я разрешил... Только по летнему времени то есть... Оно ничего, живите, вам чего ж — развлечение! Только поскольку сушь, извините, это я насчет курева, значит, чтобы упаси бог...

А через минуту уже сидел с охотниками на пороге сарая, курил, вздыхал, сморкался и говорил, что пастухи каждый день видят волков, что в Заказном лесу спасу никакого нету от тетеревов и что в полях, за ригами, жуткое дело перепелов.

Охотников было двое. Младшему — Саше Старобельскому, студенту, почти еще мальчику, худому, застенчивому — все казалось счастливым гулом в тот первый вечер.

Вчера только выехал он из Москвы, всю дорогу не отрывался от окна, жадно глядел на входящих и выходящих на станциях. Ехал он на Смоленщину к приятелю, был напряжен и общителен от первой самостоятельности, от мысли о будущих охотах и о деревенской жизни.

Но в Вязьме в вагон сел Серега Вараксин из Мятлева, бросил на верхнюю полку свернутые пустые мешки, сильно и неприятно пахнувшие, положил на лавку арбуз, разрезал его с хрустом и стал есть, сёрбая, захлёбываясь, быстро по очереди оглядывая всех в вагоне.

Был он губаст и красноглаз, с набрякшими лиловыми руками, был в меру выпивши и весел — в Вязьме удачно продал он свинину. Сашу Старобельского он сразу стал звать студентом, а узнав, что тот едет на охоту, загорелся, стал рассказывать, какая пропасть дичи у них в Мятлеве.

— Студент! — говорил Вараксин. — Ты меня слушай, я дело говорю. Я электриком работаю. Совхоз наш — на всю область! Ты куда едешь-то?

— На Вазузку, — счастливо отвечал Саша.

— Э! Я там был. Я везде был, всю область знаю. Ты у меня спроси про охоту! Вазузка твоя ни хрена не стоит, верно тебе говорю! Хотишь поохотиться — валяй к нам в Мятлево. У меня лесничий друг, у нас кого хотишь хватает: перепелки есть, уток на озерах темно, гуси — верно тебе говорю!

И заговорил доверчивого Сашу до того, что тот даже сомлел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме того, что счастлив необыкновенно и что жизнь прекрасна.

Дальше все происходило как бы само собой. В Мятлеве сошли ночью, сразу пошли полевой дорогой, и сразу же, едва ушел поезд, Саша почувствовал, как кончилась, ушла одна жизнь и наступила для него другая, резко отличная от прежней — глухая, таинственная.

Полыхали по горизонту зарницы, будто мигал и мигал им дух лесов и полей. Не было луны, но звезды были так яркие, так обильны, что все было ими освещено: тонкие прозрачные облака наверху и — внизу, на земле — кусты, поля с редкими, узкими межами, стога сена, еловые лески близ дороги.

Пахло на дороге землей, сухим подорожником. По сторонам все что-то похрустывало, цвиркало, попискивало. Подходили черные телефонные столбы, и тогда слышен был слабый, но внятный многоголосый звон, хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему же звенят столбы.

Попадались бревенчатые, расшатанные, расщепленные тракторами мосты через противотанковые рвы, давно превратившиеся в заросшие кустами и камышом канавы. Кое-где в канавах черно, маслянисто поблескивала стоячая вода.

До деревни Сереги было, как он говорил, пятнадцать километров. И раньше, в поезде, расстояние это Саше представлялось пустяковым. Но вот они все шли и шли, и по-прежнему тянулись по сторонам поля и лески, попадались братские могилы с немо чернеющими обелисками, а дорога по-прежнему уходила во тьму. И уж Саша устал, уж ему казалось, что они давно прошли не только пятнадцать километров, но и все тридцать, и что дороге этой, и ночи, и таинственным звукам, и легкому страху, который он начал испытывать, не будет конца.

— Стой! — сказал вдруг шепотом Серега и, затаив дыхание, прислушался. — Ну-ка, студент, вынь ружье!

— Зачем? — тонко спросил Саша, вынимая ружье.

Серега промолчал, а Саша стал торопливо распаковывать рюкзак, доставать глянцевиные картонные патроны с блестящими медными доньшками.

— Затем, что пришить могут! Деньги у меня, пятьсот рублей. Понял? — грубо, с удовольствием от мысли, что пугает студента, и сам еще больше пугаясь, сказал Серега. — Пошли ходчее!

Часто оглядываясь, они потом почти бежали дорогой, переходя иногда на сокращающие путь тропки. Саша задыхался, с тяжелым рюкзаком и ружьем, а Серега все нажимал, часто, твердо стучая сапогами по убитой земле.

Наконец попалась возле риги на дороге большая куча светлой соломы, оставленной комбайном. Солому не стали обходить, полезли прямо по ней. Она пружинила и трещала под ногами.

Тотчас стала видна река, а за рекой совхоз, далеко и неясно белеющий своими постройками. Они перешли реку по плавням, пришли к Вараксину и, не ужиная, легли спать. А утром, по холодку, поехали в далекую деревню Кунино.

2

Первым просыпался Саша, вылезал из-под тулупа и будил Серегу. Солнце поднималось медленно, было ярко-бело, но холодно. Охотники шли гуськом по заливному дугу, оставляя за собой сочно-зеленый след. И чем ближе подходили к мелочам, которыми начинался Заказной лес, тем быстрее шагал Саша, бледнел, сутулился и задолго до мелочей не выдерживал, снимал ружье и взводил курки.

А Серега при каждом шаге подрагивал мясистыми щеками, шурился, зевал, поглядывал на чистое, иссиня-бирюзовое небо и оступался на кочках.

— Студент! — начинал он с хрипотцой. — А ведь мы с тобой папуасы!

— Почему это? — не сразу откликнулся Саша.

— А как же! — Серега оживлялся и догонял Сашу. — Сапоги бьем попусту. Нам бы с тобой сейчас по бабе какой-нибудь, по мордатой! А? Студент!

— Отстань! — Саша краснел и прибавлял шагу.

— Эх! А какие бабы бывают! — Серега покашливал и раздувал ноздри. — Схватишь ее...

— Тише ты! — страдальчески шептал Саша, пригибаясь.

И, как всегда не вовремя, со страшным шумом, от которого тело Саши становилось гофрированным, вырывался из пустоты тетерев и ошалело лопотал между берез. Саша посылал ему вдогонку выстрел, конечно, промазывал и бешено смотрел на Серегу, переменяя патрон. Серега виновато помаргивал, и охотники уже молча, деловито и осторожно шагали дальше.

К полудню солнце напекало, Серега валился в тень, под кусты, отбирал у Саши рюкзак и начинал с жадностью, с наслаждением пожирать яйца, хлеб, холодную с застывшим жиром баранину, запивая все это сболтавшимся молоком из бутылки.

Саша, покружив в лесу, сморенный жарой, тоже подходил, ложился, смотрел в небо до головокружения. Немного погодя он неохотно принимался за еду, неохотно и хмуро слушал наевшегося, распутившего ремень на брюках Серегу. А тот, позевывая, порыгивая, ковырял спичкой в зубах, пристально и сонно смотрел на какую-нибудь березу и говорил:

— Девки — это не вещь. Ты с девками не связывайся: кино там, клуб, да танцы, да всякие слова ей надо произносить, идейное чего-нибудь, да этих самых слез, попреков не оберешься. Я с ними намучился! Нет, ты возьми бабу...кха! — ба-бу!

— Брось! — с тоской просил Саша. — Как не стыдно!

— Слушай сюда, дура, дело говорю! — насмешливо отвечал Серега и еще больше оживлялся, ворочался, закидывал ногу на ногу. — Даже не бабу, нет, ты на вдову погляди, не на молодую, а этак лет под тридцать пять — самый цимис! — погляди ты на вдову или на разведенную, да чтобы на морду была не прекрасная. Претензий у ней к тебе никаких насчет там женитьбы и прочего, зато уж душеньку с тобой она натешит, уже она натешится... «И всю-то ночь ласкала меня!» — заорал вдруг он и сел, поглаживая ляжки.

— Студент! — скашивая на Сашу налившиеся кровью глаза, начинал он снова. — А ведь и гады мы с тобой! А? Папуасы! Сколько баб по деревням... Пошли домой!

— Иди ты к черту! — говорил Саша, брал ружье, брел в лес, а подумав, плелся за ним и Серега.

3

На пятый день Серега на охоту вечером не пошел, начистил сапоги, накиннул пиджак и отправился в клуб.

Саша один бродил по золотившемуся и розовевшему под низким смуглым солнцем жнивью, вспугивал перепелов, с наслаждением стрелял, бегал поднимать их — тугих, теплых, — клал в сумку и устало улыбался, вытирая рукавом пот.

Скоро стемнело и похолодало. Выйдя к реке, Саша разделся под кустами, забелел нежным худым телом, разбежался, взвизгнул, бухнулся и долго плавал, беспокоя гладкую, темную под берегом воду.

Освеженный, легкий, пришел он в деревню, отдал перепелов хозяйке, ужинать отказался, выпил только парного молока, пошел в сарай, немного помечтал по своему обыкновению и скоро уснул.

А Серега пришел поздно ночью, сопя, залез на сеновал, снял сапоги, разделся, потянулся, зевнул и полез под тулуп к Саше. Умявши подушку, устроившись и согревшись, он толкнул Сашу.

— Ну как, настрелял чего? — спросил он добродушно.

— Перепелок... — невнятно, сквозь сон сказал Саша.

— Ну! А я, брат, сегодня запохаживал. — Серега понизил голос: — Такую девку отколос! Третий двор с краю, видал? Оттуда. Девятнадцать лет, черт... Десятилетку кончила.

— Ты же не любишь девчонок, — не утерпел Саша и язвительно усмехнулся в темноте, уже окончательно проснувшись, с удовольствием нюхая, как пахнет подушкой и сеном.

— А это смотря по тому каких, — нашелся Серега.

— Как же ты с ней познакомился? — спросил, помолчав, Саша.

— Ну, это для меня не вещь! Любовь крутить да письма всякие писать — плевое дело!

Он сел, нашарил в темноте брюки, достал папиросы, закурил, лег и продолжал:

— Пишешь, к примеру, ты девке, к примеру, звать ее Люба... Пишешь: «С горячим приветом к вам, Люба, неизвестный вам передовой электрик Сергей Вараксин. Поскольку несем мы героическую вахту на благо всего советского народа, то я весьма интересуюсь, Люба, знать про ваши дела в вашей повседневной жизни и учебе».

Серега засмеялся от складности того, что говорил, и возвысил голос:

— Ты, Люба, писала в своем письме, что веришь в чистую дружбу. Вы, конечно, меня не знаете, но вы скоро меня узнаете путем переписки, а возможно, и личной встречи. А в этом вопросе современности я с вами целиком и полностью согласен и предлагаю свою горячую верную дружбу. Люба, напиши по этому поводу, какого вы мнения. А пока, Люба посылаю вам свою фото, какой взаимно жду и от вас...»

— А на фото, — добавил он, посмеиваясь, — надо написать так: «Люби меня, как я тебя, и будем мы навек друзья» или: «Пусть этот мертвый отпечаток напомнит образ мой живой».

— Бодяга какая-то, — сказал, тоже улыбаясь, Саша. — Да ты про сегодняшнее-то расскажи!

— Ничего не бодяга! — живо отвечал Серега. — Ты еще сопливый, не понимаешь! А такие слова на девок как кислота действуют. Ты со своей философией да с поэзией век дураком будешь. Эх, тебя бы к нашим корешам, они б тебя обработали! Парень ты на лицо симпатичный...

А сегодня так было. Пришел я в клуб. Ну, клуб у них никуда! Наш — новый, с колоннами, два года строили. А у них тут так... изба большая, пятистенка, без печки и без перегородки.

Пришел, закурил, выясняю положение. Народ собирается, но только сперва все девки, ребят нету. Пришел гармонист, начал скрипеть, девки — танцевать. Я к одной. «Разрешите, — это я ей говорю, — с вами пару подметок не пожалеть!» Танцуем. Я это сейчас тонкий намек ей на толстые обстоятельства, что, мол, не мешало бы ей уделить внимание в более подходящей обстановке.

А девка!.. Бока тугие, щеки так и трясутся. Ах ты, думаю, японский бог, в самый аккурат мой вкус! Ну, она мне в натуре отвечает, что она со мной согласна и внимание уделяет, только не таким, как я. Это, значит, я рылом не вышел. Ну, ладно... Вижу — занятая она, дохлое дело. Я опять попритих, выглядываю.

Вдруг смотрю, одна — молоденькая, красивенькая... Глазами так и стригет, губки красненькие, волосом черная, а я блондинок не обожаю вовсе. И главное, с девчонками все крутится, хихикает. А они, которые незанятые, всегда табунком держатся.

Ну, я заметил: глянула она на меня раз, другой. Я тогда к ней, оттираю ее в сторону... Тут движок застучал, дали свет, при свете-то она еще красивше оказалась. Пластики закрутили, станцевал я с ней пару раз, интересуюсь, кто, мол, такая. Говорит, телятница на ферме. Ну, ладно, предлагаю ей просвежиться. Выходим в сени, оттуда на крыльцо. Правда, ребята уже собрались, там у них все комсомольцы, сознательные,

паразиты, — в сенях курили, — кричат ей: «Галя, Галя!» — это ее Галей звать, — фонариками светят, а я боком на нее, шепчу: «Я, тебе, мол, чего-то сказать хочу...» Ну, она задрожала. Они, эти девки, всегда дрожат, прихватишь там ее под руку или лапнешь, она и затряслась.

Ну, она дрожит, а я ходом веду ее по дороге, назад глянул — никого не видеть, я давай к ней жаться, а сам покашливаю, молчу, делаю вид, что дюже смущен. «Ты чего, говорю, дрожишь? Замерзла?» — «Не знаю...» — это она-то. Ну, я сейчас ей свой пинжак на плечи. А это, студент, учти, первое дело — пинжак ей свой отдать. Как накинул, так она сразу как мышь.

Так я ее и проводил до самого двора, а пуще всего рад был, что попутно. А то, если б с Горок была, ошалеешь провожать-то! А тут ничего, соседи. За двор зашли, за зады, посидели на бревнышке, я ей про свою жизнь толкую, разливаюсь, говорю идейно, как из газеты, они, такие-то, это любят. А после обжимать начал. Она сперва побрыкалась, потом ничего, сомлела... Сопит, собака, трясется! Через неделю, увидишь, полный порядок в колхозе будет — я с ними умею!

— Подлец ты! — сказал Саша.

Сереге захохотал, задирая ноги, шлепая себя по ягодицам.

— Хотишь на спор? Ну? — весело предложил он. И, не дождавшись ответа, все еще улыбаясь, отвернулся, понюхал руки, поерзал, устраиваясь поудобнее, и заснул, вздрогнув несколько раз.

4

Перепали было дожди, и все быстро заосеняло.

Размокли дороги, крыши и стены дворов потемнели, не спеша, плотно и низко поползли с севера тучи, стало холодно, сено в сарае отсырело, и было страшно вылезать по утрам из-под тулупа.

Но скоро дожди кончились, и все опять засияло последней красотой позднего лета. Золотилась паутина в жнивье и кустах, опять подолгу кровенела, а потом желтела, зеленела вечерняя заря. Опять падала роса по утрам, воздух был резок, и все чаще крыши и траву обсыпал хрусткий иней.

По садам, по полям, по рябинам тучами летали скворцы. В ригах молотили, веяли, воздух был полон тонкими звуками работающих моторов, в город шли и шли машины с зерном, и тончайшая пыль висела сухим туманом над дорогой.

Сереге пропадал на гулянках. Охоту он совсем забросил, и Саша ходил один, ходил упорно, утром и вечером, хотя и ему уже не терпелось пойти в клуб. Ему теперь не с кем было перемолвиться словом, он часто задумывался, делался тоньше, отчетливее лицом, скулами. Глаза его стали прозрачнее, больше, и все пристальней смотрел он теперь на встречавшихся ему девушек.

А Сереге приходил ночью, шуршал сеном, ложился, начинал сопеть, ворочаться, и пахло от него духами и пудрой. Если Саша спал, Сереге будил его и начинал изводить разговорами о Гале.

И вот однажды Сереге пришел под утро и не разделся по обыкновению, а сел с краю, снял сапоги, свесил ноги, закурил и окликнул:

— Студент! Спишь ей нет?

— Ну что? — грубо отозвался Саша.

Сереге помолчал, покашлял, потом сказал:

— Пол-литра с тебя, студент! Проиграл ты.

— Врешь! — сказал Саша и сел.

— Чего мне врать? В милиции, что ли? — равнодушно возразил Серега, и по вялости, с какой он возразил, Саша понял: не врет!

И начал зачем-то обуваться, чувствуя боль в сердце и жалость к себе. Как будто что-то нехорошее, стыдное произошло именно с ним. А Серега повалился на спину, заложил за голову руки, потянулся, посмеялся и заговорил:

— Я еще дня три назад заприметил, что она одна у себя на сеновале спит. Ну, виду не даю, все так уговариваю... Нет, никак! Да ты куда это?

— Никуда, — сказал Саша, замирая, шаря по сену дрожащими руками.

— А мне вроде показалось... Ну, сегодня расстались все честь по чести, взошла она к себе, я за воротами остался... — Он вдруг засмеялся. — А сосед у них, старик шалавый, сад свой стережет. Выйдет в тулупе с ружьем и вот ходит, как тот часовой. Погломонили по деревне, тихо стало. Дай, думаю, яблочка... Полез. Через плетень перескочил, да неловко, ногами в хворост. Дед зашумел: «Ктой-то! стрелять буду! — и курком ка-ак щелканет! Я как брякнулся, так и лежу носом в землю, аж спина похолодела. Вот, думаю, нарвался, ударит в заднее место — вся любовь пропала! Ничего, постоял, отошел. Тут я яблочко пяток сорвал — и обратно. Хотел тебе пару снесть, да как-то замечтался, сам все съел.

Сижу это я на бревнышке, яблоки грызу, обдумываю положение, у самого уж руки-ноги отымаются, а кругом-то — темно-о! Сгрыз, снял сапоги и пошел. Взошел в сени, как вор какой, весь трясусь. Лезу по лестнице, не дышу, чтобы, значит, ни стуку, ни грюку... Голову вытягиваю, гляжу — где? Гляжу, лежит под самой стрехой. Пополз я по сену к ней... Да куда-то ты?

— Пошел к черту! — закричал Саша визгливо, нашаривая ногой перекладину. — Скотина! Идиот! У-у!

В нижней рубахе, успев надеть только сапоги, вышел он из сарая, пошел к дороге, сел на бревно возле мостика через ручей, сторбился, сотрясаясь от озноба, от тоски и гадливости.

А минут через пять, одетый, вышел на улицу Серега, огляделся, увидел Сашу, подошел, сел на другом конце бревна.

— Чего ты, студент? — спросил он насмешливо. — Ай завидно? Я тебе, дуре, давно говорил, брось ты охоту — всему свое время. Ну, хотишь, и тебя познакомлю? У Гальки подружка есть, одинокая, скучает. Та, верно, не такая красивая, ну да тебе и та сойдет... А?

Саша молчал, отвернувшись. Ему было горько и одиноко. За деревней послышались голоса, потом показались темные фигуры — гурьбой шли по дороге, посвечивая папиросами. Подойдя к мостику, замолчали и остановились, приглядываясь.

— Он? — неуверенно спросил кто-то.

— А ну, пойдём...

И они все сразу завернули и пошли к охотникам. Серега поднялся, расставил ноги, сунул руки в карманы. Ничего не понимая, но предчувствуя что-то ужасное, поднялся и Саша.

— Закурить есть? — спросил кто-то из подошедших.

— В сарае... — не своим голосом сказал Серега.

— Постой! — выдвигаясь, сказал низкий крепкий парень в солдатской фуражке и цепко схватил Серегу за рукав. — Гальку знаешь?

— Ну чего ты... Брось! — слабо сказал Серега.

— А чего тебе в клубе говорили, помнишь, сука?

— Да что вы, ребята... — бормотал Серега, начиная дрожать. — Я же свой, деревенский! Не надо, ребята! А с ней я не встречаюсь больше...

— Ага, не встретишься! — с бешенством повторил державший его и часто дышал.

— Вот гад буду! Честно говорю... Завтра же уеду!

— Ага, уедешь! — все так же бессмысленно, распаясь, повторил коренастый.

Но тут, кашлянув, придвинулся к ним другой, высокий, гибкий, в галифе и сапогах, с пучком каких-то белых цветов в кармане пиджака.

— Пстой, Петя! — неестественно ласково сказал он, отодвигая коренастого. — Я же его знаю! Он парень свой! Не надо его бить...

И, пригнувшись, придушенно ахнув, ударил Серегу в душу. Серега тяжело повалился, потом вскочил, но на него кинулись сразу двое и снова сбили с ног.

Саша хотел остановить их, но его перехватил здоровый парень, ударил слегка, но так, что у Саши зазвенело в голове, схватил за ворот рубашки крепкой бугристой рукой, начал душить и глухо бормотать:

— Тихо, тихо... А то кровь с зубов пойдет... Тихо!

И все смотрел туда, в темноту. А там, толкаясь, мешая друг другу, били и били что-то вскрикивавшее и хрипевшее при каждом ударе. И особенно ловок был высокий парень с белыми цветочками в кармане пиджака. Он приговаривал, задыхаясь: «Не надо... Бросьте, ребята! За что?» — подскакивал и бил Серегу по голове и животу.

— Да что же вы делаете? — закричал изумленный бабий голос с ближнего двора.

Парень, державший и встряхивавший в возбуждении Сашу, бросил его, кинулся к своим, растолкал их, и все вместе они побежали в темноту задами по сырому луку.

Оставшись один, Саша вытянулся и оцепенел, глядя на валявшегося возле мостика Серегу. И когда прибежали люди, когда, засветив электрическими фонариками, стали спрашивать, кого и за что били, не мог ничего сказать, только стучал зубами и дрожал коленками.

Серегу понесли к сараю, посадили на порог, стали светить на него, ощупывая, разглядывая голову и тело. Закидывая лицо, Серега фыркал кровью и плакал.

— Ничего, цел! — бодро сказал кто-то, осмотрев Серегу и вытирая сеном руки. — Отлежится!

Запыхавшись, пришла фельдшерица в белом халате, обмыла, смазала и завязала Сереге голову. Потом с сеновала сбросили вниз сена, подушку, Серегу уложили, и все скоро разошлись.

Всю ночь Серега стонал, сморкался, плевал кровью, ругал Сашу, Москву и охоту. А утром прибежала Галя, и Саша, впервые увидевший ее, чуть не ахнул: так хороша, так откровенна и стыдлива одновременно была она в своей любви.

— Что они с тобой сделали? Да что же это, господи! — горячо зашептала она, со страхом глядя на забинтованную голову Сереги.

— А вот погляди! — отвечал Серега, раздвигая бинты, показывая черное лицо и злобно глядя запухшими глазами на Галю. — Видала? Все из-за тебя, стерва! Сегодня же уеду, на хрена мне такая самодеятельность!

— Сережа... — сказала она, опускаясь на колени. — Не нужно, не говори так... Мы на них в милицию подадим...

— Уйди от меня! — сказал Серега, отворачиваясь.

Галя взглянула на Сашу, мучительно покраснела, слезы выступили у нее на глаза. Саша схватил ружье, выскочил из сарая и побрел лугом к лесу, чувствуя опять вчерашнюю тоску, обиду, зависть...

И, как нарочно, был в тот раз чудесный день, особенно тихий, особенно нежный, совсем летний, но бледный и грустный уже по-осеннему.

Целый день, горяча себя, ходил и стрелял Саша, стараясь рассеяться, прогнать тоску усталостью, но уже ни о чем не мог думать, кроме как о Гале.

«Ни стуку, ни трюку...» — с едкой усмешкой вспоминал он. И опять спотыкался на кочках, лазил по оврагам, ел малину и дикую смородину, пьянея от их душного

запаха, стрелял, — эхо звонко и резко отдавалось в лесу, и дым пеленой падал на траву.

Измученный, похудевший, пришел он в деревню, отворил дверь в сарай и сразу понял с презрением: Серега уехал.

— У-у, животное! — сказал Саша, положил на сено ружье и пошел к хозяевам. Старик только что проснулся, сидел на лавке с опухшим бессмысленным лицом, шарил темной рукой по клеенке, сгоняя мух.

— Сергей-то? — переспросил он. — Уехал. Н-да... Днем еще подался, дюже расстроился. Два рубля оставил, — грустно усмехнулся он. — Вот как, два рубля, говорю... А ты ай останешься? Ну-ну... Гляди сам. Сарая, сена не жалко. Это кто ж его? Или левошкинские? Я и гляжу: милиция туды погнала. Ловко они его!

Он полез на печь, достал буро-зеленых листов самосада, стал тереть на ладони.

— Сама садик я садила... — бормотал он, зевая. — Ну, как охота-то? Ай никого не попало? Это дело на любителя, конечно. Что, ай и в самом деле снюхались они? Не знаешь? Ну-ну...

Он закурил, сладко задымил, закашлялся, краснея лысиной, прижмуриваясь, вытирая шершавой рукой выступившие слезы,

— Настя! — крикнул вдруг он в сени. — Нацеди-ка нам бражки по баночке... Да не отседа! — прислушавшись, опять закричал он. — Той, которая у ведре!

А когда совсем стемнело, опьяневший, расстроенный, пришел Саша в сарай, забрался на сеновал, повалился и стал тереть онемевшее лицо. Ему вдруг захотелось домой. «Уеду к черту! — тоскливо решил он. — В Москве ребята, девчонки, розыгрыш по футболу... Уеду!»

Он стал думать о Москве, о знакомых девочках, и скоро у него разгорелось лицо от волнения. И жизнь, которой он жил все эти дни, охота, стыдливое, но уже и порочное, как ему казалось, лицо Гали, Серега, звук молотилок, ночная драка, красота осени — все это сразу стало далеким, ушло куда-то, точно так же как ушла вся его прошлая жизнь, когда он поздно ночью слез с поезда в Мятлеве.

1960

КАБИАСЫ

Заведующий клубом Жуков слишком задержался в соседнем колхозе. Дело было в августе. Жуков приехал по делам еще днем, побывал везде и везде поговорил, хотя и неудачный был для него день, все как-то торопились: горячая была пора.

Жуков, совсем молоденький парнишка, в клубе еще и году не работал и был поэтому горяч и активен. Родом он был из Зубатова, большого села, а жил теперь в Дубках, в маленькой комнатке при клубе.

Было бы ему сразу ехать домой, и машина на Дубки шла, но он раздумался и пошел к знакомому учителю, хотел поговорить о культурном. Учитель оказался на охоте, должен был давно вернуться, но что-то запаздывал, и Жуков стал его уныло ждать, понимая уже, что все это глупость и надо было ехать.

Так он и просидел часа два, покуривая в окошко и вяло переговариваясь с хозяйкой. Он даже задремал было, но его разбудили голоса на улице: гнали стадо, и бабы скликали коров.

Наконец ждать не стало смысла, и Жуков, разозленный на неудачу, выпив на дороге кислого квасу, от которого тотчас стали скрипеть зубы, пошел к себе в колхоз. А идти было двенадцать километров.

Старика Матвея, ночного сторожа, Жуков догнал на мосту. Тот стоял в драной зимней шапке, в затертом полушубке, широко расставив ноги, придерживая локтем ружье, заклеивал папиросу и смотрел исподлобья на подхитившего Жукова.

— А, Матвей! — узнал его Жуков, хоть и видел всего два раза. — Что, тоже на охоту?

Матвей, не отвечая, медленно пошел, скося глаза на папиросу, достал из-под полы спички, закурил,дохнул несколько раз и закашлялся. Потом, царапая ногтями полу полушубка, спрятал спички и тогда только сказал:

— Какое на охоту! Сад стерегу ночью. В салаше.

У Жукова от кваса все еще была оскоми́на во рту. Он сплюнул и тоже закурил.

— Спишь небось всю ночь, — сказал он рассеянно, думая, что зря не уехал давеча, когда была машина, а теперь вот надо идти.

— Как бы не так — спишь! — помолчав, значительно возразил Матвей. — И спал бы, да не дают...

— А что, воруют? — иронически поинтересовался Жуков.

— Ну, воруют! — усмехнулся Матвей и пошел вдруг как-то свободнее, как-то осел и вроде бы отвалился назад, как человек, долго стесняемый, вышедший наконец на простор. На Жукова он не взглянул ни разу, а смотрел все по сторонам, по сумеречным полям. — Воровать не воруют, браток, а приходят.

— Ну? Девки, что ли? — спросил Жуков и засмеялся, вспомнив Любку и что сегодня он ее увидит.

— А эти самые... — невнятно сказал Матвей.

— Вот дед! Тянет резину! — Жуков сплюнул. — Да кто?

— Кабиасы, вот кто, — загадочно выговорил Матвей и покосился впервые на Жукова.

— Ну, повез! — насмешливо сказал Жуков. — Бабке своей расскажи. Какие такие кабиасы?

— А вот такие, — сумрачно ответил Матвей. — Попадешь к им, тогда узнаешь.

— Черти, что ли? — делая серьезное лицо, спросил Жуков.

Матвей опять покосился на него.

— Такие, — неопределенно буркнул он. — Черные. Которые с зеленцой.

Он вынул из кармана два медных патрона и сдул с них махорочный сор.

— Вот, глянь, — сказал он, показывая бумажные пыжи в патронах.

Жуков посмотрел и увидел нацарапанные чернильным карандашом кресты на пыжах.

— Наговоренные! — с удовольствием сказал Матвей, пряча патроны. — Я с ими знаю как!

— А что, пристают? — насмешливо спросил Жуков, но, спохватившись, опять сделал серьезное лицо, чтоб и показать, что верит.

— Не так чтобы дюже, — серьезно ответил Матвей. — К салашу не подходят. А так... выйдут, значит, из теми один за одним, под яблоней соберутся, суршат, брякочуть, махонькие такие, станут так вот рядом... — Матвей опустил глаза на дорогу и повел перед собой рукой. — Станут и песни заиграют.

— Песни? — Жуков не выдержал и прыснул. — Да у тебя не похуже, чем у нас в клубе, — самодеятельность! Какие песни-то?

— А так, разные... Другой раз дюже жалостно. А потом и говорят: «Матвей, а Матвей! Подь сюда! Подь сюда!»

— А ты?

— А я им: «Ах вы, под такую мать!.. Брысь отседа!»

Матвей любовно усмехнулся.

— Ну, тогда они начинают к салашу подбираться, а я сейчас наговоренный патрон заряжу, да кэ-эк ахну!..

— Попадаешь?

— Попадаешь! — презрительно выговорил Матвей. — Нячистую силу рази убьешь? Так, разгоню маленько до утра, до первого петуха...

— Да! — помолчав, сказал Жуков и вздохнул. — Плохо, плохо!

— Кого? — спросил Матвей.

— Плохо у меня дело с атеистической пропагандой поставлено, вот что! — сказал Жуков и поморщился, оглядывая Матвея. — Небось и по деревне брешешь, девок пугаешь? — строго спросил он, вспомнив вдруг, что он заведующий клубом. — Кабиасы! Сам ты кабиас!

— Кого? — опять спросил Матвей, и лицо его вдруг стало злобно и внушительно. — А вот мимо лесу пойдешь?

— Ну? И пойду!

— Пойдешь, так гляди — навряд домой придешь. Они тебя пирнясут.

Матвей отвернулся, ничего более не сказав, не простившись, быстро пошел полем к темневшему вдали саду. Даже в фигуре его видна была сильнейшая озлобленность.

Оставшись один на дороге, Жуков закурил и огляделся. Наступали сумерки, небо на западе поблекло, колхоза сзади почти не стало видно, темнели только кое-где крыши между тополей да торчали антенны телевизоров.

Слева виден был березовый лес. Он уступами уходил к горизонту. Было похоже, будто кто-то по темному начиркал сверху вниз белым карандашом. Сперва редко, подалее — чаще, а в сумерках горизонта провел поперечную робкую светлую полосу.

Слева же видно было и озеро, как впаянное, неподвижно стоявшее вровень с берегами и одно светлевшее на всем темном. На берегу озера горел костер, и на дорогу наносило дым. Падала уже роса, и дым был мокрым.

А справа, в сумрачных лугах и просеках, между темными мысами лесов, с холма на холм шагали решетчатые опорные мачты. Они были похожи на вереницу огромных молчаливых существ, заброшенных к нам из других миров и молча идущих с воздетыми руками на запад, в сторону разгорающейся зеленоватой звезды — их родины.

Жуков опять оглянулся, все еще надеясь, что, может быть, пойдет попутная машина. Потом зашагал по дороге. Он шел и все поглядывал на костер и на озеро. Возле костра никого не было. Не видно было ни души и на озере, и одинокий огонь, неизвестно кем и для чего зажженный, производил странное впечатление.

Жуков шел сначала нерешительно, покуривая, оглядываясь, поджидая машину или попутчика. Но ничего не было видно ни спереди, ни сзади до самого горизонта, и Жуков наконец решился и зашагал по-настоящему.

Он прошел километра четыре, когда стало совсем темно. Одна только дорога светлела, перебирая кое-где туманом. Ночь наступала теплая. Только когда Жуков попадал в туман, его охватывало холодом. Но потом Жуков опять выходил в теплое, и эти переходы от холодного к теплому были приятны.

«Темный у нас народ!» — думал Жуков. Он шел, сунув руки в карманы, двигал бровями и вспоминал лицо Матвея, какое оно сразу стало злобное и презрительное, когда он посмеялся над ним. «Да, — думал он, — надо, надо усилить атеистическую пропаганду. Суеверия надо искоренять!» И ему еще больше захотелось поговорить с кем-нибудь о культурном, об умном.

Потом он стал думать, что пора бы ему перебраться в город, поступить куда-нибудь учиться. И тут же по своему обыкновению стал он воображать, как дирижирует

хором не в колхозном клубе, где нет даже кулис и где ребята покуривают в зале и пересмеиваются, а в Москве и что хор у него в сто человек — академическая капелла.

Как всегда, от подобных мыслей он почувствовал радостное оживление и уже ничего не замечал кругом, не обращал внимания ни на звезды, ни на дорогу, шел неровно, сжимал и разжимал кулаки, двигал бровями, принимался напевать и усмехаться, не боясь, что кто-нибудь увидит его. Он даже рад был, что идет один, без попутчиков. Так он и дошел до пустого сарая близ дороги и сел на бревно отдохнуть и покурить.

Когда-то был здесь хутор, но после укрупнения колхоза хутор снесли, остался один сарай. Сарай был раскрыт и пуст. В нем, кажется, и двери даже не было. Был он темен и скособочен, а в дыре дверей, в глубине его, стояла особенно глухая чернота.

Жуков сидел, поставив локти на высоко поднятые колени, лицом к дороге, спиной к сараю, курил, остывая постепенно, и думал уже не о консерватории, а о Любке, решая, как бы ее наконец половчее поцеловать, когда почувствовал, что на него смотрит кто-то сзади.

Он понял вдруг, что сидит во тьме один, среди пустых полей, среди загадочных темных пятен, которые могут быть кустами, а могут быть и не кустами.

Он вспомнил Матвея, жестко-вещное лицо его напоследок и пустынное немое озеро с костром, неизвестно для чего зажженным.

Затаив дух, он медленно оборотился и взглянул на сарай. Крыша сарая висела в воздухе, даже звезды были видны в промежутке. Но только он взглянул на нее, как она села на сруб, а за сараем что-то с топотом побежало в поле с заданным однообразным криком: «О!.. О!.. О!..» — все дальше и глуше. Волосы у Жукова поднялись, он вскочил и прыгнул на дорогу.

«Ну, — подумал он, — пропал!» — и ударился по дороге. Воздух загудел у него в ушах, а в кустах по сторонам что-то ломилось, сопело, дышало ему в спину холодом. «Перекреститься надо! — думал Жуков, чувствуя, как пытаются схватить его сзади холодными пальцами. — Господи, в руки твои...» А перекрестившись, остановился, не в силах уже бежать, и обернулся, но не было никого на дороге, ни в поле, и сарая не стало видно. Жуков утерся рукавом, не спуская глаз с дороги, и сказал себе хрипло:

— Ха! — и вздрогнул, испугавшись себя. Потом кашлянул, послушал и опять сказал, стараясь, чтобы не вздрагивал голос: — Хо! Хо! Эй!..

Отдышавшись, Жуков торопливо зашагал, с лихорадочной тоской соображая, как далеко ему еще идти, какая ночь и тьма кругом и что лес, на который загадочно намекнул ему Матвей, еще впереди.

Дорога спустилась к речке, и Жуков, как во сне, громадными скачками перенесся через мост над черной водой и зарослями ивы. Под мостом загукало, но Жуков даже не разобрал, был ли то действительно звук или ему показалось. «Ну погоди, я до тебя доберусь!» — со страхом думал Жуков о Матвее, поднимаясь на пригорок, на котором, он знал, начинается лес.

Лес начался росой и сыростью. Что-то мощно дышало из глубины его, вынося в теплый полевой воздух запах прели, грибов, воды и хвои. Направо — в лесу — стоял густой мрак. Налево — в поле — было виднее. Сияли наверху звезды, чем позднее, тем все густевшие. Небо, хоть и черное, все-таки слабо дымилось светом, и деревья выделялись на его фоне твердыми силуэтами.

Из лесного мрака с какого-то сука сорвалась сова, со слабым шорохом перелетела и села впереди. Жуков услышал ее, но не видел, как ни старался. Видел он только, как, перечеркивая звезды, закачался сук, на который она села. Подходя к ней, Жуков снова спугнул ее, и она стала летать кругами, захватывать часть поля и тотчас возвращаясь в лесную тьму. И теперь Жуков ее увидел. На горизонте за полями еще тлел остаток зари, даже не остаток, а просто небо там было размытее, невещественней, и сова, пролетая, мелькала каждый раз там беззвучным темным пятном.

Косясь на сову, Жуков спотыкался о корневища и нехорошо о ней думал. Глянуть направо в лес или назад он совсем не смел. А когда все-таки глянул вперед по дороге, мороз продрал его по спине: впереди и немного слева, перейдя из лесу через дорогу, стояли и ждали его кабиасы. Маленькие были они, как и говорил Матвей. Один из них тотчас хихикнул, другой жалобно, как давеча за сараем, простонал: «О-о... О-о...», — а третий крикнул перепелиным победным голосом: «Подь сюда! Подь сюда!»

Жуков стукнул зубами и помертвел. Он и перекреститься не мог, рука не поднималась.

— А-а-а!.. — заорал он на весь лес и вдруг понял, что это елочки. Весь дрожа, как собака перед стойкой, сделал он к ним шаг и еще шаг... За елочками что-то зашуршало и покатилося с беспокойным криком в поле.

«Птица!» — догадался Жуков, радостно переводя дыхание и поводя плечами под намокшей рубахой. Духом пронесаясь мимо елочек, он вытащил папиросу, достал было и спички, но тут же сообразил, что если зажжет спичку, его сразу заметят во всем лесу. Кто заметит, он не знал и боялся думать, а знал, что заметят.

Жуков присел, посмотрел понизу по сторонам, натянул на голову пиджак и так, под пиджаком, прикурил. «Пойду полем!» — решил он. Идти лесом, дорогой он больше не мог, а в поле хоть и было страшно, но не так.

Он прошумел начинающимся по опушке орешником, вышел на открытое и зашагал вдоль леса, далеко обходя все чернеющее на его пути и беспрестанно посматривая направо. Сова все летала, везде шуршало и попискивало, а то где-то в самой глубине леса, в оврагах раздавался не то крик, не то стон и долго колебался в воздухе, перекатываясь, как эхо, по опушкам.

Но вот лес кончился, опять зазмеилась пыльная светлая дорога. Жуков вышел на нее и, повизгивая от страха, не оглядываясь, побежал крупной рысью, прижимая локти к бокам, как бегун. Он бежал, воздух погукивал у него в ушах, лес отходил все дальше, пока не стал едва заметной четкой полосой. Жуков уже решил ни на что не смотреть и начал уже радоваться, начал, подлаживаясь под бег, напевать про себя что-то однозвучное и неестественно веселое: «Ти-та-та! Ти-та-та!» — как вдруг снова резко осадил и вытаращился.

То, что он увидел, не было на этот раз ни деревом, ни птицей, как он уже привык, а было что-то живое, что подвигалось ему наперерез по меже. Не было оно похоже ни на человека, ни на корову, ни на лошадь, а имело вид неопределенный. Жуков слышал уже ясно похрустывание бурьяна на меже, мягкое попрыгивание, слабое постукивание...

— Кто это? — раздался звучный голос.

Жуков молчал.

— Знакомый, нет? — обеспокоенно спросил голос уже с дороги.

Жуков теперь понял, что его окликают, что к нему подходит человек и ведет велосипед, но ответить не мог по-прежнему, только дышал.

— Жуков? — неуверенно догадался человек, подойдя вплотную и приглядевшись. — Здорово! Чего ж молчишь-то? А я думаю, кто бы это? Спички есть? Дай-ка прикурить...

Теперь и Жуков узнал Попова из райкома комсомола. Руки у Жукова так дрожали, что спички в коробке гремели, когда он давал их Попову.

— Откуда? — прикурив, спросил Попов. — А я, понимаешь, сбился. Еду к вам, да поворот прозевал, задумался... Вымахал уж к Горкам, да с той дороги сюда — по меже... Да ты что?

— погоди... — сипло сказал Жуков, чувствуя слабость и головокружение. — погоди...

Он стоял, виновато усмехаясь, не мог никак справиться со слабостью, окатывался потом и коротко дышал. Пахло пыльным твердым подорожником.

— Заболел, что ли? — испуганно спросил Попов.

Жуков молча кивнул.

— А ну, садись! — решительно сказал Попов и развернул велосипед. — Держись за руль. Ну!

Попов разогнал неровными толчками велосипед, вскочил на седло, сильно вильнув при этом, сдунул упавшие на лоб волосы и покатил в Дубки.

Жуков сидел на раме, ему было жестко и стыдно. Он чувствовал, как тяжело идет велосипед по пыли. Попов горячо дышал ему в спину, поталкивал коленками.

Почти всю дорогу оба молчали. Наконец показались огни колхоза, и Жуков шевельнулся.

— Постой-ка... — сказал он.

— Сиди, сиди! — задыхаясь, ответил Попов. — Тут немного, вот до медпункта доедем...

— Да нет, тормозни... — морщась, сказал Жуков и вытянул ногу, цепляясь за землю.

Попов с облегчением затормозил. Они соскочили с велосипеда и некоторое время стояли молча, не зная, о чем говорить. Рядом была конюшня, лошади услышали голоса, забеспокоились, переступая подковами по настилу. От конюшни сильно и приятно пахло навозом и дегтем.

— Дай-ка спичек, — попросил опять Попов.

Он закурил и долго с удовольствием вытирал пот с лица и шеи. Потом расстегнул ворот рубахи.

— Ну как? Полегчало? — с надеждой спросил он.

— Теперь ничего, — торопливо сказал Жуков. — Квасу я выпил. Наверно, от него.

Они медленно пошли по улице, слушая затихающие звуки большого жилья.

— Как в клубе дела? — спросил Попов.

— Так себе... Сам знаешь, уборка, народ занят, — рассеянно ответил Жуков и вдруг как бы вспомнил: — Да, не знаешь слова такого — «кабиасы»?

— Как, как? Кабиасы? — Попов подумал. — Нет, не попадалось. А тебе зачем, для пьесы, что ли?

— Так чего-то на ум пришло, — уклончиво сказал Жуков.

Они подошли к клубу и подали друг другу руки.

— Спички-то возьми, — сказал Жуков. — У меня дома есть.

— Ладно. — Попов взял спички. — А ты молока попей, помогает от живота...

Он сел и поехал к дому председателя, а Жуков прошел темными сенями и отомкнул свою комнату. Попив холодного чая, он покурил, послушал в темноте радио, открыл окно и лег.

Он засыпал почти, когда все в нем вдруг повернулось, и он, будто сверху, с горы, увидел ночные поля, пустынное озеро, темные ряды опорных мачт с воздетыми руками, одинокий костер, и услышал жизнь, наполнявшую эти огромные пространства в глухой ночной час.

Он стал переживать заново весь свой путь, всю дорогу, но теперь со счастьем, с горячим чувством к ночи, к звездам, к запахам, к шорохам и крикам птиц.

Ему опять захотелось говорить с кем-нибудь о культурном, о высоком — о вечности, например; он подумал о Любке, соскочил с койки, потопал босиком по комнате, оделся и пошел вон.

НЕСТОР И КИР

1

Пять дней уже бушует море. Пять дней каждое утро я слышу его рев, смотрю в окно и вижу все одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта, пустынный берег и серые избы на пригорке.

Скучно! Скучно ждать, ни к чему не лежит душа, хочется дальше, но яростная, неукротимая сила не пускает меня. Сила эта — ветер и волны, которые захлестывают узкое пространство берега возле гор.

И я опять иду к соседу смотреть ружье, которое он продает мне. Ружье старое, грязное, но мне как-то оно нравится, и не оставляет мысль купить его.

Вхожу в теплую, кислую избу — хозяин на кухне, наваривает капроновую нить, сильно ширкает по ней то варом, то воском. Во рту у него щетина.

— Чаю попьем? — мурчит он.

— Давай, — вяло соглашаюсь я.

Хозяин оставляет дратву, колет лучину, гремит самоварной трубой. Долго и молча потом пьем чай.

— Ну так как? — спрашивает наконец хозяин. — Надумал?

— Дай еще раз гляну, — прошу я.

Он выносит ружье. Я открываю его, десятый раз смотрю в ствол, разглядываю побитый, поцарапанный замок.

— Ты что, — спрашиваю, — гвозди им забивал?

— Ты сверху не гляди, ты гляди внутрь. Она бьет... — он подыскивает сравнение, — корову насквозь просадит!

— Ладно, корову! — говорю я и кладу ружье на лавку.

Опять пьем чай, говорим о погоде, о дороге. Идти мне нужно берегом совершенно пустым на шестьдесят километров. Будут, правда, попадаться мне тони, иногда заброшенные, будут по дороге горы, подходящие к самой воде. Берег — камни, метров в пять шириной. При спокойной воде и во время отлива пройти можно, но в шторм берегом не пройдешь, нужно лезть горами, а в горах масса ущелий — ручьев по-здешнему. Хозяин говорит, что обошел все Белое море, и на Терском, и на Зимнем берегах, но такого страшного места не видал.

Как-то мне грустно это предстоящее путешествие. Не расстояние пугает меня и не горы, а одиночество. Когда идешь и никого нигде нет и ты одинок, когда одинокое тоже солнце садится в море, когда черные покосившиеся кресты — это так нехорошо, будто весь мир вымер и ты остался один на земле.

— А погода отдавает, завтра пойдешь, — говорит хозяин.

Попив чаю, думаю некоторое время, чем бы заняться, потом выхожу, оглядываю морс, стараясь заметить в нем хоть какой-нибудь намек на успокоение, и захожу к Пеллаге Тимофеевне — восьмидесятилетней старухе. Старуха эта, старая дева, вдоволь почитала священных книг, вдоволь их потолковала, толкует их она и сейчас и предсказывает скорый конец света.

Земля будет сожжена на десять локтей в глубину. Города разрушатся, и в них останется по десять человек, а в деревнях — по два. И люди станут искать друг друга, чтобы вместе начинать новую жизнь. Эта война будет последней, она же явится концом света и началом новой жизни.

И горько плачет эта старуха. Тридцать лет прошло с того времени, а она все помнит и все тужит о прежней (живой) жизни.

Дом у нее чудесный, в два этажа, с лесенками, со множеством комнат. Вообще здесь любят комнаты, и никто не строит избу общей или с перегородками не до потолка, как принято это у нас в Средней России.

Старуха не видит уже семнадцать лет — у нее бельма и зрачки рассосались. С удивлением она говорит: «Во снах вижу все, людей вижу, море, как в церкви служат, а встану — и прошай все...»

Сегодня серый день, море утихло. Я подбил каблук, мажу сапоги, собираюсь в дорогу, и весь пропах дегтем. Вычистил также и смазал ружье, которое не чистили, наверное, лет пять. В этот день мне надо дойти до тони Каменка и там заночевать. Говорят, живут там два рыбака...

Море было спокойно, и этот покой так радостен, так интимен и таинствен после стольких дней шума и воя! Позванивали, булькали волны, и похоже было, что кто-то говорил несколько удивленно, восклицал что-то с бесконечной переменной интонацией или окликал меня — то сзади, то спереди.

На мне были джемпер, куртка, плащ, зимняя шапка, рюкзак килограммов в двадцать, ружье, удочки и в кармане — черные, позеленевшие патроны. Я вспотел уже через километра три, но быстро шел по самому краю воды, пользуясь отливом: здесь особенно гладок, плотен песок и легко идти.

Пройдя за три часа пятнадцать километров, я так устал, что вдруг свернул от воды, стащил рюкзак и сапоги, лег, закурил и сразу уснул. А проснувшись, заковылял на разбитых ногах дальше.

Начались камни. Начались потрескавшиеся плиты и валуны. Из трещин торчали рыжие водоросли. Но попадались места, где камни были величиной в кулак. Ноги у меня подвертывались и дрожали. Я брел из последних сил, оступался, спотыкался, скрипел зубами при каждом шаге, чувствуя только одно — свои разбитые ноги. Но впереди у меня было, как я думал, тепло избушки, был чай и крепкий сон в тепле. Последние четыре километра я шел два часа. Я пришел к тоне, когда начало темнеть, сделав за первый день двадцать семь километров.

Избушка была пуста — рыбаки куда-то уехали. Я открыл ее и вошел. Внутри было холодно. Я разыскал поблизости ручей, набрал воды в чайник, развел костер из плавника. Избушка топилась по-черному, я затопил печь, и сразу стало дымно — дым плавал под потолком, лениво выползая в отдушину. Внизу был чистый воздух, наверху плотный сизо-зеленый дым. Если выпрямиться, дым доходил до груди. Приходилось ходить и сидеть скорчившись. Печь горела плохо, тускло, без оживления, и в избушке ничуть не теплело. На потолке была сажа в два пальца толщиной, хлопьями, лохматая.

Я пил чай, в печи догорали угли — сквозь дым чело печи было как пещера гномов, озаренная горнами. Я закрыл отдушину, заложил палкой дверь и лег, укрывшись плащом. Я заснул в этой избушке на парусе, под которым были телогрейки и мотки веревок. А через часа два проснулся от странного ощущения, которое не оставляло меня и во сне — будто я начал путешествие в прошлое и ушел далеко, за сто лет, в древность. Да, я далеко ушел в этой избе с запахом рыбы и дыма, в этой холодной темноте, одетый, под плащом, на жестких нарах!

Еловый ручей прорезает горы. В устье его на берегу навалены громадные камни. Я стал подниматься вверх по камням, как по лестнице. Где-то наверху, мне сказали, ручей этот пересекает телефонная линия с тропой вдоль нее. Тропа выводит к маяку.

На полпути я сел отдохнуть. Звенела и бормотала в каменном ложе коричневая вода. В ущелье было видно море, горизонт его тоже как бы поднялся вместе со мной, и оно стояло в просвете между красных скал голубой стеной.

Как все-таки прекрасно это ущелье, какая дикость, какая осень — пурпурная, ликующая, солнечная, каким золотым светом горят лиственницы, почему тут нет дома, почему нельзя тут пожить месяц и поработать до ломоты в костях!

Дойдя до телефонной линии, я свернул на тропу и стал опять карабкаться вверх. Папоротник сплошной стеной окружал меня. Здесь, в затишье, в горном распадке, злой ветер был не страшен и осень еще не пришла, задержалась, кое-где только начинали рдеть отдельные ветки. Через час я был наверху, подошел к обрыву — огромное пространство моря открылось мне, и не хотелось больше никуда идти.

А тропа дальше стала еще мучительней — она шла болотами, сбегала вниз, к ручьям, и опять вела круто вверх. Восьмикилометровый путь до маяка я прошел за пять часов.

На маяке я узнал, что дальше горами идти невозможно: семь ущелий, из которых четыре очень глубоких. Значит, опять берегом и опять камнями. Еще пятнадцать километров камней, а там пойдет песок... До деревни Кеги, куда я держал путь, был еще тридцать один километр.

О чем думать в пути? Когда идешь, шаг за шагом отдаваясь тяжелому ритму пути, внимание все поглощено дорогой, камнями, которые попадают под ноги, тяжестью рюкзака, стертymi ногами... Опять тяжелая дорога, спокойное море, мелкий дождь и низкое холодное небо. Спустившись с высоченного обрыва, на котором стоит маяк, снова ступаешь на каменистый берег, и снова слева скалы, справа море — сумрачное, холодное, но спокойное.

Я убил двух доверчивых милых куликов. Они долго перебежали от меня по камням... Сняв ружье, взведя курок, я спокойно шел мерным шагом и, выждав момент, когда они подпустили меня поближе — выстрелил. Один не шевельнулся даже, другой низко отлетел на несколько метров. Перезарядив ружье, я подошел к нему. Он был ранен, наверное, в смертельной истоме слабо поднялся, и я убил его вторым выстрелом. И как-то грустно и досадно мне стало.

Какую власть все-таки имеют над нами воспоминания! Давеча на маяке я разговаривал о качестве своих сапог, привел в пример свое весеннее путешествие по Оке и вдруг вообразил Поленовский дом, вечер 1 Мая, когда мы — продрогшие, грязные, обородатевшие после поездки, сидели в столовой, топили камин, пили доппель-кюммель, наслаждаясь уютом, светом большой лампы под фарфоровым колпаком, среди картин и этюдов Левитана, Врубеля, Коровина, развешанных на стенах.

И, вспомнив все это, вспомнив еще окские дали, леса и дуга по берегам, весну, сырые овраги, засыпанные прошлогодним жухлым листом, лопнувшими желудями, первое щелканье соловьев, дымок костра, разложенного возле сторожки бакенщика, — я вдруг почувствовал такую отдаленность от всего этого, такую зависть ко всем своим прежним счастливым дням, так захотелось мне не видеть больше этой угрюмой дикости, что даже в сердце вступило.

Между тем мыс впереди сменялся новым мысом, пока не показались в море тайники, а на берегу избушка. Это я дошел до тони Варзуга. Было там двое рыбаков, один молоденький, другой постарше — глухонемой. Я передохнул, помолчал... Молчали и рыбаки.

Изба, как и все тони, грязна, закопчена, спят на каком-то тряпье, нары в два яруса, но весь народ на сенокосе, двое только здесь. Молчание становилось тягостным. Один раз только молодой рыбак сказал скороговоркой, глядя в окно:

Чайки ходят по песку,
Рыбакам сулят тоску...

Оглянулся на меня, засмеялся и замолк — принялся выделывать из пенопластика рукоятку для рыбацкого ножа. За окном молча тяжело летели чайки, садились на песок, темные при темном дне.

Через полчаса должна была идти в сторону Кеги дора. Я так устал, что остался ждать ее — и напрасно: час проходил за часом, а доры все не было.

Я дремал и просыпался, рыбаки все молчали. Несколько раз пытался я завести разговор с молоденьким, он улыбался охотно, но кратко отвечал и опять умолкал. Один раз только рыбаки вышли из оцепенения: молоденький топнул ногой, глухонемой взглянул на него, молоденький кивнул за окно, оба поднялись, натянули куртки и поехали смотреть тайник. Вернулись с одной кумжей, скинули проолифленные куртки и сели — молоденький к столу, глухонемой возле окна. Изредка глухонемой зажигал спички и палил на окне осенних мух. Лицо его при этом немного оживлялось.

Наконец послышалось далекое и глухое «пу-пу-пу-пу-пу» и показалась дора. Мы сели в карбас, выгребли в море. На доре, думая, что сдают семгу, замедлили ход. Мы подошли, и, вместо семги, в нее ввалился я со своим рюкзаком, ружьем и удочками. На доре все были выпивши и сразу стали извиняться, что пришли не вовремя. Оказалось, выпивали где-то на далекой тоне.

Темнело, вода кругом холодела, становилась густой и тяжелой, а берег виден был узкой чернильной полосой. В полных сумерках подошли мы к колхозу, поставили дору на якорь в устье реки, за песчаными барами, подтянули карбас, который был у нее на буксире, перелезли в него и двинулись к берегу. Но был отлив, везде обмелело, и метрах в ста от берега мы сели на кошку. Подошел еще карбас с двумя молчаливыми девками, часть из нас перелезла в него, он тоже сел на мель, не успев отойти, выпившие рыбаки ухали, толкались веслами в разные стороны, под днищами скрипел песок...

На берегу, на едва белеющей песчаной полосе под высокими избами появилась темная женская фигура, тут же к ней присоединилась другая, третья... Скоро на песке образовалась странная какая-то, неподвижная, немая кучка женщин, смотрела на нас, ждала, внимала нашим веселым пьяным крикам. Повыше их едва различались темные пятна изб, слабо горели красноватые огоньки в окнах. И я опять будто провалился на минуту в глубокую древность, пришел к варягам, к их морской жизни — и уж Москва, трехчасовой путь на самолете до Архангельска и Архангельск, каким я его запомнил в последний вечер перед отъездом сюда, прощальный красный свет солнца в окне гостиницы, Двина за окном, мачты пароходов над крышами, гудки, чайки над Двиной, клубочки пара над буксирами — этого всего будто никогда и не было.

Путь мой был кончен, я приехал в Кегу.

2

Опять я на новом месте. Вот бревенчатая комната, стол, окно на море — сейчас черное, — керосиновая лампа на столе, койка с грубым одеялом. За стеной слышны голоса — там мои новые хозяева: кудрявый седоватый мужик лет шестидесяти, с твердой негнущейся поясницей и громадными сизыми руками; сын его, молодой парень, красавец, так же кудряв, как и отец, только золотоволос, румян, широк в плечах, белозуб и синеглаз, — но дурачок, картавый... И жена — маленькая, сухая, темноликая, раньше времени состарившаяся.

Я сижу у себя, пью горячий чай, слушаю, как за окном порывами снова поднимается ветер, снова тяжело и мерно ворочается море, и значит, завтра опять будет шторм и темный угрюмый день, но мне не скучно — наоборот, весело и тревожно, как всегда бывает, когда приезжаешь на новое место.

Занимаюсь я как будто делом: пишу письма, набиваю патроны, чищу ружье и сапоги, какие-то образы, как искры, приходят ко мне, и я некоторое время думаю о них — хороши ли? Но интересно мне сейчас не это — интересен хозяин за стеной, и я

предвкушаю свою жизнь в этой Кеге завтра и послезавтра, и еще много дней, покуда хватит времени.

А хозяин встретил меня неприветливо, слушал хмуро, спрашивал неохотно, и по всей видимости не расположен был пускать меня на квартиру. Но дом был так хорош, из таких был сложен гладких, огромных бревен, так просторен, чист, вымыт, выскоблен до блеска, такие большие в нем были окна, так он был весь разнообразен со своими комнатами, коридорами, чуланами, поветью, лесенками, резными перилами и так красиво стоял над морем, что я все-таки стерпел неприветливость и остался.

«Дом чистый, вам там покойно будет, — говорил председатель, — только хозяин там такой... Из кулаков. Жила! Да вам ведь не век с ним вековать — зато чисто!»

И верно, что-то есть в этом мужике звероватое, мощное, сразу бьет в глаза цепкость какая-то, жилистость, но и еще и другое — какая-то затаенная скорбь, надломленность.

Когда разговорились, и после знакомства, обычного в таких случаях, я узнал, что зовут его странно: Нестор, а сына Кир, и когда я, несколько ошеломленный такими именами, помолчал, а потом, переведя дух, спросил обычно: «Как живете?» — хозяин надвинул брови, лицо его дрогнуло, опечалилось, хоть он и улыбался, а ответил так.

— Скучно живем! Только и веселья, что на своих именинах...

Утром Нестор вошел ко мне, закурил и принялся рассказывать свою жизнь, вернее не жизнь, а где и сколько он работал. Как плавал на гидрографическом судне, как участвовал во всевозможных экспедициях и как, наконец, многие годы добывал печуру* в горах по договорам с заводами и мастерскими.

Я сперва не понял, почему это он мне так подробно все объясняет, но тут он заговорил о пенсии. Ему шестьдесят один год, следовательно, имеет право на пенсию. И вот он пришел ко мне поговорить, как бы ее оформить.

В это утро мы все собирались ехать на тоню к Нестору. У него все было готово для долгой жизни вдали от дома: напечены лепешки, куплено сахару, чаю, не забыта соль и всякая посуда и заранее свезена на тоню сеть. Но погода испортилась, в море выехать было нельзя, и я пошел на рыбную ловлю. Нестор перевез меня через реку на карбасе, немного проводил и вернулся.

— Ты покричи, я тебя обратно перевезу, я возля амбаров буду, точила тесать, — сказал он на прощанье.

Погода была холодная с сильным западным ветром. Вершины берез и елок трепало, встряхивало. Рыба не клевала совершенно, назад идти не было смысла... Тогда я развел костер и прилег рядом на мох.

Места здесь дикие, холодные, нет нашего обжитого пейзажа, нет полей, лугов, задумчивых полевых дорог. Сенокос поздний — теперь сентябрь, а еще косят, — пожни маленькие, стожки тоже маленькие, с нашу хорошую копну, только не круглые. Косят одни женщины, мужчины не косят, вообще мужиков на сельскохозяйственных работах нет совсем — все рыбачат.

Лист начинает облетать. Береза сыплет желтым, но еще зелена в своей массе, рябина же взялась красной, под цвет брусники. Грибов нет совсем. Река поднялась, ветром забило, не выпускает воду в море.

Вернулся я к вечеру, переехал опять через реку, пошел проулком и зашел в место, очень характерное для Севера теснотой и частотой построек, видом своим — сероголубое от старости и много глухих стен. В деревне так же, как и в городе, есть свои уголки, есть прелестные архитектурные ансамбли, и вся прелесть их еще в том, что они все образовались случайно.

* Точильный камень.

Нестор, весь серый от печурной пыли, радостно говорит, что завтра поедем на тоню. Пошла семга, ему хочется и поесть сладко, давно не пробовал семги, и заработать.

Но на другое утро шторм продолжался, выехать не удалось, и пошел на тоню берегом один Кир, нужно было что-то там подготовить. А Нестор, как и в первое утро, пришел ко мне опять и опять говорил, что ему следует пенсия. «Пензия», «пензия», — повторял он на разные лады, и опять я перебирал с ним возможности получения этой пенсии.

А вместе с тем — зачем ему пенсия? Вот я гляжу, как он поворачивается у себя дома, как ходит, как смотрит на жену, на сына, как говорит с ними. Сила, уверенность, самодовольство проглядывают в каждом его жесте, в каждом взгляде. Сила, самодовольство в том, как прочно он садится, как упирается в расставленные ляжки, как раздирает утром гребешком свои сивые кудри, как оглядывается, примечая малейший непорядок, как играет бровями, как сёрбаёт, хлебаёт чай с блюда.

Дом у него крепок, бревна от старости стали как слоновая кость, есть корова, есть овцы, и вся одежда в семье добротна, прочна и чиста. Он не пьет, зарабатывает много, никому копейки не уступит, никого не подпускает к печуре, сам разведает, сам вызнает места, где можно легко ее брать. Привозит он ее с Киrom, всегда ночью — эти громадные серые плиты спрессованного песчаника, сам выбрал себе место возле амбаров и мостков, там у него мастерская, там он с Киrom тюкает, крошит эти плиты и выкалывает из них удивительно круглые точила и жернова, сам следит, как грузят его продукцию на пришедший из Архангельска мотобот, сам все помнит, вечером надевает очки, обкладывается папками, где у него подшиты всевозможные накладные, квитанции, расписки капитанов с печатями и штампами. Сын его — идиот, будто в насмешку названный таким звучным сильным именем, в полном, в рабском, я бы сказал, его подчинении.

Колхоз с ним ничего поделывать не может, потому что как колхозник он тоже работает по несколько месяцев в году — сидит, как и все, на тоне с сыном, ловит и сдает семгу — и там его не обманешь, не обвесишь, и там прекрасно разбирается он в планах, наценках, сортах...

Хозяин? Кулак? Не знаю, я еще не разобрался в нем, но только очень напоминает он мне одну легендарную личность, на которую глядел я в свое время, как и все, с изумлением, с некоторым даже испугом.

То был громадный краснолицый мужик. В годы войны в Кировской области на берегу реки возводился лесозавод, ЦЭС. Работали на строительстве в большинстве своем такие же, как и этот мужик, высланные, эвакуированные, отбывшие заключение, словом, разные люди. Жили в бараках, впроголодь, беспокойно, отчаянно. Не хватало материалов, частей, то одно, то другое на заводе и ЦЭС выходило из строя, мучительные авралы, ночные работы, а в магазинах ничего не было, и в столовой кормили супом, похожим на клейстер. Но план все равно выполнялся, лес по реке сплавлялся, пилорамы громыхали, и составы со шпалами, стойкой, досками и прочим все шли и шли куда-то в необъятность военной страны.

Люди тогда болели дистрофией, какими-то язвами, тосковали по родным местам, умирали, и в поле, за поселком, необычайно быстро выросло кладбище, и так же быстро пропадали, развеивались ветром там могилы, потому что везде был песок...

И только один человек жил тогда широко и богато, у одного были великолепные шубы, валенки, сапоги, а в кладовке полно было муки, сала, яиц, меду. Он не прибеднялся, не притворялся неимущим — нет, дом его стоял гордо, на отшибе, приходил на базар он как хозяин, как купец — война была ему нипочем!

Он один умел сращивать тросы, и делал это так хорошо, что тросы рвались потом в другом месте, но никогда там, где он срастил. Он постоянно продавал что-то и покупал, каждый раз с неизменной для себя выгодой.

Деньгам его никто даже приблизительно не знал счету. Деньги держал он дома, под полом, и когда они начинали плесневеть — раскладывал их по всему дому сушить. Трудно поверить, но когда банк задерживал лесозаводу зарплату для рабочих, директор завода на свой страх и риск занимал у этого мужика деньги, и зарплата рабочим выдавалась! Когда кругом уж очень начинали говорить о его богатстве, он брал мешок денег, ехал в сберкассе и вываливал там сто — сто пятьдесят тысяч «на оборону».

В денежных расчетах он был лют, весело-жаден, греб справа и слева, но когда приходили просить у него хлеба ли, картошки ли и попадали в хорошую минуту, тут он бывал добр, даже щедр, и отказа никто не знал. Но и тут не мог он утерпеть, чтобы не покуражиться, был насмешлив, ядовит и говорил только по-украински:

— Чого так обидняв?

— Война...

— Вийна? Тебе ж ще не вбили — чого ж тобі вийна? Дурна в тобі голова! Вумны булы б, в шовку ходылы б и сало илы скильки потрибно. Чого тобі, ну?

— Муки бы...

— Ладно — выддам!

— Да мне в долг, я отдам...

— Знаю, знаю, як вы выддаєте! Дэ мешок?

Не знаю, что тому причиной, но только говорили о нем тогда с восхищением, даже с гордостью — вот, мол, черт, умеет жить!

Нет, нет, Нестор не такого размаха, не той широты человек, но хватка и у него та же, есть что-то общее в этих двух людях — в том, уже полузабытом, и в этом, который вот сидит передо мной и отвлеченно-злобно рассуждает о пенсии. Глядя на него, невольно думаешь: у! и лютый был бы хозяин, дай ему волю!

3

Прошел еще день, погода стала отдавать, и мы с Нестором собрались на тоню. Накануне вечером был у нас с ним вскользь разговор, что недурно бы захватить с собой водки и, сварив ухи из свежей рыбы, выпить на новом месте.

Утром я забыл об этом, а Нестор не забыл, но молчал, думая, что я вспомню. Мысль о водке, видимо, мучила его. Я укладывался, он тоже сутился, с улицы крикнули, что стучит мотор, мы заторопились, вышли — в самом деле, на реке стучал мотор и двигался по звуку. Мы выскочили на берег между домов, но это оказался почтовый катер, он вез железные плоские коробки с кинофильмом, который вчера крутили в клубе. Спокойно уже пошли мы к рыбоприемному пункту — там пристают и оттуда отходят мотодоры и бота.

И тут Нестор не выдержал, мысль о водке опять пришла ему, он посунулся ко мне, когда уже положили вещи в дору, и скороговоркой напомнил о водке. Я не понял, тогда он повторил уже с каким-то тайным озлоблением, с надеждой и в то же время с боязнью, что я откажу.

Я дал денег, и этот старый мужик, чтобы не опоздать к отходу, рысью побежал в магазин, и лицо у него сразу стало радостное, а я снова подумал, как он жаден — ведь есть деньги, и много, — а такая унижительная радость и такая рысь, чтобы выпить на чужбинку. Впрочем, не в том ли смысл его жизни, чтобы жать копейку?

Мотодора тронулась с большим опозданием против того, как должна была. Интересно мне было посмотреть на мотористов, их два на доре — один пожилой, другой молодой, мальчишка еще.

Вообще, как я заметил, люди, связанные с техникой, от которой зависит передвижение, освещение и так далее — все эти мотористы, механики, шоферы, электрики, — с крайним пренебрежением и высокомерием относятся ко всем прочим.

Так и здесь. Пассажиры уселись в доре и стали ждать. Тут были работник маяка с женой и дочкой, Нестор, еще какой-то рыбак, колхозный счетовод и я. Мотористов не было. Ждем десять, пятнадцать, тридцать минут... «Где же мотористы?» — спрашиваю. Молчат и пожимают плечами, будто мотористы — боги по крайней мере и отчета никому давать не должны.

Наконец пришел пожилой моторист. За ним появился мальчишка. Пожилой сперва со скукой оглядел нас, затем стал на борту доры и задумался, будто решал, ехать ему или нет. Мальчишка стоял на причале и презрительно разглядывал нас. Старший моторист закурил. Потом сел на какой-то ящик.

Когда он появился, никто, конечно, не выругал его, только на минуту примолкли все выжидательно. Затем опять занялись разговорами. Моторист курил, прислушивался к разговору и плевал за борт. Мальчишка зевал. Наконец пожилой встал и завел мотор. Мотор забубнил, а моторист опять сел курить. Минут пятнадцать бубнили мы у пристани, и я уж думал, кого-нибудь мы ждем, но мальчишка вдруг лениво отдал концы, прыгнул в дору, и мы поехали.

Через полтора часа мы были у тони Нестора. Нас встретил на карбасе Кир и, едва мы перевалились к нему, сразу закричал, загугнил, что снасть, которую Нестор оставил на берегу и которую разорвало штормом, как говорили, снасть эта цела. Нестор страшно обрадовался, заулыбался как-то по-мужицки, мелко, эгоистично, и стал приговаривать: «Вот спасибо-то, вот спасибо-то...» Верно, благодарил бога или море.

Избушка, в которой мы будем жить, мала и грязна, с тремя окнами на три стороны. Спать мы будем на каком-то тряпье, укрываться одеялом, которое так тяжело, грязно и сально, что, наверное, не меньше трех поколений рыбаков и зверобоев покрывалось им, и оно впитало в себя их дух и пот.

Здесь же стоит крест, как и везде, чуть подалее — пустой амбарчик, в котором зимой зверобои разделяют тюленей. А еще дальше другая тоня, на которой живут три моряка — они тут ремонтировали какие-то навигационные знаки и теперь ждут мотобота, чтобы уехать.

Вот и все. Дальше по обе стороны на десятки километров пустое пространство берега, заваленное водорослями и ободраным, обкатанным плавником.

Настал вдруг теплый яркий день, море налилось синевой, Нестор уплыл на карбасе к тайнику, чернеет там, забивает покрепче колотушкой колья, и пахнет ему, наверное, смолой от карбаса, сетями, морем... А мы с Киром в рубахах сидим на берегу, греемся. У Кира острый небольшой секач и рыбацкий нож, вокруг него на песке — живая еще рыба, только что привезенная Нестором, шевелит жаберными крышками, подрагивает хвостами. Кир берет ее одну за другой, зубатку, треску, камбалу, кладет на сухое бревно, рубит сверху, со спины, и лезет кровавыми руками в брюхо, вытягивает внутренности.

— Хорсё, хорсё! — ликует он, и не сидится ему от наслаждения, ёрзает, перебирает ногами, улыбается.

Красавец, хищное животное, бронзовый кудрявый белозубый бог — тупая идиотическая сила. «Февраль, — сказал вчера про него Нестор. — Дня одного не хватает!» Прекрасное и ужасное видится мне в этом Кире, в его физической мощи, в его загадочных бормотаньях, в какой-то юродивости и в блаженном созерцании мира. Счастливы ли он?

— Эй, Кир, ты читаешь что-нибудь?

— Не... Ситать не мею. Засем?

— Ну как это зачем... Ведь ты учился!

— Не... Не сахотел — засем?

— Что же ты любишь? Ну — для души?

Кир не отвечает. Кружатся над нами, хищно и жалобно пищат чайки. Кир, закинув голову, смотрит на них голубыми глазами, улыбается расслабленно.

— Хорсё! — и кидает им рыбки внутренности.

— Слышишь, Кир, что тебе надо для души?

— А? Дуси... дуси... а-а, тевку надо! Тевка мякка, хорсё!

Глаза у него мутнеют, про рыбу он сразу забывает, вытирает кровяные пальцы о штаны, весь напрягается, напруживается, сопит и долго потом не может успокоиться, хихикает, бормочет что-то совершенно уже непонятное, и долго не высыхают у него слюни на губах.

Занявшись опять рыбой, он вдруг вспоминает, верно, про какую-то свою охоту, пытается что-то рассказать, но понять его нельзя, — щурясь от напряжения, улавливаешь только, что он куда-то «посол» и что-то такое «насол».

Возвращается Нестор, мы прямо в море полощем ошкеренную рыбу, несем в дом, топим печь и варим уху. После ухи закуриваем и валимся на нары, на грязные телогрейки, одеяла и рукавицы. Портянки, сапоги, куртки, штаны сохнут на протянутой из угла в угол алюминиевой проволоке.

Мне вспоминаются московские наши разговоры и споры о поэзии, о направленности творчества, о том, что кого-то ругают, а кого-то не печатают — все это под коньяк и все с людьми знаменитыми, и там кажется, что от того, согласишься ты с кем-то или не согласишься, зависит духовная жизнь страны, народа, как у нас любят говорить. Но тут...

Тут вот со мной рядом лежат рыбаки, и все разговоры их вертятся вокруг того, запала вода или нет, пошла ли дождя или не пошла, побережник ветер или шелоник, опал взводень или нет. Свободное от ловли рыбы время проводится в приготовлении ухи, плетении сетей, в шитье бродней, в разных хозяйственных поделках и во сне с храпом.

То, что важно для меня, для них совершенно неважно. Из выпущенных у нас полутора миллионов названий книг они не прочли ни одной. Получается, что самые жгучие проблемы современности существуют только для меня, а эти вот два рыбака все еще находятся в первичной стадии добывания хлеба насущного в поте лица своего и вовсе чужды какой бы то ни было культуры?

Но может быть, жизнь этих людей как раз и есть наиболее здоровая и общественно полезная жизнь? Они встают чуть свет, зарывают тайники, приезжают промокшие и озябшие назад, пьют чай и ложатся спать. Затем в течение дня они много раз осмотрят эти тайники, сделают кое-что по хозяйству, вечером выроют тайники и лягут спать с ощущением правильно, хорошо прожитого дня. И результат этого дня, неоспоримый, вещественный результат — семга. Зачем же им книги? Зачем им какая-то культура и прочее вот здесь, на берегу моря? Они — и море, больше нет никого, все остальные где-то там, за их спиной, и вовсе им неинтересны и ненужны.

4

Вечером Нестор и Кир опять привезли рыбы, на этот раз семги, сварили ухи и выпили, причем пили бережно, с невыразимым наслаждением, как нектар — эту водку-сучок. Зажгли лампу, закурили, разделись, разлеглись на лежаках возле стола. Печка гудела, было тепло, за стеной жахало и жахало море, а у нас грелся чайник, карбасы были выкачены на берег, ловушки сняты, развешаны на кольях возле тони, и водорослевые бороды, источая дурманящий запах, мотались на ветру.

На далеком мысу посверкивал маяк, его хорошо было видно, и было приятно от мысли, что не такая уж пустыня кругом, что в море сейчас взбивают белые дороги теплоходы, всякие лесовозы и буксиры, что на берегах светят маяки, и по таким же, как и наша, избушкам сидят ядерные рыбаки, ждут чаю и гадают насчет завтрашней погоды.

— Славно у вас тут живут, — сказал я Нестору.

Нестор глянул на меня, надвинул брови и тяжело усмехнулся.

— Это не жизнь, товарищ ты мой! — твердо сказал он. — Тебе не понять, ты хорошего не видал, а вот раньше — так правда, жили не тужили...

— Стара песня! — возразил я. — Знаю я, как у вас тут жили раньше!

— Это как же ты знаешь?

— Читал, — сказал я. — Историю изучал.

— История! — вдруг бешено крикнул он и как-то опьянел на минуту, стал красен и лют. — Изуча-ал! Гляньте на него — историю изуча-ал! — дразнил и не истовствовал Нестор. — Изуча-ал, хо-хо!

И тотчас загоготал надо мной Кир, глядел на меня странно как-то, будто издали, и хохотал... Что же он-то понимал? А понимал, видно, — этот блаженный, идиотик, — что-то он такое понимал!

— Да ты вот пищешь, — перебил сам себя Нестор и сменил тон, стал высокомерен и насмешлив. — Все пишете... Дадим двести процентов плану! — противно растянул он. — Все, как один! Единодушно одобрили... Или вот у меня жила из Ленинграда одна — блюдцы, стаканы ей, вишь, не чисты, грязно живете, грязно, все платочком протирали, а?

Кир опять захохотал, даже слезы выступили.

— Крясно, крясно... — повторял он, задыхаясь и вытирая кулаками глаза.

— Да, а потом привыкла, ничего! — уничтожающе закончил Нестор. — Перестала морщиться... А толстая, как свинья, на берегу ляжет, все ей костер разложи — этак, толкует, красивше. Белая ночь ей, вишь, спать не дает, думы все мозгует, а то пристанет: «Нестор, спой песню, ну, пожалуста!» Тетрадку вынет, ручку нацелит, это, говорит, для науки надо, в институт, это, говорит, народно... А я ей думаю — хрен тебе, а не песню, с такой жизни порато не запоешь!

— Так уж плохо и живешь? — поддразнил я его. — Чем же тебе жизнь плоха?

— А вот чем! — Нестор подумал и налил себе чаю. — Это ты все можешь писать, не боюсь, а сказать тебе, извини за выражение, скажу правду. Так? Вот не соврать, в двадцать пятом годе разведали мы с батей этот самый камень, эту печуру, лежала она в горах, никому не нада была, а мы скумекали. Теперь гляди: стали мы помаленьку работать, запряглись не хуже той лошади, батя да я, да брат двоюродный, поработали мы год, другой, видим, печура идет, сбыт, значит, свой находит. Вот батя и говорит: давай, говорит, воду приспособим, как вроде мельницы. Там в горах есть ручей, начали мы таскать камень, запруду сделали, все честь по чести, колесо изготовили с лопастями. Не пивши, не евши — это тебе как? И завертелась это у нас механика! На месте все и точили, на берег выкатили по доскам, складали — это тебе и есть наша русская сметка! Как бот придет из Архангельска, мы сейчас карбаса нагружаем — и на него! Понял? Такое дело начали, со всей России заказы пошли...

Нестор поник головой, стал сворачивать папиросу, замолчал, задумался.

— Теперь вот за песнями едут, нет, ты мне с песнями не суйся, а ты с делом суйся. Я — хозяин, я тут все знаю, я тут произрос — вот тебе и задача. У нас бы тут на Кеге лесопильни стояли бы, холодильни, морозильни всякие по берегу, у нас бы тут дорога асвальтовая была бы, мы бы в Кеге-то, в реке-то, бары расчистили б, дно углубили, тут порт был бы! Сколько лесу, рыбы, всяких ископаемых — я с экспедициями ходил, все тут знаю.

Нестор махнул рукой, Кир фыркнул было, но сейчас же и смолк под взглядом отца.

— Ну, а сейчас? — спросил я.

— Сейчас получше... — неохотно сказал Нестор. — Сейчас порядку побольше, не скажу, и клуб есть, и свет дают...

Нестор глядел в сторону, водил рукой по столу.

— Справные поморы были у нас, и уж прошай все, не вернется! — закончил он и стал укладываться спать. А я вспомнил слепую старуху, как и она говорила то же самое и почти теми же словами.

Погасили лампу, легли, Нестор и Кир сразу захрапели, за стеной возилось море, я был взволнован, в чем-то уязвлен и, как часто бывает, теперь только стал придумывать возражения Нестору. Но он спал... И вся его зависть, и ненависть, и злость — все, чем наполнен он был днем, все, о чем думал, сожалел и вспоминал, — теперь ушло, он не собой стал, сны на него спустились, и он был далеко, а в этой темно-душной избушке лежало тело его, сильные руки его, столько переделавшие за всю жизнь. И руки его были добры, тогда как мысли — злы.

На другой день уныло свистал ветер, мотались на вешалках сети, мело песок по берегу, море волновалось, грохотало, вода была мутна далеко за полосой прибоя. Нестор, удрученный, шил себе бродни, сильно мял кожу, кряхтел и посматривал за окно.

А за окном бегал по берегу в трусах моряк из соседней избушки, приседал, выжимался на руках, подбегал к волнам, растирался водой. Нестор смотрел на это его занятие с ненавистью и насмешкой: «Делать нечего, так его растак!»

Кир зевал, зевал, пошел, выпросил у моряков ружье и пять патронов, я взял свое, и мы отправились с ним на охоту. Какой он все-таки красивый, этот Кир! Как идет, неслышно ступая в мягких своих тюленьих броднях, как на нем все обтянуто — видны бугры плеч, груди, мышца живота, икры — все в движении, и какой он весь расстегнутый, крепкий, смугло-румяный, дитя природы! И добр, весел, общителен, но — дикий, дурачок, и тяжело как-то с ним.

В лесу ветер уже не ощущался, и пейзаж был прекрасен, хотя смотря на чей взгляд. Много попадалось нам кочковатых болот, песчаных угорьев, много малины, смородины, черники и брусники, и так печально-душисто пахло, и небо и земля твердили нам, что уже сентябрь, осень...

Кир сначала бормотал что-то, булькал и гукал, но как только вышли мы к озеру, все для него перестало существовать, кроме уток, которых он тотчас же и увидел, скорее, чем я в бинокль. Кир всхрапнул, пригнулся и помчался от меня большими бесшумными прыжками между кустов. Я побежал за ним, но догнать не мог, видел только, как Кир на мгновение останавливался, поднимал над кустами голову, тотчас нырял и мчался дальше. Я ж и спешить бросил, знал, что все равно Кир выстрелит первым, и только следил за ним издали.

Кусты кончились, Кир упал на живот и пополз между кочками. Утки плавали спокойно, я добрался до открытого места и остановился, чтобы не помешать. Подобравшись к самому берегу, Кир приподнялся на локтях, прицелился и выстрелил. Ружье, видно, обнесло, утки полетели, одна только забилась, подскочила вслед за остальными раза два и довольно прытко залопотала к дальнему берегу, к осоке. Кир оставил ружье и помчался кругом к тому же месту. Утка повернула назад, но увидела меня и забилась куда-то в первое попавшееся место. А Кир уже раздевался, сбросил рубаху, сапоги, штаны и голый кинулся животом в ледяную воду. Он шумел, плескался, сопел. Он гоготал и выскакивал из воды по пояс, как болотный черт, загонял бедную утку до одурения, поймал ее и тут же прокусил ей мозжечок. На берег он

выбрался красный, от него валил пар, губы были окровавлены и в пуху. Одевшись, он засмеялся, облизнул губы и бросил мне утку.

— Тепе! — сказал он радостно. — Пери, тепе!

И потом целый день бегал по озерам, прыгал с кочки на кочку, падал, полз, стрелял, раза два еще лазил в воду, гоготал, замучил совершенно меня, но я глаз не мог оторвать от него — притягательна все-таки человеческая сила!

Вернулись мы уже в темноте, стали варить утиную похлебку, а поев, забрались опять каждый на свои нары и заснули.

5

День проходит за днем, погода не устанавливается, мотобот за моряками не приходит, моряки томятся, валяются по койкам, десятый раз перечитывают одни и те же книжки. Томятся и рыбаки, плетут сети, почти не разговаривают друг с другом.

Но вот наступает какая-то ночь и приходит успокоение и холод. Все спокойно, гладко, зыбко, только по очереди, очень редко и нежно — шша... шша... И море не черно, а дымно: над тонкой пеленой туч сияет луна, свет ее проникает сквозь облака и освещает все слабым рассеянным сиянием. На рейде в море, далеко к северу, может быть, против Кеги стоят два парохода, и огни их четко видны отсюда, из этой пустыни.

На рассвете Нестор и Кир уплывают зарывать тайники, возвращаются оживленные, с заколеневшими руками и лицами, шумят, топают, грохочут дровами, топят печь и пьют чай. А в полдень едут смотреть тайники, и я с ними.

Как они работают! Как у них все ловко, разумно, скупое в движениях, какой глаз и точность! Вот они ставят карбас на катки, вот одерживают его, спускают к воде, выжидают волну, стоя по бортам, потом сразу наваливаются, крикают, суют карбас в море, и вот он уже на воде. В воде и Нестор с Киром в своих броднях, по очереди прыгают и переваливаются внутрь, разбирают весла, садятся, выправляют карбас против волны и гребут.

Вообразите гребцов-спортсменов — как они откидываются назад, как рвут весла на «восмерках» — каждый одно, — как упираются ногами, какие у них натренированные тела, как они все разом, по команде, сжимаются и распрямляются. Но ничего похожего здесь нет. Здесь сидят свободно, раскорячив, подогнув ноги, и весла не в уключинах, а в колышках, гребут часто, почти не откидываясь, но карбас движется быстро, мощно разваливает волны, вздымается и опадает, а люди спокойны, глядят по сторонам, руки их на веслах лежат тяжело и крепко — так они могут грести весь день, разговаривать, смеяться, покуривать.

От карбаса, от курток и бродней Нестора и Кира пахнет чудно — рыбой, смолой, водорослями, солью и еще бог знает чем — или это море так пахнет? Вода под носом журчит, пенится, колышки поскрипывают, попискивают, берег все дальше, серые избушки на серо-белом песке почти неразличимы, и все ближе колья тайников.

Вот мы идем уже вдоль перемета — длинной сети, установленной перпендикулярно к берегу, — подходим к воротам тайника, Кир поднимает весла, гребет и разворачивает карбас один — Нестор на корме. Кир оглядывается, некоторое время глядит на приближающиеся колья и сети, будто проникая взглядом вглубь, стараясь угадать, попалась семга или нет, потом выхватывает и бросает свои весла на дно, вынимает из бортов колышки (чтобы не цеплялись потом за сеть), кидается на нос, подхватывает конец, связывающий наверху стенки ворот тайника, поднимает его над собой, карбас протискивается в тайник, ворота поддерживают и закрепляют. Мы внутри тайника. Теперь начинается самое важное.

Кир свешивается за борт, виден один зад его и раскоряченные крепкие ноги. Руки по локоть в море, что-то он там делает, и Нестор с кормы делает то же. Они подергивают, как и ворота, середину тайника, крепят ее за колья, и тайник уже разделен на две половины, превращен как бы в два огромных подсака. Тогда Нестор и Кир начинают выбирать сеть, загибая ее за борт, внутрь, поддерживая на сгибе коленями и локтями, я тоже помогаю, путаюсь, все мы спешим, и дно сети поднимается. Ячеи уже просвечивают сквозь зеленую воду, скользят в карбас ленты водорослей, морские звезды, бьются и мечутся уже камбала, треска, зубатка, пиногор с негритянскими губами, кругом льется, мы мокры, руки мерзнут, но пока все это не главное. Наконец Нестор оживляется, крикает, а Кир вопит: «Хорсё! Хорсё!» — и гогочет, и полощет в воде своими красными лапами.

Показалась семга, ее штук шесть, она до времени таилась, а теперь начинает бешено биться, прыгать, выскакивать, вздымать спинами каскады воды. Кир перебирает и тянет, перебирает и тянет, а Нестор, сдерживая одной рукой карбас у кола, другой шарит на дне, достает колотушку и начинает шлепать, попадает и не попадает, брызги летят во все стороны, волна с шипением проходит через стенки тайника, подкачивается под карбас, и мы то проваливаемся, то взлетаем выше кольев.

Через минуту вся семга оглушена, осторожно положена в карбас и укрыта. Брошена, — но уже небрежно, — туда же и вся остальная рыба, все эти зубатки и пиногоры, и сеть уже выбрасывается за борт, карбас подводят к другой половине тайника, и там начинается то же самое.

Потом и ту половину опускают, все приводят в порядок, ворота развязывают, карбас выталкивают наружу, отводят в сторону и начинают перекидывать семгу — нет ли на ней ссадин или следов от зубов белухи.

Семга не так крупна, в каждой килограммов примерно по шесть, попало ее одиннадцать штук, значит, шестьдесят килограммов примерно — по рублю за килограмм... Да минус вычеты, в общем, рублей сорок пять есть! — таковы размышления Нестора, и, судя по его лицу, это вовсе не плохо. Да еще к вечеру попадет. Ничего, жить пока можно! Нестор закуривает и впадает в созерцательное состояние. Наверное, он думает сейчас, как будут взвешивать вот эту его рыбу, как станут выписывать квитанцию на его имя, и сколько заработает, и как распорядится деньгами... А Кир ни о чем не думает, завалился в нос, почесывает живот под рубахой, смотрит из-за бортов то на одну, то на другую сторону — полный покой!

Отдохнув, рыбаки гребут к берегу.

Пришел наконец мотобот за моряками. Они встретили его выстрелами из ружья, будто робинзоны. Нестор сидел, вдвевал шнур в перемет, привстал, поглядел в окно и опять занялся своим делом. Между тем моряки сгрудились на берегу, сигналили руками, о чем-то оживленно говорили между собой, наконец один побежал к нам.

— Здравствуйте, — сказал он, входя и переводя взгляд с одного на другого. Он был возбужден и радостен. — Не дадите карбасы, на бот переехать?

— А свой где потеряли? — хмуро, не глядя на моряка, спросил Нестор.

— Да вот... С бота сигналили, что шлюпка неисправна.

Нестор насупился.

— Так не дадите ли карбаса? — повторил моряк, уже неуверенно.

— Разобьете, — сказал Нестор.

— Что вы! — моряк оживился, снял бескозырку. — Свои-то не бьем!

— Какие же свои? Своих-то у вас, видишь, нету.

— Да уж мы осторожно...

Нестор неохотно вышел с моряками на улицу, потом вернулся злой, выругался крепко и сказал Киру:

— Ступай с ними, назад карбас пригонишь. Да смотри, туда не гребь, пускай сами гребут! — крикнул он вдогонку.

Кир радостно вышел — он положительно не мог сидеть без дела.

— Ах, дураки! — говорил взволнованно Нестор, глядя в окно, как отваливает карбас. — Со шлюпкой у них неладно, да за это...

Он опять припустил матом, как-то весь посоловел, ощерился, взглянул на меня. Потом сел, закурил, взялся было снова за перемет, но бросил, ему хотелось говорить.

— Вот ты хотел знать про меня, вот я тебе скажу, Ты думаешь — кулак, и все тут! Кулак — как бы не так! Гляди с другой стороны, что получается. Деньги, какие у нас были, имущество, они что же — с неба нам упали? Али подарил кто? Погоди, не нукай! Молчи, молчи!

Мы тут раньше знаешь как жили! Мы со всем светом торговлю вели. У нас тут было так: захотел в Норвегию, дуй в Норвегию, захотел в Англию, дуй в Англию. Ты думаешь, я уж темный такой, да? А я, сказать тебе, в Норвегии два года жил до революции, делу обучался, так? Я все произошел, шхуны строил! А, к примеру, хошь — плыви на Шпицберген, на Новую Землю, на Колгуев остров, торгуй с ненцами...

Погоди, не вякай, тут поумней вас есть которые. Да! Вот, скажем, весной после зверобойки собираемся мы править в Норвегию. Сейчас глядим, сколько у нас у всех добычи, какое, значит, судно нам требуется. Нанимаем шхуну, а мы все в команду входим, груз свой грузим, так? Вот приходим в Норвегию, скажем, в Варде или в Трухольм, товар весь продаем, после этого норвежцы ладят с нами фрахт. Это чтоб наша шхуна назад пустая не бежала. Ладно, берем ихний товар, бежим обратно в Архангельск, там получаем окончательный расчет, так? После... После этого делим по паям.

— А пай ровные? — спрашиваю я.

— Погоди! Я знаю, куда клонишь. Я таких-то вас видал сознательных... Ровные! Ровного на земле отродясь не бывало. Капитану один пай, на то он и капитан. Опять же владельцу судна. И опять же сколько у кого добычи. Я сто тюленей на зверобойке добыл, а ты пятьдесят — какое такое тут может быть ровное? Не в том дело!

Теперь... Теперь получаю я свои деньги. Скажем так — скажем, три сотни. Сейчас думаю: батя чего-то наказал купить. Иду в гостиные ряды, беру всего, что надо: товару, муки там, веревок, снасти, всякое такое хозяйство. Шхуна наша на Двине стоит, нас дожидает, вот мы все это дело покупаем, везем на шхуну, и еще денег остается — скажем, сотня. Ее в карман. Ее в сундук, на самое доньшко, над ней дрожишь, думаешь, куда ее пристроить в хозяйстве, чего тебе нужнее. Ну вот. После того по родне походишь, с друзьями свидишься, кофию попьешь в Соломбале, всякие такие новости узнаешь, что где почем, когда ярмарка будет и какие на ей цены ожидают.

Понял, к чему я веду? А другой такой же, как и я, рыбац, зверобойщик, сосед мой, — он, к примеру, получит, может, поболее моего, так? Получит, закатится в кабак, да по бабам, по этим самым шлюхам-паскудам, а? Я о доме думаю, о хозяйстве, а он на пробку наступат, он глаза свои винищем нальет. Он три дня гуляет, на четвертый на судно является. В ноги мне кланяется, двугривенный просит на опохмел. Это как же?..

— Это тебе как же? — заорал с ненавистью Нестор. — Лодарь, пьяница, таких в мешок да в воду, чтобы не смели на земле смердеть. Я все своим горбом наживал, ты думаешь, мне выпить было заказано али баб этих сладких я не хотел? А я мимо всего шел, нос отворачивал, об хозяйстве думал, деньгу берег. И все нажил, все у нас было. А впрок это кому пошло? Тут же все и развеяли, как дым, коровы мои которые сами подохли, которых забили. А с домом что сделали, дураки! На дрова пожгли. Ему, лодарю, в лес некогда съездить, идет к дому, съезд ломает, после поветь, после и совсем весь!..

— У нас сосед был, Хнык, — немного успокоившись, продолжал Нестор. — Такая у него уличное произзвище было — Хнык. Ах зараза, ах лодарь, я с батей на зверобойке, он дома, в карты играет, я в горах камень ломаю, он с Марфуткой нашей, со шлюхой, водку лакает, последний хомут продает. У нас добыча, у него только го-го-го да га-га-га! Мы косить — он на охоту пойдет. Пойдет на охоту, сапоги последние собьет, рябка и того не принесет. У нас сено, а он свою корову соломой ячменной кормит. На коровенку его глядеть — сердце изболит, а он: «Ницего, матуска, съес, ницем права будес!» У, зараза! И кем же его сделали, ты думал? Завхозом он стал в колхозе. А как стал, так и совсем спился, все пропил, в Архангельск подался.

А вот возьми колхоз, вот ты погляди сам. У одного хозяйство, у другого развальяха. Отчего это? А оттого, что один работающий, а другой так и глядит, как бы выпить. А тут еще из району — то, другое, пятое, десятое — там коси, там сей. Семга идет, народу надо на тонях сидеть, а тут — на сенокос ступайте. Это как? Всякие ученые, экспедиции, профессора, все науки превзошел, сейчас приедет, руки в брюки, очки, вот как ты, взденет — лови там-то и там-то. Да так не лови, да тут не лови, да щупает эту самую семгу, в зад ей смотрит, какая она. А чего ей смотреть, когда она уж пятьсот лет смотрена-пересмотрена и мы все о ней знаем. И как ловить знаем, где тоням стоять, опять же знаем.

Я вышел на берег, было пасмурно, только на горизонте посвечивала голубая полоса, и море, чем дальше к горизонту, тем становилось веселее, ярче. А здесь было пасмурно...

Мотобот взвыл сиреной и тронулся, переваливаясь на волнах, и даже сквозь шум набегавших на берег волн был слышен низкий, мягкий звук его дизеля. И как только он тронулся — отделился от него и Кир на своем карбасе и теперь часто греб к берегу, но казалось, не двигался.

Мотобот удалялся, поваливался, мачты его качались. Щемит почему-то на сердце, когда смотришь, как уходит в море судно. Я представляю себе палубу этого мотобота, вахтенного в рубке, шум двигателя. Я воображаю, как рады моряки, которые долго жили здесь, на этом пустынном берегу, а теперь сразу попали к друзьям, в милую сердцу обстановку. Сидят небось сейчас в кубрике, выпивают, хлебают морской свой харч, из камбуза тепло, разговоры... А впереди Архангельск, и, может быть, отпуск дня на два домой, и девочки, и новые кинокартины — помянут ли они этот берег, навигационные знаки, которые ремонтировали, соседей-рыбаков?

Захотелось вдруг и мне домой. Пора! Не буду больше видеть Нестора и его Кира, не буду больше ощущать неприязненный, недоверчивый взгляд, брошенный исподлобья.

Вспомнился мне как-то сразу весь этот осенний Север, хмурая погода, постоянные шторма, все километры, которые прошел я берегом, ночевки, избы, разговоры, ранние сумерки и поздние рассветы... Хватит!

А мне махал уже из карбаса Кир, смеялся, такой здоровый, крепкий, бездумный. Я помог ему выкатить на берег карбас, и вместе мы пошли в дом.

На другой день я попил чаю, засобирался, стал прощаться. И Нестор вдруг стал как-то смущен, суетился, старикиство проглянуло в нем, и впору было его пожалеть.

— Ты не серчай, — бормотал он и отводил глаза. — Я это тебе... Давеча говорили... Что ж такое! Подрасстроился я с этими моряками, не люблю непорядка... Может, что и сказал не то, так ты уж не серчай...

— Ладно, — сказал я. — Чего там! Будь здоров. У всякого свое.

— Ну пойдём, пойдём... — говорил Нестор, одеваясь. — Я тебя провожу маленько... Мало пожил, семга сейчас самая пойдет, пожил бы еще... Кир, пойдём, проводим товарища.

Мы шли по берегу, Нестор больше не извинялся, вздыхал только, поглядывая на небо, думал о погоде. Кир почему-то шел шагах в двадцати впереди.

Так прошли километра два, и Нестор остановился.

— Пароход завтра привернет, — сказал он. — Ведь ты у меня поночуешь? Скажи там старухе — все хорошо, скоро в гости будем. Ну бывай, значит!

Пожали друг другу руки, Кир потопал броднем по твердому песку — был отлив — и закричал:

— Хорсё! Легко тти! Хорсё!

И радовался, обдавал меня голубизной глаз своих, хлопал по плечу и топал броднями, показывая, как легко мне будет идти.

Скоро потеряли мы друг друга из виду, а потом я уж и не думал о них, а думал о будущих днях, как всегда бывает, когда уходишь откуда-нибудь. А когда, пройдя километров десять, присел на берегу шумящего ручья и решил закусить и полез в рюкзак — рука моя нащупала большой сверток. В старой газете завернута была половина семги, малосоленной прекрасной семги, и это Нестор сунул мне на дорогу...

Ах, Нестор, Нестор!

1961

ОСЕНЬ В ДУБОВЫХ ЛЕСАХ

Я взял ведро, чтобы набрать в роднике воды. Я был счастлив в ту ночь, потому что ночным катером приезжала она. Но я знал, что такое счастье, знал его переменчивость и поэтому нарочно взял ведро, будто я вовсе не надеюсь на ее приезд, а иду просто за водой. Что-то слишком уж хорошо складывалось все у меня в ту осень.

Аспидно-черной была эта ночь поздней осени, и не хотелось выходить из дому, но я все-таки вышел. Долго я устанавливал свечку в фонаре, а когда установил и зажег, стекла на минуту затуманились и слабое пятнышко света мигало, мигало, пока наконец свеча на разгорелась, стекла обсохли и стали прозрачными.

Свет в доме я нарочно не погасил, и освещенное окно было хорошо видно, пока я спускался по лиственничной аллее к Оке. Фонарь мой бросал вздрагивающий свет вперед и по сторонам, и я, наверное, похож был на стрелочника, только под сапогами у меня глухо шумели отсыревшие к ночи вороха кленовых листьев и хвоя лиственниц, которая даже при смутном свете фонаря была золотистой, а на голых кустах рдели ягоды барбариса.

Жутко идти ночью одному с фонарем! Один ты шуршишь сапогами, один ты освещен и на виду, все остальное, притаившись, молча созерцает тебя.

Аллея круто уходила вниз по скату, свет в окне моего дома скоро пропал, потом и аллея кончилась, пошли беспорядочные кусты, дубняк и елки. По ведру щелкали последние высокие ромашки, кончики еловых лап, какие-то голые прутики, и то глухо, то звонко раздавалось: «Бум! Бум!» — и далеко было слышно в тишине.

Тропа становилась круче и извилистей, пошли частые березы, их белые стволы поминутно выступали из мрака. Потом кончились и березы, на тропе стали попадаться камни, дохнуло свежестью, и, хоть за пятном света от фонаря ничего не было видно, впереди почудилось мне широкое пространство — я вышел к реке.

Тут уж увидел я далекий бакен справа. Красный огонек его двоился, отражаясь в воде. Потом показался бакен на моей стороне, гораздо ближе, и слегка мигнуло тоже, и река обозначилась.

По мокрой траве между кустами ивняка пошел я вниз по реке к тому месту, где обычно приставал катер, если кто-нибудь сходил на нашей глухой стороне. В темноте однотонно лопотал и булькал родничок. Я поставил фонарь, пошел к родничку, зачерпнул воды, напился и утерся рукавом. Потом поставил мокрое ведро рядом с фонарем и стал смотреть в сторону далекой пристани.

Катер уже стоял возле пристани, слабо видны были его красный и зеленый огни по бортам. Я сел и закурил. Руки у меня дрожали и были холодны. Я вдруг подумал, что если ее нет на катере, а с катера заметят мой фонарь, подумают, что я хочу ехать, и пристанут к берегу. Тогда я погасил фонарь.

Сразу стало темно, только, будто проколотые иголкой, горели бакены по всей реке. Тишина стояла звенящая; в этот поздний час, верно, один я был на многие километры на берегу. А наверху, за дубовым лесом, лежала темная деревенька, все давно спали, и только в моем доме на краю горел свет.

Я представил вдруг весь ее длинный путь ко мне, как она ехала из Архангельска, спала или сидела у окна в вагоне и с кем-то говорила. Как она, так же как и я, все эти дни думала о встрече со мной. И как она едет теперь по Оке и видит берега, о которых я ей писал, когда звал к себе. Как она выходит на палубу и в лицо ей дует ветер, несущий запах сырых дубовых лесов. И какие разговоры внизу всю дорогу, в тепле, за запотевшими стеклами, как ей объясняют, где сойти и где переночевать, если никто не встретит.

Потом я вспомнил Север, свои скитания по нему и то, как я жил на тоне и мы с ней били зубаток в белые ночи. Рыбаки тяжело спали, всхрапывая и постанывая, а мы дожидались отлива и выходили на карбасе в море. Она беззвучно гребла, а я глядывался в глубину, в клубки водорослей, разыскивая между ними очертания рыб. Я тихо подводил острогу и вонзал белое острие зубатке в затылок, напрягаясь, вынимал ее из воды, и она, брызгая нам в лицо, хищно билась на остроге, разевала ужасную пасть, свертывалась в кольцо и пружинисто распрямлялась, похожая на тритона. И потом, уже на дне карбаса, долго шуршала еще, вздрагивала и вцеплялась во что попало мертвой хваткой.

И я вспомнил весь этот год, какой он был для меня счастливый, как много успел я написать рассказов и еще, наверное, напишу за оставшиеся глухие, тихие дни на этой реке, среди этой природы, уже погасшей и предзимней...

Ночь была вокруг меня, и папираса, когда я затягивался, ярко освещала мои руки, и лицо, и сапоги, но не мешала мне видеть звезды, — а их было в эту осень такое ярчайшее множество, что виден был их пепельный свет, видна была освещенная звездами река, и деревья, и белые камни на берегу, темные четырехугольники полей на холмах, и в оврагах было гораздо темнее и душистее, чем в полях.

И я подумал тут же, что главное в жизни — не сколько ты проживешь: тридцать, пятьдесят или восемьдесят лет, — потому что этого все равно мало и умирать будет все равно ужасно, — а главное, сколько в жизни у каждого будет таких ночей.

Катер уже отошел от пристани. Он был так далек еще, что движения его нельзя было уловить. Казалось, он стоял на месте, но от пристани отделился, и это значило, что он шел теперь вверх, ко мне. Скоро послышался высокий звук дизеля, и мне вдруг стало страшно, что она не приедет, что ее нет на катере и я напрасно жду. Я увидел внезапно расстояние и дни, которые ей надо преодолеть, чтобы добраться до меня, и понял, как это непрочно все — какие-то мои планы счастливой жизни здесь вдвоем.

— Что же это! — сказал я вслух и поднялся. Я не мог уже сидеть и стал ходить по берегу. — Что же это! — время от времени беспомощно повторял я и все поглядывал на катер, а сам думал, как дико будет идти мне одному наверх со своей водой и как пусто станет в моем доме. И неужели нам не повезет наконец, и после стольких дней и наших неудач мы не встретимся и так все пойдет прахом?

Я вспомнил, как уезжал три месяца назад с Севера домой, как она неожиданно приехала в деревню с тони проводить меня, как стояла на мостках, пока я садился в мотобот, чтобы плыть к пароходу на далеком рейде, и как говорила все одно и то же: «Куда же ты едешь? Ты ничего не понимаешь! Ты ничего не понимаешь! Куда ты едешь?» А я уже на мотоботе среди прощаний, слез женщин, криков парней и всякого шума понимал, что делаю что-то ребяческое, уезжая и слабо надеясь как-то все поправить в будущем.

Катер был теперь близко, а я уже не ходил, а стоял на самом краю, на самом обрыве над черной водой и смотрел на него не отрываясь, щурясь и громко дыша от возбуждения и надежды.

Звук мотора внезапно стал ниже по тону, на рубке сверкнул прожектор, и дымный косой луч секанул по берегу, перескакивая с дерева на дерево. Катер искал место, где пристать. Он забирал все вправо, напряженный луч прожектора ударил мне в лицо, я отвернулся, потом опять поглядел. На верхней палубе стоял матрос и уже открывал борт, чтобы сойти вниз и перекинуть на берег трап. А рядом с ним в чем-то светлом стояла она.

Нос катера мягко и глубоко вонзился в берег, матрос сдвинул трап, помог ей сойти, а я перехватил чемодан, отнес его подальше, поставил рядом с ведром и тогда только медленно обернулся. Свет прожектора слепил меня, и я никак не мог ее рассмотреть. Отбрасывая громадную зыбкую тень на лесистый откос наверху, она подходила ко мне. Я хотел ее поцеловать, но потом раздумал, мне не хотелось этого под светом прожектора. И мы просто встали рядом, прикрываясь руками от света, и, напряженно улыбаясь, стали смотреть на катер. Катер дал задний ход, луч прожектора пополз в сторону, потом и вовсе погас, дизель внизу опять зашел, и катер — с длинным рядом освещенных окон в нижних салонах — быстро стал удаляться вверх по реке. Мы остались одни.

— Ну, здравствуй, — сказал я смущенно. Она поднялась на цыпочки, больно взяла меня за плечи и поцеловала в глаза.

— Пойдем! — сказал я и покашлял. — Черт, как темно, погоди, я фонарь зажгу...

Я зажег фонарь, и он опять сначала затуманился, и пришлось подождать, пока разгорится свеча и обсохнут, станут прозрачными стекла. Потом мы пошли: я — впереди с чемоданом и фонарем, она — сзади с ведром воды.

— Тебе не тяжело? — спросил я через минуту.

— Иди, иди! — сипло сказала она.

У нее всегда был сиплый, низкий голос, и вообще она была жесткая и сильная, и я долго не любил в ней этого. Потому что я любил в женщинах нежность. Но сейчас, здесь, на берегу реки, ночью, когда мы шли друг за другом к дому, после стольких дней злости, разлуки, писем и странных угрожающих снов, ее голос, и крепкое тело, и шершавые руки, ее северный выговор были как дыхание нездешней птицы — дикой, сероперой, отставшей от осенней стаи.

Мы свернули направо в овраг, по которому вверх шла неизвестно кем и когда мощенная короткая дорога — узкая, заросшая орешником, соснами и рябиной. Мы стали подниматься по ней во тьме, едва светя себе фонарем, а над нами текла узкая звездная река, по ней плыли сосновые черные ветви и по очереди закрывали и открывали звезды.

Еле переводя дух, мы вышли на листовничную аллею и пошли рядом. Мне вдруг захотелось ей все показать и рассказать о здешнем, о народе, о разных маленьких происшествиях.

— Понюхай, — сказал я, — как пахнет!

— Вином, — ответила она, слегка задыхаясь от ходьбы. — Я давно почуяла, еще на пароходе...

— Это листья. А вот пойдя сюда!

Мы оставили на аллее вещи, перепрыгнули через канавку и полезли в кусты, светя себе фонарем.

— Это где-то должно быть тут... — бормотал я.

— Грибы, — изумленно сказала она сзади. — Сыроежки.

Наконец я нашел то, что искал. Это были белые перья от цыпленка, рассеянные по траве, хвое и желтым листьям.

— Посмотри, — сказал я и стал светить. — У нас здесь птицеферма в деревушке. Цыплята подросли, их начали выпускать. И вот лиса приходит теперь каждый день и сидит в кустах. Когда цыплята разбредутся по лесу, она ловит какого-нибудь. И тут же жрет.

Я представил себе эту лису с сединой на темной морде, как она облизывается и фукает, чтобы сдуть с носа пух.

— Ее надо убить! — сказала она.

— У меня ружье, мы с тобой походим по лесам, и, может быть, нам повезет.

Мы выбрались опять на аллею и пошли дальше. Показалось освещенное окно моего дома, и я стал думать о том, что сейчас будет, когда мы придем. Мне сразу захотелось выпить, а у меня была рябиновка. Я ее делал сам, хорошо было рвать в лесу рябину, приносить домой, давить ее в соковыжималке, чтобы текла желтая пена, а потом цедить сок в бутылку с водкой.

— А у нас зима! — сказала она как будто удивленно. — Двина замерзла, только посерединке ледоколы проделали проход. Все белое, а проход черный... И пар идет. А когда корабль идет по черной воде, то по льду рядом собаки бегут. И почему-то бегут троем.

Она так и сказала по-северному: «троем», а я представил Двину, и пароходы, и Архангельск, и деревню на Белом море, откуда она приехала. Высокие двухэтажные пустые избы, черные стены, безмолвие и уединенность.

— Лед уже появился? — спросил я. — В море?

— Нагоняет, — сказала она и тоже о чем-то подумала, может быть, о том, что оставила там. — Обратно на оленях придется добираться, если...

Она замолчала, я подождал, прислушиваясь к ее дыханию и шагам, потом спросил:

— Что если?

— Ничего, — особенно сипло и медленно сказала она. — Если еще льду нагонит, вот что!

Потопав по крыльцу, мы вошли в дом.

— У-у! — сказала она, оглядываясь и снимая платок. Она всегда, когда удивлялась или радовалась, говорила это свое низкое и медленное «у».

Дом был мал и стар, я снял его у москвича, который жил в нем только летом. Мебели почти не было, только старые кровати, стол да стулья... Стены точил жучок, и все они были обсыпаны белой мукой. Зато в доме были приемник, электрический свет, печка и несколько толстых старых книг, которые я любил читать по вечерам.

— Раздевайся! — сказал я. — Сейчас печку растопим...

И пошел на двор рубить хворост для печки. Но мне было что-то не по себе от счастья, в голове звенело, руки тряслись, вообще весь я как-то ослаб и хотелось посидеть. Звезды сверкали мелко и остро. «Будет мороз, — подумал я. — И, значит, утром слетят все листья. Скоро зазимок!»

На Оке медленно возник певучий трехтоновый гудок и долго отдавался, перекачиваясь по холмам. Где-то внизу шел буксир, один из тех старых паровых буксиров,

которых мало уж теперь. Новые катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво. Разбуженные гудком, на птичнике прокричали фальцетом несколько петушков... Я нарубил сучьев, набрал дров и пошел в дом. Она сняла пальто, стояла спиной ко мне и шелестела газетами, доставала что-то из чемодана. Была она в цветистом платье, оно было тесно ей, и, приведи я ее в Москве куда-нибудь в гости, в клуб, все бы незаметно улыбались, а это, наверное, было ее лучшее платье. И я вспомнил, что обычно она ходит в спортивных брюках, заправленных в сапоги, а поверх какая-нибудь старая, выгоревшая юбка, и это очень там было здорово.

Я поставил чайник и стал растапливать печь. В печи скоро загудело, хворост затрещал, запахло дымом и дровами.

— Это тебе! — сказала она сзади.

Я обернулся и увидел на столе семгу — великолепную, тускло-серебряную, с широкой темной спиной, с загнутой сверху нижней челюстью. В доме запахло рыбой, и тоска по странствиям опять охватила меня.

Она была поморкой, она даже родилась в море на мотоботе летом в золотую ночь. Но к ночам она была равнодушна. Ведь только приезжий видит их и сходит с ума от тишины и одиночества. Только когда ты там гость, оторван от всех и как бы всеми забыт, только тогда ты не спишь ночью и все думаешь, думаешь и говоришь себе: «Ну-ну! Это ничего, это просто ночь, а ты здесь не навсегда, и что тебе до ночи, пусть солнце крадется краем моря. Спи, спи...»

А она? Она крепко спала ночами на тонях за ситцевой занавеской, потому что на рассвете ей надо было вставать и вместе с дюжими рыбаками грести, доставать из ловушек рыбу, а потом варить уху, мыть посуду... И это было всегда, каждое лето, пока не приехал я.

И вот теперь на Оке мы пьем рябиновку, едим семгу и говорим, вспоминаем разные разности. И то, как мы выезжали белыми ночами в море бить зубаток, и как тянули в шторм с рыбаками ловушки, и захлебывались горькой водой, и нас мутило, и как ходили на маяк за хлебом, и как сидели однажды ночью в деревенской библиотечке, и, разувшись, скинув телогрейки, читали все газеты и журналы, вышедшие за те дни, когда мы были на тоне.

Я бросил на пол к печке шубу мехом вверх, мы поставили рядом чайник и конфеты, взяли чашки и легли на эту шубу, глядя попеременно то друг на друга, то в розовую топку, на угли, как по ним перебежали огоньки. И, чтобы так подольше лежать, я иногда вставал и подбрасывал в печь хворосту, и он начинал трещать, а мы отодвигались от жара. Часа в два ночи я встал в темноте, потому что не мог спать. Мне казалось: если я усну, она куда-то уйдет от меня, я не буду ее ощущать, а мне хотелось, чтобы она была все время со мной и я бы это знал. «Возьми меня в свои сны, чтобы я был всегда с тобой! — хотелось мне сказать. — Потому что нельзя расставаться надолго». Потом я подумал, что люди, которые уходят от нас и мы их не встречаем больше, эти люди для нас умирают. А мы для них. Странные мысли приходят в голову ночью, когда не можешь спать от радости или от тоски.

— Ты спишь? — спросил я тихо.

— Нет, — отозвалась она с постели. — Мне хорошо. Не гляди, я оденусь...

Тогда я пошел в угол, где на ремнях на стене висел приемник, и включил его. Среди треска и бормотания дикторов я искал музыку. Я знал, что она должна быть, и нашел ее. Низкий мужской голос что-то сказал по-английски, потом была пауза, и я понял, что сейчас станут играть.

Я вздрогнул, потому что с первого же звука узнал мелодию. Когда мне хорошо или, наоборот, больно, я всегда вспоминаю эту джазовую мелодию. Она чужда мне, но в ней звучит какая-то тайная мысль, и не понять, печальна она или радостна. Я час-

то вспоминал ее, когда ехал куда-нибудь, когда что-нибудь меня радовало или, наоборот, угнетало. Напомнила она мне и ту московскую ночь, когда мы все ездили, ездили и ходили, одинокие и несчастные, и во всю ночь ни слова упрека не услышал я от нее, и мне было стыдно.

Она уезжала в Архангельск после пяти каких-то пустых дней, проведенных в Москве. Все было точно так же, как всегда бывает на московских вокзалах: катили свои тележки носильщики, зудели автокары, кругом торопились, прощались, оставались считанные минуты... Она уезжала, хотя могла бы и не ехать еще, у нее было время — несколько свободных дней. А мне было досадно, горько, я злился и на себя и на нее. Я думал, как пусто мне станет без нее и опять придется пить, чтобы как-то справиться с тоской.

— Не уезжай! — сказал я.

Она только усмехнулась и дрожащими глазами снизу посмотрела на меня. Глаза у нее были темные, с зелеными искорками, нельзя было понять — зеленые они у нее или черные. Но когда она на меня там смотрела, они были черные, это я хорошо помню.

— Как глупо! — говорил я. — То я уехал с Севера, ничего не поняв, а теперь ты, и опять ничего... Как глупо! Не уезжай!

— Чего теперь говорить, — пробормотала она со злостью.

— Не нужно было останавливаться у каких-то родных, которые всегда дома!

— А у кого? У тебя, что ли? Все равно, — сказала она упрямо. — Чего теперь говорить...

— Поедем сейчас в гостиницу, ты поживешь там эти дни.

— Поезд сейчас пойдет, — сказала она, отворачиваясь.

— Да нет, погоди, подумай! После стольких писем мы будем вместе, одни, подумай!

Она долго молчала, поводя глазами по моему лицу, прикусив губу, наконец спросила жалко, подстреленно:

— А ты будешь рад, если я останусь?

Мне стало трудно дышать, комок подступил к горлу, я повернулся, быстро вошел в вагон, наталкиваясь на кого-то, протискиваясь, отыскал ее купе, взял чемодан и вышел. До сих пор помню, как смотрели на нас проводники и все, кто был около вагона в ту минуту.

— Поедем, — сказал я.

— А билет? — сияя глазами, спросила она.

— Плевать на билет! — сказал я и взял ее за руку. Мы вышли на площадь и сели в такси.

— В гостиницу, — сказал я.

— В какую? — спросил шофер.

— Все равно в какую!

Машина тронулась, понеслась навстречу светофорам, уже горящим неоновым вывескам, мимо вокзалов, людей и домов.

— Пстой, старик, — сказал я шоферу возле какого-то магазина, вышел и купил бутылку вина. Я вернулся, засунув ее в боковой карман. Я воображал, как мы пьем это вино одни, поднимая бокалы и глядя друг другу в глаза. Я ощущал уже его вкус во рту, когда мы подъехали к гостинице и я пошел к администратору.

— Мест нет, — сообщил он мне спокойно.

— Любой номер. Понимаете — любой номер, самый плохой или самый лучший!

— Мест нет, — кисло повторил он и с досадой взял трубку непрерывно звонившего телефона.

Она дожидалась меня в вестибюле, робко глядя на великолепие колонн и зеркал. Она и на меня взглянула робко, будто я был владыкой всего этого! Мы вышли к стоянке такси. — Поедем в другую, — сказал я огорченно.

Она безропотно села в машину, и мы понеслись по Москве. Я заехал к другу занять денег и чуть было не попросил приютить нас, но у сестры его были гости, я посмотрел на них, на стол с вином, на тахту, на задранные ноги в узких мокасинах и ничего не попросил. Зато денег взял побольше.

— Выпей! — сказал мне друг, перехватив мой взгляд.

— Нет, меня ждут, спасибо!

Прошел час и два, а мы все ездили, и везде нам говорили одно и то же: «Мест нет!» Выходя на улицу, я оглядывал огромные здания гостиниц и домов, все эти многоэтажные ряды окон, многие из которых были уже погашены, и думал обо всех, кто в этот час может спокойно сидеть и лежать у себя в комнате, и слушать радио, и читать что-нибудь на сон или обнимать женщину, и у меня начинало болеть сердце.

Наконец, измученные, мы отвезли ее чемодан на вокзал, сдали его в камеру хранения и медленно пошли к Сокольникам. Был двенадцатый час ночи.

— Что ж будем делать? — со смехом спросил я.

— Не знаю, — сказала она устало. — Может, в ресторан зайдём? Я есть хочу...

— Рестораны закрыты, — сказал я, посмотрев на часы, и опять глупо засмеялся. — Пошли в центр на бульвары.

Мы шли быстрым шагом, как ходили на Севере по берегу моря, когда нам нужно было не опоздать в кино в клубе за двадцать километров. Фонари погасли, горели только через один и на одной стороне. Людей почти не стало на улицах. Наконец мы пришли на Тверской бульвар и сели на скамейку.

— А к тебе никак нельзя? — спросила она с надеждой.

— А то бы я ходил с тобой! Отец, мать — куда!

— Ну ладно, — сказала она. — Не горюй, завтра я уеду, есть еще утренний поезд. А потом... — она вздохнула, — потом ты опять когда-нибудь приедешь к нам.

Я обнял ее, она прижалась ко мне, закрыла глаза.

— Мы и так посидим, правда? — бормотала она, шевелясь на скамейке и устраиваясь поудобней. — Ты хороший, я тебя люблю, дурачок, я тебя там еще полюбила, а ты не знал... Бедный ты, бедный!

Посидев минуту неподвижно, она скинула туфли и подобрала ноги, укрыв их юбкой.

— Ноги болят, — сонно бормотала она. — Туфли эти... Без привычки...

По боковой аллее шли два милиционера. Увидев нас, один из них вышел на свет и пошел к нам.

— Пройдите, гражданин! — сказал он почему-то только мне. — Это не разрешается.

— Что не разрешается? — спросил я в то время, пока она смущенно надевала туфли на опухшие ноги.

— Нечего разговаривать! Сказано — пройдите!

Мы встали и пошли. Я снова стал разглядывать дома и окна, и мне все время представлялась комната с тахтой. Больше в этой комнате ничего не было, только слабый розовый свет и тахта.

— Слушай, зайдём в подъезд, — сказал я неуверенно.

— Пойдем, — согласилась она и слабо улыбнулась. — Я там туфли сниму, на ступеньке посидим.

Мы вошли в какой-то темный двор, пошли в угол к самому дальнему подъезду, закрыли за собой дверь и сели на ступеньку. Она тотчас сняла туфли и стала растирать ступни.

— Устала? — спросил я и закурил. — Бедная, не повезло нам в Москве.

— Да, — она потерлась щекой о мое плечо. — Очень большой город.

Послышались шаги, дверь отворилась, в подъезд заглянула дворничиха и увидела нас.

— А ну, пошли отсюда! — закричала она. — Напасти на вас, чертей, нету, как кошки подворотные шляются! Пошли, а то засвищу сейчас!

И она вытащила из кармана фартука блестящий свисток. Лицо у нее было злое, скуластое. Мы опять пошли двором, сзади шла дворничиха и ругалась. На улице мы посмотрели друг на друга и засмеялись.

— Это тебе не Белое море, — сказал я.

— Ничего, — опять успокоила она меня, — давай просто так ходить. Или поедем на вокзал, на лавках хоть поспим, а?

— Ладно, — согласился я и вдруг оживился: — Слушай, я дурак, давай поедем за город! Возьмем такси, деньги у меня есть, и поедем километров за тридцать — у нас так делают!

По улице медленно проезжало такси. Я любил раньше, возвращаясь поздно, смотреть на эти ночные такси. Как заколдованные, медленно блуждают они по спящему городу, мерцая зелеными огоньками, и, глядя на эти огоньки, всегда хочется уехать куда-нибудь далеко.

Мы остановили такси.

— За город? — переспросил таксист и сразу заметно понаглед. — Семь с полтиной — повезу.

— Ладно, — сказал я. Мне было уже все равно.

Пока ехали, мне захотелось спать. Дорога была пустынна, на западе держался еще сумрак, но восток побелел, начинался рассвет. Ветер ровно гудел снаружи, а в такси сильно пахло бензином.

— Тут, что ли? — спросил шофер, замедляя ход возле какой-то рощицы. — Дальше у нас не ездят. Периферийная, что ли? — спросил он, глядя на нее.

Мы вышли, и нас тут же стало знобить от предрассветного холода.

— Полчаса хватит? — спросил шофер, оценивающе разглядывая меня. — Я вздремну, придете — разбудите. Сигаретка есть? Дай-ка закурю...

И стал разворачиваться на обочине, а мы пошли жесткой травой к лесу, и единственным моим ощущением тогда было ощущение сырости и озноба. Костюм мой задубел, отяжелел, ботинки стали мокры, а складка на брюках разгладилась. В лесу стоял сумеречный свет; я взглянул на нее, думая, что же я буду теперь делать. У нее был усталый вид, лицо осунулось и под глазами лежали круги. Она вдруг откровенно зевнула и скучно посмотрела вокруг, как бы недоумевая, зачем мы сюда заехали.

— Тоже мне лес... — пробормотала она и вдруг враждебно поглядела на меня.

Я тоже зевнул, почувствовал скуку и злость, что я не дома в постели, а здесь, в сырости и холоде.

— Надоело, — сказала она, судорожно зевая, низко и сипло выговаривая «надоево» вместо «надоело». — О господи! Не надо ничего, я не хочу, поехали обратно...

— Назад так назад, — сказал я вяло и тоже зевнул. — Только давай выпьем, а то карман оттягивает.

Я вытащил бутылку, попробовал вышибить пробку, но пробка втиснута была очень плотно. Тогда я проткнул ее внутрь сургучом.

— Пей, — сказал я, подавая ей теплую бутылку.

— Не хочу, — пробормотала она, но бутылку взяла и, вздохнув, стала пить. Две струйки, как кровь, пролились по ее подбородку, она закашлялась и отдала мне бутылку. Я допил ее и бросил.

— Пошли, — сказал я с облегчением.

Мы опять брели по сырому лесу, по папоротникам, потом по кочкам луговины, и она все приподнимала платье, чтобы не забрызгать росой подол.

— Чего так рано? — спросил шофер и насмешливо посмотрел на меня. — Характером не сошлись?

— Давай крути! — злобно сказал я, еле удерживаясь, чтобы не ударить его.

Мы ехали назад и дремали, приваливаясь друг к другу при крутых поворотах, и, помню, прикосновения к ней были неприятны мне, да и ей тоже, наверное... Было часов пять утра, а до поезда надо было болтаться где-то еще часа три. Мне было плохо, вино ударило в голову, но как-то тяжело, душно.

Три часа эти были мучением, а главное, что я не мог уйти, а должен был с ней быть до конца. Еле дождавшись поезда, я снова провожал ее и не знал, что сказать, голова у меня трещала.

— Ну ладно, пиши, — сказала она и взялась за поручень.

Я нашел в себе силы приостановить ее.

— Не сердись, — пробормотал я, поцеловал ее в лоб и пошел к выходу. Помню, мне стало так легко, когда я с ней расстался, что я даже удивился, но было и грустно; где-то глубоко какая-то ранка саднила в душе, и стыдно как-то было.

Я подтащил шубу к приемнику, и мы сели на нее рядом, обнявшись. Все эти месяцы в душе моей жило чувство потери, а теперь я все нашел, и найденное было даже лучше, чем я мог предполагать.

Элегически бормотал контрабас, отыскивая во тьме свои контрапунктические ходы, блуждая в неразрешимости, поднимаясь и опускаясь, и мне его медленный ход напоминал звездное небо. А прислушиваясь к нему, жаловался на что-то саксофон, снова и снова забиралась в неистовые верха труба, и рояль время от времени входил между ними со своими квинтовыми апокалипсическими аккордами. И, как метроном, как время, раскладывая ритм на синкопы, мягкими пустыми ударами подчинял себе все ударник.

— Не будем зажигать света, ладно? — сказала она, глядя с пола вверх, на зеленоватую шкалу приемника, на его волчий глаз.

— Ладно, — согласился я и подумал, что, может быть, такой ночи у меня никогда больше не будет. И мне стало грустно, что прошло уже три часа, мне захотелось, чтобы все это началось сначала, чтобы я опять вышел с фонарем и ждал, чтобы мы снова вспоминали, а потом опять боялись бы расстаться друг с другом во тьме.

Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и сипло сказала:

— Снег...

Я тоже привстал и посмотрел в темноту за окном. Шел неслышный снег. Первый настоящий снег этой осенью. Я представил, как завтра днем обнаружатся мышинные следы вокруг куч хвороста в лесу и заячьи следы возле акации, которую они так любят глотать по ночам, вспомнил о своем ружье, мне стало весело, и пробрала дрожь. Как славно, что снег, и что приехала она, и мы одни, и с нами музыка, наше прошлое и будущее, которое, может быть, будет лучше прошлого, и что завтра я поведу ее на свои любимые места, покажу Оку, поля, холмы, лес и овраги... Ночь шла, а мы все не могли заснуть, говорили шепотом и обнимались, боясь потерять друг друга, и опять топили печку, смотрели в ее огненный зев, и красный свет пек наши лица. Заснули мы часов в семь утра, уж окна поголубели, и проспали долго, потому что нас никто не будил в нашем доме. Пока мы спали, взошло солнце и все подтаяло, но потом снова заморозило. Попив чаю, я взял ружье, и мы вышли из дому. Даже больно на секунду нам стало — такой белый зимний свет ударил нам в глаза и так чист и резок был

воздух. Снег сошел, но всюду остались ледяные корки. Они были матовы, полупрозрачны. Из коровника шел душистый пар, телята толкались возле и громко топотали, как по деревянным мосткам. Это потому, что под верхними ледяными колчами еще не замерзла навозная жижа. А некоторые с наслаждением паслись на седых озимых и часто мочились, задирая хвосты и расставляя курчавые в паху ноги. И там, где они мочились, появлялись изумрудные пятна мокрой молодой ржи.

Мы шли сперва по дороге. Колеи затянулись матовым, но подо льдом стояла глинистая вода, и, когда сапоги наши проламывали корку, на лед коричнево брызгало. А в лесу из-подо льда торчали поздние, едва зажелтевшие одуванчики. Во льду видны были вмерзшие листья и хвоя, стояли заледеневшие последние грибы, и, когда мы ударяли по ним ногой, они сламывались и гремя, подскакивая, долго катились по льду. Лед под нашими ногами проседал, и далеко хрустело и гремело кругом: спереди, сзади и по бокам.

Поля на холмах были дымно-зелены издали и будто пересыпаны мукой, стога почернели, лес сквозил, был черен и гол, только резко проступал березовый белый часток, барахтались и лоснились зеленью стволы осин, да кое-где по лесистым холмам цвели, горели еще последние красные шапки неопавших деревьев. Река сквозь лес была видна на большое расстояние и была пустынна и холодна на взгляд. Мы спустились вниз по снежному оврагу, оставляя за собой глубокие, сперва грязные, а потом чистые следы, и стали пить из родника возле срубленной осины. В неподвижном бочажке родника плотно опустились на дно почерневшие кленовые и дубовые листья, а срубленная осина пахла горько и холодно, и древесина на срубе была янтарной.

— Хорошо? — спросил я, посмотрев на нее, и изумился: глаза у нее были зеленые.

— Хорошо! — сказала она, жадно озираясь и облизывая губы.

— Лучше, чем на Белом море? — спросил я еще. Она опять стала смотреть на реку и вверх по откосу, и глаза ее еще позеленели.

— Ну, Белое море... — сказала она неопределенно. — У нас... у нас... А тут дубы, — перебила она себя. — Как это ты нашел такое место?

Я был счастлив, но мне и странно как-то было и боязно: уж очень все хорошо выходило у меня в ту осень. Чтобы успокоиться, я закурил и стал весь куриться дымом и паром. На Оке со стороны Алексина показался буксирный катер, он шибко бежал вниз, гнал волну, и мы молча проводили его глазами. Из машины у него шел обильный пар и струей еще выскакивал на сторону из борта, из дырки над темной водой.

Когда катер скрылся за поворотом, мы, держась за руки, стали подниматься вверх среди редких деревьев в светлом лесу, чтобы посмотреть еще раз на Оку сверху. Мы шли тихо, молча, как в белом сне, в котором мы наконец были вместе.

1961

«ВОН БЕЖИТ СОБАКА!»

Давно погас высоко рдевший летний закат, пронеслись, остались позади мертво освещенные люминесцентными лампами пустоватые вечерние города, автобус вырвался, наконец, на широкую равнинность шоссе и с заунывным однообразным звуком «ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж», с гулом за стеклами, не повышая и не понижая скорости, слегка поваливаясь на поворотах, торжествующе и устрашающе помчался в темноту, далеко и широко бросая свет всех своих нижних и верхних фар.

В салоне сперва говорили, шуршали газетами и журналами, потихоньку, прямо из бутылки выпивали, закусывали, ходили вперед курить, потом начали успокаиваться, откидывать кресла, отваливаться, гасить яркие молочные лампочки, стали сонно покачивать головами на валиках, и через какой-нибудь час в теплом, сложно пахнущем автобусе было темно, все спали, только внизу, в проходе, горел над полом синий свет, а еще ниже, под полом, струилось намащенное шоссе и бешено вращались колеса.

Не спали только Крымов и его соседка. Московский механик Крымов не спал потому, что давно не выезжал из Москвы и теперь был счастлив. А счастлив он был оттого, что ехал на три дня ловить рыбу в свое, особое, тайное место, оттого, что внизу, в багажнике, среди многих чужих чемоданов и сумок, в крепком яблочном запахе, в совершенной темноте лежали его рюкзак и спиннинг, оттого, наконец, что на рассвете он должен был выйти на повороте шоссе и пойти мокрым лугом к реке, где ждало его недолгое горячее счастье рыбака.

Он не мог сидеть спокойно, оборачивался, провожая взглядом что-то темное, неразборчивое, пронесившееся мимо, вытягивал шею и смотрел вперед, через плечо шофера, сквозь ветровое стекло на далекую матовость шоссе.

А соседка его не спала неизвестно почему. Сидела неподвижно, прикрыв ресницы, закусив красные губы, которые теперь в темноте казались черными.

Не спал в автобусе и еще один человек — шофер. Он был чудовищно толст, волосат, весь расстегнут — сквозь одежду мощно, яростно выпирало его тело, — и только головка была мала, гладко причесана на прямой пробор и глянцевица, так что даже поблескивала в темноте. Могучие шерстистые руки его, обнаженные по локоть, спокойно лежали на баранке, да и весь он был спокоен, точно Будда, как будто знал нечто возвышающее его над всеми пассажирами, над дорогой и над пространством. Он был силуэтно темен сзади и бледно озарен спереди светом приборов и отсветами с дороги.

Крымову захотелось курить, но совестно было беспокоить соседку, и он не пошел вперед, достал сигарету, нагнувшись, воровато чиркнул зажигалкой, с наслаждением затянулся и выпустил дым тонкой, невидимой в темноте струйкой вниз, под ноги.

— У вас есть закурить? — услышал он шепот соседки. — Страшно хочу курить...

Доставая сигарету, Крымов слегка привалился к ней и близко взглянул ей в лицо, но увидел только бледное пятно с темными провалами глаз, и губы, и прямые волосы до плеч. Он дал ей сигарету и снова чиркнул зажигалкой. Она, так же как и он, прикурила, нагнувшись, загораживая огонек ладонями, которые на секунду стали прозрачно-розовыми, и опять Крымов ничего не рассмотрел, только прямой нос, скулу и опущенные ресницы.

— Ах, как хорошо! — сказала она, затянувшись и наклоняясь к нему. — Это «Ароматные»? Спасибо, они крепкие!

От нее горько и нежно пахло духами, и было в ее шепоте что-то странное, а не только благодарность, будто она просила его: «Ну поговорите же со мной, познакомьтесь, а то мне скучно ехать». И Крымов на минуту ощутил прилив той дорожной легкости, когда хочется говорить игриво, намеками, с нарочитой дрожащей открытостью в голосе, и будто случайно касаться груди спутницы, и пригибаться, будто выглядывая что-то в окне, чтобы своим лицом коснуться ее волос и посмотреть, не отстранится ли. А потом, конечно, слова: «Вы меня не так поняли», «Что вы! Разве я такой?» — и, конечно же, адресок, телефон в книжечку или просто назначить встречу там-то и тогда-то — это в случае, если едут в одно место.

Он встрепнулся и ощутил сердцебиение, ноздри его дрогнули, но тут же все погасло, заслоненное неистребимым счастьем, которое ждало его утром.

— Это что! — зашептал он, загоровшись уже другим. — Это не курение — в автобусе или в цехе, а вот на реке утром, знаете, когда рыба бьет, и все где-то в стороне,

и вдруг у тебя как стибанет! На берег ее выволокешь, с крючка снимешь, бросишь в траву, а она прыгает, ух! Вот тогда закуришь так закуришь!..

— Вы рыбак? — прошептала она.

— Заядлый! — Крымов затянулся и сморщил нос от удовольствия. — Я сам механик, месяцами реки не вижу, у нас работа — производство, завод, это вам не артель, не посидишь... Я последний раз ловил, знаете, когда? В мае! А теперь июль. Я работник толковый, ну, на меня и валят, дали вот три дня отгула за неурочное время. Ну ничего, у меня отпуск скоро, тогда уж я дорвусь!

— Куда же вы едете? — спросила она, и опять в ее шепоте Крымову почудилось что-то странное, какой-то еще вопрос.

— Есть одно местечко, — уклончиво, суеверно пробормотал он. — А вы почему не спите, скоро сходить?

— Нет, я до конца еду... Вы говорите, на три дня? Когда же назад?

— Во вторник.

— Во вторник? Пойдите... во вторник... Она подумала о чем-то, потом вздохнула и спросила:

— А почему же вы не спите?

— Мне сходить в четыре утра. Крымов задрал рукав куртки и долго смотрел на часы, разбирая, который час.

— Три часа осталось. Да и не спится, тут уж лучше не спать, а то разоспишься, потом на рыбалке будешь носом клевать...

Шофер оглянулся, снова стал смотреть на дорогу, и в фигуре его появилась нерешительность. Потом он осторожно протянул руку к радиоприемнику и включил его. Приемник засипел, шофер испуганно приглушил его и стал осторожно бродить по эфиру. Он нашел одну станцию, другую, третью, но все это были или бормочущие иностранные голоса, или народные инструменты, а это, наверное, ему не нужно было. Наконец из шума возник слабый звук джаза, и шофер отнял руку. Он даже улыбнулся от наслаждения, и видно было сзади, как сдвинулись к ушам его пухлые щеки.

Музыка была тиха, однотонна, одна и та же мелодия бесконечно переходила от рояля к саксофону, к трубе, к электрогитаре, и Крымов с соседкой замолчали, чутко слушая, думая каждый о своём и пошевеливаясь, покачиваясь под ритмические звуки контрабаса.

За окном изредка проносились оставленные на ночь одинокие грузовики на обочинах, и было странно смотреть на их неподвижность, и одинокость. Казалось, в мире что-то произошло, и все шоферы ушли, включив на прощание подфарники на крыльях, и подфарники эти будут гореть долго, покуда не иссякнет энергия в аккумуляторах.

Еще реже попадались навстречу такие же, как и этот, междугородные автобусы. Задолго до встречи за горизонтом, за выпуклостью шоссе, начинало дрожать зарево света, потом в неизмеримой дали появлялась сверкающая точка, она близилась, росла, двоилась, троилась, и уже видны были пять мощных фар внизу и наверху, которые вдруг гасли, снова включались и снова гасли, оба автобуса замедляли ход и, наконец, останавливались. Шоферы, высунувшись, недолго о чем-то переговаривались, от моторов шел дым, и лучи фар пробивали его косыми столбами. Потом автобусы трогались и через минуту снова мчались в черноту, каждый в свою сторону.

«Интересно, куда она едет? — думал иногда Крымов о соседке. — И замужем ли? И почему стала курить: так просто или от горя?»

Но тут же забывал о ней, поглощенный дорогой, ожиданием рассвета, мыслями о трех днях, которые он проживет у реки. Он думал, не начала ли течь палатка, и что это плохо в случае дождя, и не задержится ли автобус по какой-нибудь причине в дороге, а утренний клев между тем пройдет...

Счастливого беспокойство томило его, и соседка занимала воображение. А она теперь молчала, откинув голову на валик кресла и прикрыв глаза. Но когда он слишком долго засматривался вперед на дорогу или в окно, а потом взглядывал на нее, ему казалось каждый раз, что лицо ее будто полуповернуто к нему, а глаза, неразличимые в темноте, следят за ним из-под ресниц.

«Кто она?» — думал он, но спросить не решался. И старался догадаться, вспоминая некоторое сказанное ею и тихий ее шепот. Он ее как-то не рассмотрел вечером, не до того ему было, а теперь хотелось, чтобы она была красива.

— Дайте закурить! — внезапно зашептала она. — И расскажите что-нибудь... Что молча ехать, все равно не спим!

Крымов уловил нотку раздражения в ее шепоте, удивился, но промолчал и покорно дал сигарету. «О чем говорить? — думал он, уже сердясь немного. — Странная какая-то». А сам сказал:

— Я все думаю про женщин, что вы охоты не любите, рыбалки, а ведь это большое чувство! А вы не только не любите, а как-то не понимаете даже, будто в вас пустота в этом смысле. Почему бы это?

В темноте было видно, как она пошевелилась, откинула волосы и потерла лоб.

— Охота — убийство, а женщина — мать, и ей убийство вдвойне противно. Вы говорите, наслаждение смотреть, как рыба бьется, а мне это гадко. Но я вас понимаю, то есть понимаю, что вы охотитесь и ловите рыбу не из-за жестокости. Толстой, например, очень страдал потом, после охоты, вспоминая смерть. И Пришвин тоже...

«Ну, понесла!» — уныло подумал Крымов и посмотрел на часы.

— Полтора часа осталось! — радостно сказал он. Тогда соседка погасила сигарету, подняла воротник плаща, подобрала ноги и положила голову боком на валик, затылком к Крымову.

«Спать захотела, — решил Крымов. — Ну и ладно, давно пора, не люблю языком болтать в дороге! Хорошо еще, что я не женат, — неожиданно подумал он. — А что была бы вот такая, рассуждала бы про убийство, мораль читала... Опупеешь!» Но ему где-то и обидно стало, и хотя он думал только об утренней рыбной ловле, но прежней глубокой, потрясающей радости уже не ощущал.

Шофер впереди нагнулся, не отрывая взгляда от дороги, пошарил что-то внизу, держа одной рукой руль. Потом он выпрямился и стал с чем-то возиться на коленях, по-прежнему держа руль одной левой рукой. Крымов с интересом следил за ним. Наконец шофер взял в рот бутылку, запрокинул ее и отпил. Вздохнул, опять запрокинул и отпил, и видно было, как шея и бока его толстеют и опадают во время глотков.

«Что это он пьет? — подумал Крымов. — Пиво, что ли? Да нет, им не положено в дороге... Ага, лимонад! Хоть бы приехать скорее!»

И тут же вспомнил о своем кофе в рюкзаке и о котелке, и ему захотелось кофе.

Стало заметно светлеть, но зелень на деревьях была еще темна, и только редкие домики, мелькавшие иногда по полям, поражали своей утренней белизной. Во рту у Крымова от курения и жажды пересохло, но настроение улучшилось, он забыл уже окончательно про соседку и думал только про свое место, про реку, про туман и жадно смотрел вперед.

Шофер выключил фары, и рассвет стал заметнее. Светлело с каждой минутой, и все — километровые столбики, рекламные щиты, дорожные знаки, линия горизонта даже на западе — было отчетливо видно.

Миновали пятисотый километр, шофер обернулся, поймал вопросительный взгляд Крымова и кивнул. Через минуту он сбросил газ и взял направо, к обочине. Обозначился крутой поворот, кинулся в глаза большой луг, и там, вдали, метрах в семистах от шоссе, чернели верхушки ивняка.

Автобус уже на холостом ходу катил все медленнее, глуше, тише, шипы на покрышках уже не жужжали, а дробно лопотали, наконец, все будто совсем остановилось, и только хруст песка под колесами говорил, что автобус еще движется, проходя последний метр. Все смолкло, шофер снял руки с баранки, сладко потянулся, выпирая отовсюду телом, зевнул и открыл дверь. Он вышел первый и загремел внизу багажником.

— Извините! — сказал Крымов, торопливо поднимаясь и трогая соседку за плечо. — А? — сказала та испуганно. — Уже? Вы приехали? Пожалуйста, счастливо... Как это? Ни пуха ни пера?

«К черту!» — по охотничьей привычке мысленно ответил Крымов, пробираясь вперед. Он выскочил наружу и прежде всего радостно поглядел на луг, потом обернулся к автобусу. Автобус стоял, огромный, длинный, слегка запыленный, с нагретыми покрышками и мотором, и источал тепло в утреннем холоде. Отделение багажника по правому борту было открыто. Крымов подошел, раздвинул чемоданы и сумки, достал рюкзак и еле нашел спиннинг. Шофер громко хлопнул железной крышкой багажника, запер его и, обойдя автобус спереди, ушел в лес.

— Вот, значит, где ваше место! — раздалось сзади. Крымов оглянулся и увидел соседку.

Она вышла из автобуса и стояла, откидывая назад волосы и глядя на луг. Она была красивая и напоминала киноактрису, но Крымову уже не до нее было.

— Ну, дайте мне на прощание еще закурить, — сказала она, подходя и застенчиво посмеиваясь. — Вы очень добры! А я вас всю ночь мучаю просьбами...

Когда она прикуривала, у нее так дрожали губы и руки, что она долго не могла попасть концом сигареты в огонек. «Чего это она? — удивился Крымов и посмотрел на свой рюкзак. — Надо идти, пожалуй!»

— Вы счастливый! — сказала она, жадно затягиваясь. — В такой тишине три дня проживете. — Она замолчала и прислушалась, снимая с губы табачную крошку. — Птицы проснулись. Слышите? А мне надо в Псков...

«Идти или не идти? — колебался Крымов, не слушая ее. Но уйти сразу теперь было уже неудобно. — Погожу, пока они уедут, не час же будут стоять!» — решил Крымов и тоже закурил.

— Н-да... — сказал он, чтобы что-нибудь сказать.

— А знаете, я давно мечтаю в палатке пожить. У вас есть палатка? — сказала она, рассматривая Крымова сбоку. Лицо ее внезапно стало скорбным, углы губ дрогнули и пошли вниз. — Я ведь москвичка, и все как-то не выходило...

— Н-да... — сказал опять Крымов, не глядя на неё, переминаясь и смотря на пустынное шоссе, в лес, куда ушел шофер.

Тогда она затянулась несколько раз, морщась, задыхаясь, бросила сигарету и прикусила губу.

Как раз в эту минуту из придорожных кустов показалась собака и побежала по шоссе, наискось пересекая его. Она была мокра от росы, шерсть на брюхе и на лапах у нее курчавилась, а капли росы на морде и усах бруснично блестели от заалевшего уже востока.

— Вон бежит собака! — сказал Крымов, машинально, не думая ни о чем. — Вон бежит собака! — медленно, с удовольствием повторил он, как повторяют иногда бессмысленно запомнившуюся стихотворную строку.

Собака бежала деловито, целеустремленно, не глядя по сторонам, и стояла такая тишина, что слышно было, как по асфальту клацали ее когти.

Наконец и шофер появился из лесу, вышел на шоссе, Досмотрел на бегущую собаку, посвистал ей, но она не обернулась. Шофер подошел к автобусу и осмотрел

его, будто видел первый раз. Ботинки его были в росе, даже на шерстистых руках была роса. Он громко потопал ногами, чтобы сбить росу, обошел автобус, пиная по крышке, и полез внутрь.

— Что ж, спасибо за сигареты! — сказала девушка и тоже поднялась на ступеньку.

— Счастливо, — пробормотал Крымов, нагибаясь за своим рюкзаком.

Мотор взревел, автобус тронулся, на Крымова прощально посмотрело изнутри расцветно-несчастное лицо, а он слабо махнул рукой, улыбнулся, слез с насыпи и пошел напрямик к реке.

— Вон бежит собака! Вон бежит собака! — нараспев повторял он про себя, идя лугом и подлаживаясь произносить слова в ритм шагам.

И с удовольствием смотрел на искристый дуг, на небо, дышал во всю грудь, и только одно беспокойство было, как бы кто не опередил его в этот час и не занял место.

Подойдя к реке, он спрыгнул с небольшого обрыва на песок и ревниво огляделся. Но ни одного следа не было на песке. Река — неширокая, медленная, с плесами и камышами, с песчаными отмелями — лениво извивалась по дугам и была глуха. Крымов быстро распаковал рюкзак, достал кофе, котелок, сахар, зачерпнул воды, набрал сухого плавника и тут же на песке развел небольшой костерчик. Потом воткнул в песок две рогульки, повесил котелок и стал ждать.

Пахло дымом, сырыми берегами и сеном издалека. Крымов сел и ужаснулся своему счастью. Он и не предполагал, что может так радоваться этому утру, и этой реке, и тому, что он один.

«Попью кофе, а потом кину!» — решил он и стал налаживать спиннинг, привычным взглядом замечая одновременно и реку, и как горит огонь, и воду в котелке, которая начинала медленно кружиться.

— Вон бежит собака! — повторял он, как заклинание. — Вон бежит... Попью кофе, а потом кину!

На другой стороне, под камышами, громко плеснула щука. Крымов вздрогнул, замер, мгновенно вспотел и посмотрел на то место. Там тяжелыми волнами расходились круги.

«Нет, сперва кину, кофе успеется!» — тут же решил Крымов, продевая леску сквозь кольца и привязывая к ней любимую свою блесну «Байкал» — серебряную, с красным пером. Опять, уже в другом месте, ударила щука, и тотчас возле берега испуганно сверкнула плотвичка.

«Погоди, погоди! — ликующе думал Крымов. — Вон бежит собака! Погоди...» — и насаживал катушку на рукоятку спиннинга.

Вода в котелке закипела, пена полилась, побежала через край, зашипела на углях, и поднялось облачко пара. Крымов поглядел на котелок, снял его и облизал сухие губы. «Ах, черт! Все-таки кофе — это вещь!» — подумал он, осторожно косясь на реку и откупоривая банку с кофе. Он сунул нос в банку, понюхал и чихнул.

— Ух, ты! — уже вслух сказал он и, зажав спиннинг в коленях, стал заваривать кофе.

Заря разгоралась все больше, краски на камышах и воде беспрестанно менялись, туман завитками плыл вместе с рекой, ивовые листья блестели, как лакированные, и уже давно в камышах, и дальше, в лесу, и поблизости, где-то в ивняке, трюкали и пикали птицы на разные голоса. Уж первый ветерок пахнул горько-сладким теплым лесным духом и пошевелил камыши...

Крымов был счастлив!

Он ловил и радовался одиночеству, спал в палатке, но и ночью внезапно просыпался, сам не зная отчего, раздувал огонь, кипятил кофе и, посвистывая, ждал рас-

света. А днем купался в теплой реке, плавал на ту сторону, лазил в камышах, дышал болотными запахами, потом опять бросался в воду, отмывался и, накупавшись, блаженно лежал на солнце.

Так он провел два дня и две ночи, а на третий, к вечеру, загорелый, похудевший, легкий, с двумя щуками в рюкзаке вышел на шоссе, закурил и стал ждать московского автобуса. Он сидел блаженно и покойно, разбросав ноги, привалясь к рюкзаку, и смотрел в последний раз на луг, на верхушки ивовых кустов вдаль, где он недавно был, мысленно воображал реку под этими кустами и все ее тихие повороты и думал, что все это навсегда теперь вошло в его жизнь.

По шоссе проносились красно освещенные солнцем грузовики, молоковозы, громадные серебристые машины-холодильники, приседающие на заднюю ось «Волги», и Крымов уже с радостью провожал их глазами, уже ему хотелось города, огней, газет, работы, уже он воображал, как завтра в цехе будет пахнуть горячим маслом и как будут гудеть станки, и вспомнил всех своих ребят.

Потом он слабо вспомнил, как выходил здесь три дня назад на рассвете. Вспомнил он и спутницу свою по автобусу и как у нее дрожали губы и рука, когда она прикуривала.

— Что это было с ней? — пробормотал он и вдруг затаил дыхание. Лицо и грудь его покрылись колючим жаром. Ему стало душно и мерзко, острая тоска схватила его за сердце.

— Ай-яй-яй! — пробормотал он, тягуче сплевывая. — Ай-яй-яй! Как же это, а? Ну и сволочь же я, ай-яй-яй!.. А?

Что-то большое, красивое, печальное стояло над ним, над полями и рекой, что-то прекрасное, но уже отрешенное, и оно сострадало ему и жалело его.

— Ах, да и подонок же я! — бормотал Крымов, часто дыша, и вытирался рукавом. — Ай-яй-яй!.. — И больно бил себя кулаком по коленке.

1961

АДАМ И ЕВА

Художник Агеев жил в гостинице в северном городе, приехал сюда писать рыбаков. Город был широк. Широки были его площади, улицы, бульвары, и от этого казался он пустым.

Стояла осень. Над городом, над сизо-бурыми заволоченными изморосью лесами неслись с запада низкие, свисающие лохмотьями облака, по десять раз на день начинало дождить, и озеро поднималось над городом свинцовой стеной. Утром Агеев подолгу лежал, курил натошак, смотрел в окно. Струились исполосованные дождем стекла, крыши домов внизу сумрачно блестели, отражая небо. В номере тяжело пахло табаком и еще чем-то гостиничным. Голова у Агеева болела, в ушах не проходил звон, и сердце покалывало...

С детства был Агеев талантлив, и теперь, в двадцать пять лет, презрительно было его лицо, презрительны, тяжелы набрякшие коричневые веки и нижняя губа, ленив и высокомерен был взгляд темных глаз. Носил он бархатную куртку и берет, ходил сутулясь, руки в карманы, на встречных смотрел мельком, как бы не замечая их, так же взглядывал на все вообще, что попадалось ему на глаза, но запоминал все с такой неистребимой яркостью, что даже в груди ломило.

Делать ему в городе было нечего, и он то присаживался к столу в номере и держался за голову, то опять ложился, дожидаясь двенадцати часов, когда внизу откры-

вался буфет. А дождавшись, нетвердой походкой спускался по лестнице, каждый раз с ненавистью глядя на картину в холле. Картина изображала местное озеро, фиорды, неестественно лиловые скалы с неестественно оранжевой порослью низких березок на уступах. На картине тоже была осень.

В буфете Агеев брал коньяку и, сведя глаза к переносью, боясь пролить, медленно выпивал. Выпивал — и, закурив, оглядывал случившихся в буфете, нетерпеливо ждал первого горячего толчка. Знал, что тут же станет ему хорошо и он будет все любить. Жизнь, людей, город и даже дождь.

Потом выходил на улицу и бродил по городу, раздумывая, куда бы ему поехать с Викой, и что вообще делать, и как дальше жить. Часа через два он приходил в гостиницу, и уже ему хотелось спать, он ложился и засыпал. А проснувшись, снова спускался вниз, в ресторан.

День уже кончался, за окном меркло, наступал вечер, в ресторане начинал играть джаз. Приходили: крашенные девочки, садились парами за столики, жадно ели воскообразные отбивные, пили вермут, пахнувший горелой пробкой, танцевали, когда приглашал кто-нибудь, и на лицах их было написано счастье и упоение роскошной жизнью. Агеев с тоской оглядывал знакомый и чадный зал. Он ненавидел этих девочек, и пижонов, и скверных музыкантов, которые пронзительно дудели и стучали по барабану, и скверную еду, и здешнюю водку-сучок, которую буфетчица всегда не доливала.

В двенадцать ресторан закрывался, Агеев еле взбирался к себе на третий этаж, сопел, не попадая ключом в замочную скважину, раздевался, мычал, скрипел зубами и проваливался в черноту до следующего дня.

Так провел Агеев и этот день и на другой, к двум часам, пошел на вокзал встречать Вику. Он пришел раньше, чем надо, глянул мельком на перрон, на пассажиров с чемоданами и пошел в буфет. А ведь когда-то у него начинались бродяжья тоска и сердцебиение от одного вида перрона и рельсов.

Водку в буфете принесла ему высокая рыжая официантка.

— Гениальная баба! — пробормотал Агеев, восхищенно и жадно провожая ее взглядом. А когда она опять подошла, он сказал: — Хелло, старуха! Вы как раз то, что я искал всю жизнь.

Официантка равнодушно улыбалась. Это говорили ей почти все. Заходили в буфет на полчаса, бормотали что-то, по обыкновению пошное, и уходили, чтобы никогда уже больше не увидеть ни этой станции, ни рыжей официантки.

— Я должен вас писать, — сказал Агеев, пьянея. — Я художник.

Официантка улыбалась, переставляя рюмки на его столе. Ей было все-таки приятно.

— Слышишь, ты! Я гениальный художник, меня Европа знает, ну?

— Художники нас не рисуют, — немного не по-русски выговорила официантка.

— Откуда ты знаешь? — Агеев посмотрел на ее грудь.

— О! Им надобятся рыбаки. И рабочие, стрел... стрелочники. Или у нас Ярви имеет островок и деревянная церковь. Они все едут туда, еду-ут... Москва и Ленинград. И все вот так, в беретах, да?

— Они идиоты. Так мы еще встретимся, а? — добавил он торопливо, слыша шум подходящего поезда, — Как тебя звать?

— Пожалуйста. Жанна, — сказала официантка.

— Ты что, не русская?

— Нет, я финка. Юонолайнен.

— Ух, черт! — пробормотал Агеев, допивая водку и кашляя.

Расплатившись, помял Жанне плечо. «Какая баба пропадает!» — думал он. И, прищурившись, смотрел на голубой экспресс, мелькавший вагонами уже мимо него.

От напряжения, от мелькания вагонов у Агеева закружилась голова, и он отвернулся. «Не надо было пить», — рассеянно подумал он и вдруг испугался, что приезжает Вика, и закурил.

Народ шел уже с поезда на выход, Агеев вздохнул, бросил сигарету и стал искать Вику. Она первая увидела его и окликнула. Он оборотился и стал смотреть, как она подходит в черном ворсистом пальто. Пальто было расстегнуто, и колени ее, когда она шла, толчками округляли подол платья.

Застенчиво подала она ему руку в сетчатой перчатке. Волосы ее выгорели за лето, были подстрижены, спутаны и падали на лоб. Из-под волос на Агеева испуганно глядели с татарским разрезом глаза, а рот был ал, туг, губы потресканы, сухи и полуоткрыты, как у ребенка.

— Здравствуй! — слегка задыхаясь, сказала она, хотела что-то добавить, может быть, заранее приготовленное, веселое, но запнулась, так и не выговорила ничего.

Агеев, поглядел почему-то на прозрачный шарфик вокруг ее шеи, лицо его стало испуганно-мальчишеским, торопливо взял он у нее из рук лакированный чемодан, и они пошли от вокзала по широкой улице.

— Ты опух как-то... Как ты живешь? — спросила она и осмотрелась. — Мне тут нравится.

— А! — горловым неприятным звуком сказал он, как всегда говорил, когда хотел выразить свое презрение к чему-нибудь.

— Ты пьян? — Она сунула руки в карманы и наклонила голову. Волосы свалились ей на лоб.

— А! — опять сказал он и покосился на нее.

Вика была очень хороша, а в одежде ее, в спутанных волосах, в манере говорить было что-то неуловимое, московское, от чего Агеев уж отвык на севере. В Москве они встречались раза два, знакомы как следует, в сущности, не были, и приезд ее и отпуск, который — Агеев знал — нелегко ей достался, ее готовность — это он тоже чувствовал — ко всему самому плохому были как-то неожиданны и странны.

«Везет мне с бабами!» — с грубо-радостным удивлением подумал Агеев и нарочно остановился, будто надеть перчатки, чтобы посмотреть на Вику сзади. Она замедлила шаги, полуобернувшись к нему, посматривая вопросительно на него и в то же время оглядывая рассеянно прохожих и витрины магазинов.

Она была хороша и сзади, и то, что она не пошла вперед, а задержалась, вопросительно взглядывая на него и этим как бы выражая уже свою зависимость, — все это страшно обрадовало Агеева, хоть минуту назад он испытывал стыд и неловкость от того, что она приехала. Он понимал отдаленно, что и выпил только потому, чтобы не было так неловко.

— Я тебе привезла газеты... — сказала Вика, когда Агеев догнал ее. — Тебя ругают, знаешь? На выставке страшный шум, я ходила.

— А! — опять сказал он, испытывая в то же время глубокое удовольствие. — Колхозницу не сняли? — тут же с тревогой спросил он.

— Нет, висит... — Вика засмеялась. — Никто ничего не понимает, кричат, спорят, ребята с бородами, в джинсах, посоловели, крутами ходят...

— Тебе-то понравилась? — спросил Агеев.

Вика неопределенно улыбнулась, а Агеев вдруг разозлился, нахмурился и засопел, нижняя губа его выпятилась, темные глаза запухли, поленивели. «Напьюсь!» — решил он.

И весь день уже, как чужой, ходил с Викторией по городу, зевал, на вопросы ее мычал что-то невнятное, ждал на пристани, пока она справлялась о расписании пароходов, а вечером, как ни просила его Вика, снова напился, заперся у себя в номере и, чувствуя с

тонкой глубокой болью, что Вика одна у себя, что она расстроена, не знает, что делать, только курил и усмехался. И думал о рыжей Жанне.

Раза два принимался звонить телефон. Агеев знал, что это Вика, и трубку не снимал. «Иди пасись!» — злобно думал он.

На другой день Вика разбудила Агеева рано, заставила умыться и одеться, сама укладывала его рюкзак, вытаскивала из-под кровати этюдник и спиннинг, заглядывала в ящики стола, звенела пустыми бутылками и была решительна и бесстрашна. На Агеева она не обращала внимания.

«Прямо как жена!» — с изумлением думал Агеев, следя за ней. Морщась, он стал думать, как быстро приживаются женщины и как они умеют быть властными и холодными, будто сто лет с ней прожил. Голова у него болела, он хотел спуститься в буфет, но вспомнил, что буфет закрыт еще, покашлял, покряхтел и закурил натоцак. Ему было худо. Вика между тем успела расплатиться внизу и вызвала такси. «Черт с ним! — вяло думал Агеев, выходя на улицу и залезая в машину. — Пускай!» Он сел и закрыл глаза. Начинался утренний дождь, и это значило, что на весь день. Пошел даже снег. Мокрый и тяжелый, он падал быстро и темнел, едва успев коснуться мокрых крыш и тротуаров.

На пристани Агееву стало совсем плохо. Он задремал, изнемогая от тоски, не понимая, куда и зачем ему нужно ехать, слыша сквозь дрему, как свистит, погукивает ветер, шлепает о причал вода, как возникают на высокой ноте, долго трещат и затихают потом моторки. Вика тоже погрустнела и озябла. От недавней ее решительности не осталось и следа, она сидела рядом с Агеевым, беспомощно осматриваясь, — поникшая, в узких коротких брюках, по-прежнему с непокрытой головой. Ветер трепал, сваливал на лоб ей волосы, и было похоже, будто она получила телеграмму и едет на похороны.

«Брючки надела, — желчно думал Агеев и закрывал глаза, стараясь поудобней приладиться у фанерной стены. — Ну куда меня черт несет? Ай-яй-яй, до чего плохо!»

Они еле дождались своего парохода, с нетерпением смотрели, как он подваливает, шипит паром, стучает, скрипит о причал, отдирая от причального бруса белую щепу.

Но и на пароходе Агееву не стало легче. Где-то внизу благодатно клокотало и бурлило, ходили в горячем масле желтые поршни, было тепло, а каюта на носу была мрачна, холодна и застарело пахла. За стеной гудел ветер, волна плескала в борт, стекло нервно звякало, пароход покачивало. За окном смутно, медленно тянулись бурные, уже сквозящие леса, деревни, потемневшие от дождей, бакены и растрепанные вешки. Агеева знобило, и он вышел из каюты.

Побродив по железному рубчатому настилу нижней палубы, он примостился возле машинного отделения, недалеко от буфета. Этот буфет тоже не открылся еще, хотя на камбузе варили уже соленую треску и оттуда вонюче пахло. Агеев забрался с ногами на теплый железный рундук, облокотился на березовые дрова с лоснящейся атласной корой и стал слушать мерные вздохи машин, шум плиц за бортом, нестройный говор пассажиров. Как всегда, те, кого недавно провожали, не затихли еще, не успокоились, горланили, острили, а на корме играли на гармошке, громко топали по железу палубы, вскрикивали: «Эх!! Эх!!»

У крана с кипятком заваривали чай в кружках и чайниках и пили, отламывая от батончиков, сидя прямо на узлах, на чемоданах, в тепле, покойно поглядывая на озеро, по которому ветер гнал беспорядочную темную волну. Женщины разматывали платки, причесывались, ребятишки играли уже, бегали и возились.

Желто засветились лампы в матовых колпаках, и сразу снаружи стало еще темней и холодней. Агеев лениво поводил глазами, оглядывался. Проходы были завалены

мешками с картошкой, корзинами, кадками с огурцами, какими-то тюками. И народ был все местный, добирающийся до какой-нибудь Малой Губы. И разговоры были тоже местные: о скотине, о новых постановлениях, о тещах, о рыбодобыче, о леспромхозах и о погоде.

«Ничего! — думал Агеев. — Один только день, а там остров, дом какой-нибудь, тишина, одиночество... Ничего!»

Буфет наконец открылся, и тотчас пробралась и подошла к Агееву Вика. Она печально посмотрела на него и улыбнулась.

— Хочешь выпить, бедный? — спросила она. — Ну, иди выпей!

Агеев пошел, принес четвертинку, хлеба и огурцов. Вика тоже забралась на рундук и встретила его внимательным, тревожным взглядом. Агеев сел рядом, отколупнул пробку, выпил и захрустел огурцом, чувствуя, как отмякает у него на душе, и с некоторым оживлением поглядывая на Вику,

— Ешь! — сказал он невнятно, и Вика тоже стала есть.

— Объясни мне, что с тобой? — спросила она немного погодя.

Агеев еще выпил и подумал. Потом закурил и поглядел на Викину свешенную замшевую туфельку.

— Просто грустно, старуха, — сказал он тихо. — Просто, наверно, я бездарь и дурак. Пищу, пишу, а все говорят: не так, не то... Как это? Незрелость мировоззрения! Шаткая стезя! Чуждое народу!.. Будто за их плечами весь народ стоит, одобрительно головой кивает, а?

— Глупый! — нежно сказала Вика, вдруг засмеялась и положила ему голову на плечо.

От волос ее пахло горько и непонятно. Агеев потерся щекой о ее волосы и зажмурился.

Она вдруг стала ему близка и дорога. Он вспомнил, как в первый раз поцеловал ее в Москве, в коридоре, в гостях у приятеля-художника. Он был тогда выпивши и весел, она как-то удивленна и тиха, и они долго говорили на кухне, вернее, он говорил ей, что он гений, а все подонки, а потом пошли в комнаты, и в коридоре он ее поцеловал и сказал, что страшно любит.

Она не поверила, но задыхнулась, покраснела, глаза ее потемнели, губы пошершавели, она заговорила, засмеялась с девчонками, которые там были, а на него больше не посмотрела. Он тоже пристал к ребятам, стал смотреть и говорить о рисунках, и они с Викой сидели в разных комнатах.

Вика говорила, смеялась с подругами, с кем-то, кто входил и выходил, и все время чувствовала, что счастлива, потому что в другой комнате сидел в кресле и тоже говорил с кем-то он. Она после призналась ему в этом.

Да, это хорошо вдруг потом, где-то на севере, вспомнить недавний, но в то же время уже навсегда ушедший вечер. Это значит, что у них есть история. Они еще не любят друг друга по-настоящему, ничем не связаны, еще встречаются с кем-то, кто был у них раньше, еще не знали ночей, не известны друг другу, но у них есть уже прошлое. Это очень хорошо.

— Серьезно! — сказал Агеев. — Я все думал о своей жизни. Знаешь, паршиво мне было без тебя тут, дождь льет, идти некуда, сидишь в номере или в ресторане пьяный, думаешь... Устал я. Студентом был, думал — всё переверну, всех убью картинами, путешествовать стану, жить в скалах. Этакий, знаешь, Рокуэлл Кент. А как до диплома дошло, так и понеслось: и такой и сякой, подлец! Как накинудись учить, собаки, так и не отстают. Чем дальше, тем хуже. Ты и абстракционист, и неореалист, и формалист, и шатания у тебя всякие... Ну-ка, погоди!

Он отодвинулся слегка от Вики и еще выпил. Голова болеть перестала, хотелось говорить, и думать, и сидеть долго, потому что рядом сидела Вика и слушала.

Агеев сбоку глянул, ей в лицо — оно было оживленно и серьезно, глаза под пологом ресниц были длинны и черны. Агеев присмотрелся — они были все-таки черны, а губы шершавы, и у Агеева забилося сердце. А Вика совсем забралась с ногами на рундук, расстегнула пальто, оперлась подбородком на колени и стала снизу смотреть в лицо Агееву.

— Лицо у тебя плохое, — сказала она и потрогала его за подбородок. — Небрит, почернел, весь.

— Занюханый я какой-то, — усмехнулся он и загляделся на озеро. — Все думаю о Ван-Гоге и о себе... Неужели же и мне надо подохнуть, чтобы обо мне заговорили серьезно? Неужели мой цвет, мой рисунок, мои люди хуже, чем у этих конъюнктурщиков? Надоело!

— Конъюнктурщики тебя не признают, — быстро, как бы между прочим, сказала Вика.

— Ну?

— Так... Я знаю. Потому что признать тебя — значит признать, что сами они всю жизнь делали не то.

— А! — Агеев помолчал и стал закуривать. Он долго курил, глядя себе под ноги, растирая желтое лицо. Щетина трещала у него под пальцами. — Три года! — сказал он. — Иллюстрации беру, чтоб денег заработать. Три года как кончил институт, и всякие подонки завидуют: ах, слава, ах, Европа знает... Идиоты! Чему завидовать? Что я над каждой картиной... Что у меня мастерской до сих пор нет? Пишешь весну — говорят: не та весна! Биологическая, видишь ли, получается весна. А? На выставку не попадешь, комиссии заедают, а прорвался чем-то не главным — еще хуже. Критики! Кричат о современности, а современность понимают гнусно. И как врут, какая демагогия за верными словами!

— И ни одного верного слова о тебе не было? — задумчиво спросила Вика, отломила березовую щепку и стала грызть.

— Ты! — Агеев побледнел. — Студенточка! Ты еще в стороне, ты с ними не сталкивалась, книжечки, диамат, практика... А они, когда говорят «человек», то непременно с большой буквы. Ихнему проясненному взору представляется непременно весь человек — страна, тысячелетия, космос! Об одном человеке они не думают, им подавай миллионы. За миллионы прячутся, а мы, те, кто что-то делает, мы для них пижоны... Духовные стилиги — вот кто мы! Геро-оика! — противно произнес Агеев и засмеялся. — Ма-ассы! Вот они массы, — Агеев кивнул на пассажиров. — А я их люблю, мне противно над ними слюни пускать восторженные. Я их во плоти люблю — их руки, их глаза, понятно? Потому что они землю на себе держат. В этом вся штука. Если каждый хорош, тогда и общество хорошо, это я тебе говорю! Я об этом день и ночь думаю. Мне плохо, заказов нет, денег нет, черт с ними, не важно, но я все равно прав, и пусть не учат меня. Меня жизнь учит — и насчет оптимизма и веры в будущее и вот в эти самые массы, я всем критикам сто очков вперед дам!

Агеев засопел, ноздри у него раздувались, глаза помутились.

— Не надо бы тебе пить... — тихо сказала Вика, жалобно глядя на него снизу вверх.

— погоди! — сипло попросил Агеев. — Что-то у меня... астма, что ли? До конца не вздохнуть никак.

Он раскурил погасший окурок, но, затянувшись, закашлялся, бросил окурок и, спустив ногу, растоптал его. Поглядев на Вику, поморщился.

— Пусти-ка, пойду спать! — Он злобно прищурился, слез с рундука и пошел в каюту.

Пока они говорили, на пароходе включили отопление, в каюте стало тепло, окно запотело. Агеев сел к окну, протер стекло рукавом, левое веко у него стало прыгать.

Спасение его было сейчас в Вике, и он знал это. Но что-то в ней приводило его в бешенство. Приехала... Свежая, красивая, влюбленная. Ах, черт! Зачем, зачем обязательно что-то доказывать? И кому? Ей! А у нее небось ноги отнимались, к сердцу подкатывало, когда ехала — думала о первой ночи, о нем, прижаться к нему хотелось, к черту пьяному. Ай-яй-яй! И было бы, было, если бы сразу согласилась с ним, сказала бы: «Да! Ты прав!» С ума бы сошел, увез бы в фиорды, в избушку, у окошка бы посадил, а сам с холстом. Личико крохотное, глаза длинные, волосы выгоревшие, кулачком подперлась... Может, в жизни бы лучше ничего не написал! Ай-яй-яй!..

Он стал раздеваться, и ему стало до слез жалко себя и одиноко. «Ну ничего! — подумал он. — Ничего! Не впервые!» И даже передергивало всего, когда вспоминал, что наговорил ей. Молчать нужно, дело делать!

Раздевшись, залез на верхнюю полку, отвернулся к стене и долго ерзал по глянцевиной наволочке, стараясь лечь поудобней, но все никак не мог.

К острову пароход подходил вечером. Глухо и отдаленно сторела кроткая заря, стало смеркаться, пароход шел бесчисленными шхерами. Уже видна была темная, многошатровая церковь, и пока пароход подходил к острову, церковь перекатывалась по горизонту то направо, то налево, а однажды оказалась даже сзади.

У Вики было упрямое, обиженное лицо. Агеев посвистывал и безразлично смотрел по сторонам на плоские островки, на деревни к с некоторым интересом рассматривал великолепные, похожие на варяжские ладьи, лодки.

Когда совсем подошли к острову, стала видна ветряная мельница, прекрасная старинная изба, амбарные постройки — все пустое, неподвижное, музейное. Агеев усмехнулся.

— Как раз для меня, — пробормотал он и поглядел на Вику с веселой злостью. — Как раз, так сказать, на передний край семилетки, а?

Вика промолчала. Лицо у нее теперь было обтянутое, и будто она приехала сюда сама по себе, будто все это давно предполагалось и так и должно было быть.

Никто не сошел на этом островке, кроме них двоих. И никого не было на деревянной открытой пристани, одна сторожиха с зажженным фонарем, хоть было еще светло.

— Ну вот. Теперь мы с тобой как Адам и Ева, — опять усмехнулся Агеев, ступая на сырую дощатую пристань.

И опять Вика ничего не сказала в ответ. На берегу показалась женщина в ватнике и сапогах, она еще издали заулыбалась.

— Только двое? — весело крикнула она и заспешила навстречу, переводя взгляд с Агеева на Вику. А когда подошла, взяла чемодан у Вики и заговорила — показалось, что она давно ждала их. — Вот и славу богу, — быстро и ласково говорила она, поднимаясь вверх по берегу. — А я уж думала, никого в этом году не будет, все кончилось. Зимовать собралась. А вот и вы. Пойдемте в нашу гостиницу.

— В гостиницу? — спросил Агеев неприятным своим голосом.

Хозяйка засмеялась.

— Вот и все удивляются, а я уж второй год тут живу. Мужик был, да помер, одна теперь. Гостиница? Для экскурсантов, художников. Тут их много летом наезжает, живут себе, рисуют.

Агеев вспомнил свою гостиничную тоску, вздохнул, сморщился. Он хотел пожить в избе, в домишке каком-нибудь, где пахло бы коровой, сенями, чердаком.

Но гостиница оказалась уютной. Была печка на кухне, были три комнаты — все пустые, и была еще одна странная комната: резные в древнерусском стиле колонки посередине, поддерживающие потолок, и большие современные окна во всю стену до полу, на три стороны — как бы стеклянный холл.

Во всех комнатах стояли пустые кровати с голыми сетками и голые шершавые тумбочки.

Агеев и Вика поселились в комнате с печкой, окном на юг. На стенах висели акварели в рамках. Агеев глянул и повел губой. Акварели были ученические, старательные, на всех написаны были церковь или мельница.

Хозяйка начала носить в комнату простыни, подушки, наволочки, и хорошо запахло чистым бельем.

— Вот и живите! — с удовольствием говорила она. — Вот и хорошо! Надолго ли приехали? А то скучно. Летом хорошо, художники веселые, а теперь одна, считай, на всем острове.

— А как тут питаться? — спросила Вика.

— Не пропадете! — радостно отозвалась хозяйка откуда-то из коридора. — На другом конце острова у нас деревня, там молока или чего... А то магазин еще на Пог-Острове, на лодке можно. Вы откуда же, из Ленинграда?

— Нет, из Москвы, — сказала Вика.

— Ну и хорошо, а то у нас все ленинградцы. Дрова у меня есть, чурки, обрезки, этим летом церкву реставрировали, так много материала осталось. И ключи у меня от церкви, когда захотите, скажете, я отомкну.

Хозяйка ушла, а Вика со счастливой усталостью повалилась на кровать.

— Нет, я не могу! — сказала она. — Это гениально! Милый ты мой Адам, это просто гениально! Ты любишь жареную картошку?

Агеев хмыкнул, повел губой и вышел. Он потихоньку обошел вокруг погоста, окружавшего церковь. Совсем стемнело, и, когда Агеев шел с восточной стороны, церковь великолепным силуэтом возвышалась над ним, светясь промежутками между луковицами куполов и пролетами колокольни. Однообразно, равномерно потрюкивали две птицы в разных местах. Пахло сильно травой и осенним холодом.

«Ну вот и конец света!» — подумал Агеев, пройдя мимо церкви по берегу озера. Потом спустился на пристань, присел на сваю и стал смотреть на запад. Метрах в двухстах от этого был еще остров — низкий, поросший ивовыми кустами и совершенно пустой. А за ним еще остров, а там, видимо, была деревня: сквозь кусты просвечивал далекий случайный огонек. Немного погодя в той стороне возник высокий, напряженный звук моторки, долго не утихал и оборвался внезапно, несколько раз хлопнув.

Агееву было одиноко, но он сидел и сидел, покуривая, привыкая к тишине, к чистому запаху осенней свежести и воды, думая о себе, о своих картинах, о том, что он мессия, великий художник, и что он сидит в одиночестве черт знает где, в то время как разные критики живут в Москве на улице Горького, сидят сейчас с девочками в ресторанах, пьют коньяк, едят цыплят-табака и, вытирая маслянистые рты, говорят разные красивые и высокие слова, и все у них лживо, потому что думают они не о высоком, а как бы поспать с этими девочками. А утром эти критики, перешибая похмелье кофеем и сердечными каплями, пишут про него статьи и опять врут, потому что никто не верит в то, что пишет, а думает только, сколько он за это получит, и никто из них никогда не сидел вот так в одиночестве на сырой свае и не смотрел на пустой темный остров, готовясь к творческому подвигу.

От этих мыслей Агееву становилось горько и приятно, в них была какая-то едкая сладость, и он любил так думать и думал часто.

То он принимался вдруг мысленно напевать неизвестно почему пришедший ему на память романс старухи графини из «Пиковой дамы». И эта мертвенная музыка, как он слышал ее где-то глубоко со всем оркестром, с мрачным тембром кларнетов и фаготов и томительными паузами, — музыка эта начинала ужасать его, потому что это была смерть.

То ему вдруг остро, до боли, как воздуха, захотелось услышать запах чая — не заваренного, не в стакане, а запах сухого чая. Ему тотчас вспомнилась, пришла из детства и чайница из матового стекла с трогательным пейзажиком вокруг, и как он мечтал пожить в домике с красной крышей, и как открывала и сыпала туда мать с тихим шуршанием чай, как пахло тогда и как опалово-мутная чайница наполнялась темным.

Тотчас вспомнил он и мать, ее к нему любовь, всю жизнь ее как бы в нем, для него. И себя самого — такого быстрого, подвижного, с такими приступами беспричинной радости и живости, что даже не верилось теперь, что он мог быть когда-то таким.

И с запоздалой болью он думал о том, как часто был груб с матерью, невнимателен, нечуток к ней, как часто не хотел слушать ее рассказы о детстве, о каком-то давно прошедшем, исчезнувшем времени, пока можно было слушать. Как часто в ребяческой эгоистичности не мог понять и оценить той постоянной любви, какой уж не ощущал он потом никогда в жизни.

А вспомнив все это, он тотчас усомнился в себе и подумал, что, может быть, и правы все его критики, а он не прав и делает вовсе не то, что нужно. Он думал, что всю жизнь не хватало, наверное, ему какой-то основной идеи — идеи в высшем смысле. Что слишком часто он был равнодушен, вял и высокомерен в своей талантливости ко всему, что не было его жизнью и его талантом. И это в такое-то время!

С бессильным ожесточением вспоминал он все свои споры еще со студенчества — с художниками, с искусствоведами, со всеми, кто не принимал его картин, его рисунка, его цвета. Он думал теперь, что потому не может убедить их, разбить и доказать свое мессианство, что не одухотворен идеей. А какой же пророк без идеи?

Так он долго сидел и слышал, как Вика вышла из дому, прошла немного к берегу по деревянным мосткам, постояла, осматриваясь, тихо позвала его. Он не отозвался и не шевельнулся. А ведь он уже любил ее. У него сердце билось, когда он думал о ней! Он и она как Адам и Ева, на темном пустом острове, наедине со звездами: и водой — и не просто же она приехала, и как, наверно, тосковала одна в номере гостиницы, когда он напился и ушел, бросил ее!

Горькая отчужденность, отрешенность от мира сошли на него, и он не хотел ничего и никого знать. Он вспомнил, что больные звери скрываются, забиваются в недоступную глушь и там лечатся какой-то таинственной травой или умирают. Он пожалел, что теперь осень и холодно, что он в сапогах, в свитере, а то найти бы уголок на этом или на другом острове, где скалы, и песочек, и прозрачная вода, лежать бы целыми днями на солнце и ни о чем не думать. И ходить босиком. И ловить рыбу. И смотреть на закаты.

Он почувствовал, что безмерно устал — устал от себя, от мыслей, от разъедающих душу сомнений, от пьянства — и что совсем болен.

«На юг бы мне, на юг, к морю...» — тоскливо подумал он и встал. Сойдя с пристани, отвернувшись от озера, он опять увидал древнюю большую церковь и маленькую гостиницу, приютившуюся подле. В гостинице хорошо светились окна, тогда как церковь была темна, замкнута и чужда ему. Но что-то в церкви этой было властное, вызывающее мысли о гениальном народе, об истории — еще о покое, уединении.

— Сег-Погост, — вспомнил Агеев название острова и церкви. — Сег-Погост!

Он поднялся к дому, взошел на крыльцо и еще постоял, оглядываясь, стараясь угадать во тьме то, что столько веков жило без него своей жизнью — настоящей жизнью земли, воды и людей. Но ничего не мог разглядеть, кроме тусклого сияния массы воды вокруг, кроме редких космически светящихся клоков неба в разрывах облаков. Тогда он вошел в дом.

Комната была озарена керосиновой лампой. Гудела, трещала печка, пахло жареной картошкой. Раскрасневшаяся Вика хозяйничала, комната приобрела милый,

обжитой вид во всем: в кофточках, в платьях, повешенных и брошенных на кровать, в черных перчатках на тумбочке, в пудренице с молнией — во всем чувствовалось присутствие молодой женщины, и пахло духами.

— Где ты был? — протяжно спросила Вика и подожгла бровью. — Я тебя искала.

Агеев промолчал и пошел на кухню мыться. На кухне он некоторое время разглядывал в зеркальце свою щетину, подумал и бриться не стал, умылся только, с удовольствием звякая умывальником, вытерся мохнатым теплым полотенцем, вернулся в комнату, лег на кровать, положил ноги в сапогах на спинку, потянулся и закурил.

— Садись есть, — сказала Вика.

Ели молча. Видно было, что Вике здесь страшно нравится, и только одно было неприятное — Агеев. На печке шумел, посвистывал чайник.

— У тебя большой отпуск? — спросил вдруг Агеев.

— Десять дней, — сказала Вика и вздохнула. — А что?

— Так...

«Три дня уже прошло», — подумал Агеев.

И снова надолго замолчали. Напившись чаю, стали ложиться. Вика горячо покраснела и отчаянно посмотрела на Агеева. Он отвел глаза и нахмурился. Потом встал, закурил и подошел к окну. Он тоже покраснел и рад был, что Вика не видит. Сзади что-то шелестело, шуршало, наконец Вика не выдержала и попросила умоляюще:

— Погаси свет!

Не взглянув на нее, Агеев задул лампу, быстро разделся, лег на кровать и отвернулся к стене. «Попробуй приходи!» — думал он. Но Вика не пришла, она легла и замерла, даже дыхания не стало слышно.

Прошло минут двадцать, а они не спали, и оба это знали. В комнате было темно, в окно виднелось черное небо. Стал задувать ветер за стеной. Вдруг занавеска на окне осветилась на короткое мгновение. Агеев подумал было, что кто-то снаружи провел по стене дома, по занавеске, лучом фонарика, но еще через три-четыре секунды мягко заворчал гром.

— Гроза! — тихо сказала Вика, села и стала смотреть в темное окно. — Осенняя гроза.

Опять мигнуло и заворчал, потом ветер улегся, и тут же пошел сильный дождь, и в водосточной трубе загудело.

— Дождь, — сказала Вика. — Я люблю дождь. Я люблю думать, когда дождь.

— Ты можешь помолчать? — Агеев закурил и поморгал: глазам было горячо.

— А знаешь что? Я уеду, — сказала Вика, и Агеев почувствовал, как она ненавидит его. — С первым же пароходом уеду. Ты просто эгоист. Я эти два дня все думала: кто же ты? Кто? И что это у тебя? А теперь знаю: эгоист. Говоришь о народе, об искусстве, а думаешь о себе — ни о ком, о себе... Никто тебе не нужен. Противно! Зачем ты меня звал, зачем? Знаю теперь: поддакивать тебе, гладить тебя, да? Ну нет, милый, поищи другую дуру. Мне и сейчас стыдно, как я бегала в деканат, как врала: папа болен...

Вика громко задышала.

— Замолчи, дура! — сказал Агеев с тоской, понимая, что все кончилось. — И пошла вон, и уезжай, катись отсюда!

Агеев поднялся, подсел к окну, уперся локтями в тумбочку. Дождь еще шел, под окном было что-то большое, темное, дрожащее, и Агеев долго вглядывался и соображал, пока не понял, что это лужа. Ему захотелось заплакать, поморгать, вытереть слезы рукавом, как в детстве, но плакать он давно не мог.

Вика легла, уткнулась в подушку, всхлипывала и задыхалась, а Агеев сидел не шевелясь, разминая, кроша в пепельнице окурки и спички. Сначала ему все было

омерзительно и безразлично. Его даже ломать начало от дрожи и тоски. Теперь это прошло, он как бы вознесся куда-то, отрешился от всего мелкого, и ему стало всех жалко, он стал тихим и грустным, потому что чувствовал непреодолимость всей людской массы. И все-таки в душе у него, очень глубоко, все кипело, было горячо и больно, и он не мог снисходительно улыбаться или отделаться своим противным «А!» — он должен был сказать что-то.

Но он ничего не сказал, он подумал... Хотя, в сущности, ничего не думал, а просто побыл в тишине, поглядывая за окно на темную дрожащую лужу. В нем трепетало и звенело что-то, как во время болезни, при температуре, он увидел перед собой бесчисленную вереницу зрителей, которые молча шли по залам и на лицах которых было написано что-то загадочное, что-то неуловимое и скорбное. Он еще остановился внутренним взглядом на этом, на скорбности, и подумал: «Почему скорбное, что-то я не так думаю», — но тотчас отвлекся и стал думать о высшем, о самом высшем, о высочайшем, как ему казалось.

Он думал, что все равно будет делать то, что должен делать. И что его никто не остановит. И что это ему потом зачтется.

Он встал, не одеваясь, с набухшими на висках жилами, вышел на крыльцо. На крыльце он стоял и плевался, почему-то был полон рот сладкой слюны, она все собиралась во рту, и он плевался, а в горле стоял комок и душил его.

— Все кончено! — тихо бормотал он. — К чертовой матери! Все кончено!..

Весь следующий день Агеев провалялся, отвернувшись к стене. Он засыпал, просыпался, слышал, как ходила по комнате и вокруг дома Вика. Она звала его завтракать, обедать, но он лежал, злобно сжав зубы и не открывая глаз, пока не засыпал опять в каком-то оцепенении.

Но к вечеру стало уже невозможно лежать, заныло тело, и он поднялся. Вики не было, и Агеев пошел к хозяйке.

— Дай-ка, тетя, мне ключ от лодки, — попросил он. — В магазин надо сплавить за папиросами...

Хозяйка дала ему ключ, сказала, где взять весла, и показала, куда плыть.

Навстречу Агееву дул ветер, весла были тяжелые, неудобные, тяжелой была и лодка, такая красивая с виду, и Агеев успел стереть себе ладони, пока добрался до другого острова.

Он купил папирос, бутылку водки и закуску и пошел назад к мосткам. Он шел уже влажным лугом, когда догнал его приземистый кривоногий рыбак в зимней шапке, с красным лицом.

— Здорово, браток! — сказал рыбак, поравнявшись и оглядывая Агеева. — Художник? С Сег-Погоста?

Обеими руками рыбак осторожно нес газетные кульки, из карманов телогрейки торчало у него по бутылке водки.

— А мы сегодня гуляем! После бани, — радостно сообщил он, будто давний знакомый. — Выпьем на дорожку?

Рыбак косолапо перешагнул в свою лодку с ярко-зеленой крышкой подвесного мотора, положил там кульки, вынул бутылки, которых у него оказалось четыре — две были в карманах брюк, — две положил осторожно в нос на брезент; одну тут же открыл, нашел, пошарив, баночку, сполоснул ее за бортом и налил Агееву. Агеев тут же выпил и стал закусывать печеньем. Рыбак налил себе и вылез на мостки.

— Будем знакомы! — весело сказал он. — Давно тут?

— Вчера приехал, — сказал Агеев, с наслаждением разглядывая рыбака.

— Церкву рисовать? — спросил рыбак и подмигнул.

— Чего придется.

— А то приезжай к нам в бригаду, — предложил рыбак, быстро хмелея. — Баба у тебя есть? Бабы у нас... — рыбак растопырил руки, — во! Понял? Всех перерисуешь, понял?

Он шагнул опять в лодку, достал недопитую бутылку, снова налил Агееву.

— Допьем?

— Да у меня своя есть, — сказал Агеев и достал тоже бутылку.

— Твою будем пить, когда приедешь, — сказал рыбак. — К нам недалече, ты только скажи, мы за тобой на моторке приедем, мы художников любим, ребята ничего. У нас один профессор ленинградский жил, говорил, в жизни, говорит, таких людей, как у вас, нету! — Рыбак захохотал. — Мы тебя ухой кормить будем. Сиг рыба, знаешь? У нас весело, девки как загогочут, так на всю ночь, весело живем!

— А вы где ловите-то? — спросил Агеев улыбаясь.

— Ловим на Кижме-Острове, да ты не бойсь, мы за тобой сами придем. А так, коли сам надумаешь, так спроси степановскую бригаду, это я, Степанов-то, понял? Как из салмы выйдешь, налево забирай, мимо маяка, увидишь остров, к нему и правь. А там скажут.

— Обязательно приеду! — радостно сказал Агеев.

— Во-во! Валяй! Ты меня уважаешь? По человечеству! А? Ну и все! И все... Договорились? И все! Прощай покуда, побегу, ребята дожидают...

Он перелез в свою лодку, отвязал ее, оттолкнулся, завел мотор. Мотор тонко зажужжал, рыбак кинулся в нос, но нос все равно задрался: шпагатом, привязанным к румпелю, рыбак выправил лодку на глубокое и полетел, оставляя за собой белопенную дугу на воде.

Посмеиваясь, Агеев сел в свою лодку и тронулся обратно. Теперь он сидел лицом к закату и невольно приостанавливался, отдышал, рассматривал краски на воде и в небе. На полпути к Сег-Погосту был маленький островок, и, когда Агеев обогнул его, ветер улегся, и вода приняла вид тяжелого неподвижного золота. — В полной тишине, в безветрии Агеев положил весла и оглянулся на церковь. С востока почти черной стеной встала дождевая туча, с запада солнце лило свой последний свет, и все освещенное им — остров, церковь, старинная изба, мельница — казалось, по сравнению с тучей, особенно зловеще красным. Далеко на горизонте, откуда шла туча, темными лохмами повисал дождь, и там траурно светилась огромная радуга.

Агеев поудобнее устроился в лодке, еще выпил и, закусывая, смотрел на церковь. Солнце садилось, туча надвигалась, почти все было закрыто ею, дождь приблизился и шел уже над Сег-Погостом. Лодка едва заметно подвигалась по течению.

Но вокруг Агеева еще было все тихо и неподвижно, а на западе горело небо, широкой полосой туманной красоты раскинувшееся вокруг заходящего солнца.

Агеев рассматривал церковь, и ему хотелось рисовать. Он думал, что, конечно, ей не триста лет, а неизмеримо больше, что она так же стара, как земля, как камни. И еще у него из головы не выходил веселый рыбак, и его тоже хотелось Агееву рисовать.

Когда же он повернулся к западу, солнце уже село. Пошел наконец дождь. Агеев натянул на голову капюшон и взялся за весла. Дождь почему-то принялся теплый, крупный, веселый, и сильно играла рыба, пока Агеев греб.

Подойдя на всем ходу к пристани, Агеев увидел Вика. Она неподвижно стояла под дождем в накинутом прозрачном плаще и смотрела, как Агеев зачаливает и замыкает на замок лодку, как берет весла и сумку с покупками, как сует в карман бутылку. «Смотри, смотри!» — весело думал Агеев, молча направляясь к гостинице.

Вика осталась на пристани. Она не оглянулась на Агеева, а смотрела на озеро, на закат под дождем.

Войдя в теплую комнату, Агеев увидел, что вещи Вики убраны и у порога стоит чемодан. «А-а!» — сказал Агеев и лег на кровать. По крыше шумел дождь. Агееву было

приятно и равнодушно после выпивки, он закрыл глаза и задремал. Очнулся он скоро, еще не стемнело, но дождь кончился, небо очистилось и холодно, высоко сияло.

Агеев позевал и пошел к хозяйке. Взяв у нее ключи от церкви, он вошел за деревянную стену, окружавшую погост, прошел между могилами, отпер дверь колокольни и стал подниматься по темной, узкой, скрипучей лестнице.

Пахло галочьим пометам и сухим деревом, было темно, но чем выше, тем становилось светлее и воздух чище. Наконец Агеев выбрался на площадку колокольни. Сердце его слегка замирало, ноги ослабли от ощущения высоты.

Сперва он увидел небо в пролеты, когда выбирался из люка на площадку, — небо наверху с редкими пушистыми облачками, с первыми крупными звездами, со светом в глубине, с синими лучами давно затаившегося солнца.

Когда же он взглянул вниз, то увидел другое небо, такое же громадное и светлое, как верхнее: неизмеримая масса воды вокруг, до самого горизонта, во все стороны, сияла отраженным светом, и островки на ней были как облака.

Агеев как сел на перила, обхватив рукой столбик, так больше и не шевельнулся до темноты, пока не выступило во всей своей жемчужности созвездие Кассиопеи, а потом, уже спустившись, долго ходил вокруг церкви по дорожке, поглядывая на нее так и сяк, и вздыхал.

Когда он пришел домой, опять трещала печка, Вика готовила ужин, но была тиха и далека уже от него.

— Скоро пароход придет? — спросил Агеев. — Ты узнавала?

— В одиннадцать, кажется, — помолчав, сказала Вика.

У Агеева дрогнуло в душе, сдвинулось, он хотел что-то сказать, спросить, но промолчал, вытащил из-под кровати этюдник и стал раскладывать по подоконнику и по кровати картон, тюбики с красками, бутылочки со скипидаром, стал перебирать кисти, сколачивать подрамники. Вика поглядывала на него с изумлением.

Ужинать сели молча, как в первый раз, посмотрели друг другу в глаза. Агеев увидел Викины сухие губы, лицо ее, вдруг такое дорогое, у него опять дрогнуло сердце, и он понял, что пришла пора прощаться.

Он достал из-под кровати водку, налил себе и Вике.

— Ну что ж... — сказал он хрипло и покашлял. — Выпьем на разлуку!

Вика не стала пить, поставила стопку на стол, откинулась и так, откинувшись, из-под полуопущенных век посмотрела на Агеева. Лицо ее дрожало, билась какая-то жилка на шее, губы шевелились, Агеев даже не мог смотреть на это. Ему стало жарко. Он встал, открыл окно, выглянул наружу, подышал ночным крепким воздухом.

— Дождя нет, — сказал он, вернувшись к столу, и еще выпил. — Нету дождя.

— Тебе денег не надо? — спросила Вика. — У меня есть лишние. Я ведь много взяла, думала... — Вика покусала губы, жалко улыбнулась.

— Нет, не надо, — сказал Агеев. — Я теперь пить брошу.

— И все-таки ты не прав, — горько сказала Вика. — Ты просто болен. Брось пить, и все станет хорошо.

— Ну? — Агеев усмехнулся. — И сразу персональная выставка, да? Привет! — сказал он и еще выпил. — И конъюнктурщики сразу поймут, что они не художники, да?

— Где ты был вечером? — спросила Вика, помолчав.

— Там... — неопределенно махнул рукой Агеев. — Наверху! У бога.

— Ты не скоро приедешь в Москву? — опять спросила Вика, глядя на разбросанные по комнате краски, кисти и подрамники.

Агеев потянулся, зевнул, лег и закурил. Грудь его дышала свободно, в пальцах покалывало, как всегда, когда ему хотелось работать.

— Да нет, — сказал он, воображая рыбацек, с которыми познакомится, их ноги, их груди. И глаза. И как они работают, как стискивают зубы, когда красными руками

тащат сети. — Через месяц, наверно. Или того позже. Попишу тут рыбаков. И воду. — Он помолчал. — И небо. Вот так, старуха!

Вика вышла послушать, не подходит ли пароход.

— Нет, еще рано, — сказала она, вернувшись, и стала смотреться в зеркало. Подумав, она достала из чемодана косынку, покрыла голову и завязала под подбородком. Потом села и сжала руки в коленях. Она сидела и молчала, низко опустив голову, будто на вокзале, будто Агеев был ей незнаком, — мысли ее были где-то далеко. Косыночка ее была прозрачна, сквозь нее золотисто проступали волосы. Агеев лежал, скосив глаза, с любопытством разглядывал ее, нервно покуривал.

— Нет, не могу больше, — сказала Вика и вздохнула. — Пойду на пристань.

Она встала, еще раз вздохнула, посмотрела несколько секунд пристально, не мигая, на лампу, потом надела пальто. Агеев скинул ноги с постели и сел.

— Ну что ж, — сказал он. — Гуд бай, старуха! Проводить тебя, что ли?..

Вика пошла к хозяйке за паспортом, Агеев торопливо выпил, пофукал, сморщился и стал одеваться, рассматривая вздрагивающие свои руки, слушая, как Вика разговаривает с хозяйкой за стеной. Потом взял чемодан и вышел на крыльцо. Крыльцо, перила, доски, проложенные к пристани, были еще сыры от недавнего дождя. Агеев подождал, пока выйдет Вика, и пошел с крыльца. Вика, постукивая туфельками, шла за ним по мосткам.

Придя на пристань, Агеев поставил чемодан, Вика тотчас присела на него, сжалась в комочек, замерла. Агеев зябко передернулся и поднял воротник. В мертвой неестественной тишине ночи послышался вдруг, бодрый высокий звук самолета. Он приближался, рос, усиливался, но в то же время становился все ниже, ниже по тону, все бархатистее, придушенней, как будто кто-то вел непрерывно смычком по струне контрабаса, постепенно спуская колок, пока, наконец, не стал, удаляясь, звучать низкий, утробный шорох.

Опять настала немая тишина, Агеев потоптался возле Вики, потом отошел, поднялся на берег. Он постоял, прошел немного к южному концу острова и огляделся.

Горели над головой звезды, и на воде всюду светились красные и белые огоньки, помаргивали на бакенах, мигалках и створных знаках.

Внезапно по небу промчался как бы вздох — звезды дрогнули, затрепетали. Небо почернело, затем снова дрогнуло и поднялось, наливаясь голубым трепетным светом. Агеев повернулся к северу и сразу увидел источник света. Из-за церкви, из-за немой ее черноты, расходясь лучами, колыхалось, сжималось и распухало слабое голубовато-золотистое северное сияние. И когда оно разгоралось, все начинало светиться: вода, берег, камни, мокрая трава, а церковь проступала твердым силуэтом. Оно гасло — и все сжималось, становилось невнятным и пропадало во тьме.

Земля поворачивалась. Агеев вдруг ногами, сердцем почувствовал, как она поворачивалась, как она летела вместе с озерами, с городами, с людьми, с их надеждами — поворачивалась и летела, окруженная сиянием, в страшную бесконечность. И на этой земле, на острове под ночным немым светом был он, и от него уезжала она. От Адама уходила Ева, и это должно было случиться не когда-нибудь, а сейчас. И это было как смерть, к которой можно относиться насмешливо, когда она далеко, и о которой невыносимо даже помыслить, когда она рядом.

Он не мог этого перенести и быстро пошел на пристань, чувствуя, как от мокрой травы намокают сапоги, не видя ничего в темноте, но зная, что они теперь, черны и блестят.

Когда Агеев пришел на пристань, на столбике горел уже керосиновый фонарь, внизу на ступеньках стояла и зевала сторожиха, а из-за бугра на севере выставлялся новый луч света, тоже дрожащий, но теплее по тону. Луч этот подвигался, слышен

был частый стукоток плит, и вдруг высоко, звонко раскатился гудок парохода и долго отдавался от других островов.

— Ты видел северное сияние? Это оно, да? — быстро вполголоса спросила Вика. Она была возбуждена и не сидела уже на чемодане, а стояла возле перил.

— Видел, — сказал Агеев и покашлял.

Пароход выкатился из-за берега и стал слышнее. На носу его ярко посверкивала звездочка прожектора. Свет его доносило уже до пристани. Заблестела сырость на досках. Пароход застопорил машину и подвигался к пристани по инерции. Сторожиха, прикрыв рукой глаза от яркого света, что-то выглядывала на пароходе. Агеев повернулся к свету спиной и увидел, как луч прожектора дымно дрожит на прекрасной старой музейной избе.

Пароход подваливал, прожектор повернули, пристань залилась ослепительным молочным светом. Вика и Агеев молча смотрели, как пароход причаливает. Матрос на борту бросил сторожихе конец. Сторожиха не торопясь надела петлю на тумбу, матрос нагнулся, стал наматывать канат. Канат натянулся, заскрипел, пристань дрогнула, подалась. Пароход мягко стукнулся кранцами о причал. Матрос сдвинул сходни на пристань, стал смотреть под лампой билет у кого-то, кто сходил. Наконец пропустил того и повернулся к Агееву и Вике.

— Садись, что ли? — неуверенно сказал он.

— Ну, валяй... — сказал Агеев и небрежно потрепал Вику по плечу. — Счастли-
во!

Губы у Вики задрожали.

— Прощай! — сказала она и, постукивая туфельками, поднялась по трапу на палубу.

Пароход был почти пуст, слабо освещен лампами на нижней палубе, с темными окошками кают. В каютах или никого не было или спали. Между бортом и причалом сипело, поднимался прозрачный парок.

Вика не оглянулась, сразу ушла, скрылась в глубине. Торопливо прокричали один длинный и три коротких гудка, сторожиха скинула петлю с тумбы, сходни убрали, створки на борту захлопнули, и это теплое милое дышащее существо, одно живое в холодной ночи, заполоскав плицами, стало отваливать, круто забирая вправо.

Сторожиха опять зевнула, пробормотала, что рано в этом году заиграли сполохи и что это к холодам, сняла фонарь и пошла на берег, бросая перед собой пятно света, мажа себя желтым светом по сапогам и неся слева от себя неверную большую тень, которая от раскачивающегося фонаря перескакивала с пристани и берега на воду.

Покурив и постояв, пошел в теплую гостиницу и Агеев. Северное сияние еще вспыхивало, но уже слабо, и было одного цвета — белого.

1962

ДВОЕ В ДЕКАБРЕ

Он долго ждал ее на вокзале. Был морозный солнечный день, и ему все нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще не успели убрать в Москве. Нравился и он сам себе: крепкие лыжные ботинки, шерстяные носки почти до колен, толстый мохнатый свитер и австрийская шапочка с козырьком, но больше всего лыжи, прекрасные клееные лыжи, стянутые ремешками.

Она опаздывала, как всегда, и он когда-то сердился, но теперь привык, потому что, если припомнить это, пожалуй, была единственная ее слабость. Теперь он, при-

слонив лыжи к стене, слегка потопывал, чтобы не замерзли ноги, смотрел в ту сторону, откуда она должна была появиться, и был покоен. Не радостен он был, нет, а просто покоен, и ему было приятно и покойно думать, что на работе все хорошо и его любят, что дома тоже хорошо, и что зима хороша: декабрь, а по виду настоящий март с солнцем и блеском снега, — и, что главное, с ней у него хорошо. Кончилась тяжелая пора ссор, ревности, подозрений, недоверия, внезапных телефонных звонков и молчания по телефону, когда слышишь только дыхание, и от этого больно делается сердцу. Слава богу, это все прошло, и теперь другое — покойное, доверчивое и нежное чувство, вот что теперь!

Когда она наконец пришла и он увидал близко ее лицо и фигуру, он просто сказал:

— Ну-ну! Вот и ты...

Он взял свои лыжи, и они медленно пошли, потому что ей надо было отдышаться: так она спешила и запыхалась. Она была в красной шапочке, волосы прядками выбивались ей на лоб, темные глаза все время косили и дрожали, когда она взглядывала на него, а на носу уж были первые крохотные веснушки.

Он отстал немного, доставая мелочь на поезд, глянул на нее сзади, на ее ноги и вдруг подумал, как она красива и как хорошо одета и что опаздывает она потому, наверное, что хочет всегда быть красивой, и эти ее прядки, будто случайные, может быть, вовсе не случайны, и какая она трогательная, озабоченная!

— Солнце! Какая зима, а? — сказала она, пока он брал билеты. — Ты ничего не забыл?

Он только качнул головой. Он даже слишком набрал всего, как ему теперь казалось, потому что рюкзак был тяжеловат.

В вагоне электрички было тесно от рюкзаков и лыж и было шумно: все кричали, звали друг друга, с шумом занимали места, стучали лыжами. Окна были холодны и прозрачны, но лавки с печками источали сухое тепло, и хорошо было смотреть на солнечные снега за окнами, когда поезд тронулся, и слушать быстрое мягкое постукивание колес внизу.

Минут через двадцать он вышел покурить на площадку. Стекла в одной половине наружных дверей не было, на площадке разгуливал холодный ветер, стены и потолок закуржавели, резко пахло морозом, железом, а колеса здесь уже не постукивали, а грохотали, и рельсы гудели.

Он курил, смотрел сквозь стеклянную дверь внутрь вагона, переводя взгляд с одной скамейки на другую, испытывая ко всем едущим чувство некоторого сожаления, потому что, как он думал, никому из них не будет так хорошо в эти два дня, как ему. Он рассматривал также и девушек, их оживленные лица, думал о них и волновался слабо и горько, как всегда, когда видел юную прелесть, проходящую мимо с кем-то, а не с ним. Потом он посмотрел на нее и обрадовался. Он увидел, что и здесь — среди молодых и красивых — она была все-таки лучше всех. Она смотрела в окно, лицо ее было матово, а глаза темны и ресницы длинные.

Он тоже стал смотреть через дверь без стекла на мороз, на воздух, шурился от яркого света и от ветра. Мимо проносились скрипучие деревянные, засыпанные снегом платформы. На платформах иногда попадались фанерные буфеты, все выкрашенные в голубое, с железной трубой над крышей, с голубым же дымком из трубы. И он думал, как хорошо сидеть в таком буфете, слушать тонкие посвисты проносящихся мимо электричек, греть возле печки и пить пиво из кружки. И как вообще все прекрасно: какая зима, какая радость, что у него есть теперь кого любить, что та которую он любит, сидит в вагоне и на нее можно посмотреть и встретить ответный взгляд! О, как это здорово, уж он-то знает: сколько вечеров он провел дома один, когда у него не

было ее, или бесцельно слонялся по улицам с приятелем, философствовал, рассуждал о теории относительности и о других приятно-умных вещах, а когда возвращался домой, было грустно. Он даже стихи сочинял, и они тогда нравились приятелю, потому что у него тоже никого не было. А теперь приятель женился...

Он думал, как странно устроен человек. Что вот он юрист и ему уже тридцать лет, а ничего особенного он не совершил, ничего не изобрел, не стал ни поэтом, ни чемпионом, как мечтал в юности. И как много причин у него теперь, чтобы грустить, потому что жизнь не получалась, а он не грустит, его обыкновенная работа и то, что у него нет такой славы, вовсе не печалит, не ужасает его. Наоборот, он теперь доволен и покоен и живет нормально, как если бы добился всего, о чем ему мечталось.

У него было только всегдашнее беспокойство — мысли о лете. Еще с ноября начинал он думать и загадывать, как и куда поедет на время своего будущего летнего отпуска. Этот отпуск всегда ему казался таким нескончаемым, таким в то же время кратким, что нужно было заранее все обдумать и выбрать место самое интересное, чтобы не ошибиться, не прогадать. Всю зиму и весну он волновался, узнавал, где хорошо, какая там природа, и какой народ, и как туда добраться, и эти расспросы и планы были, может быть, приятнее даже самой поездки и отпуска.

Он и сейчас думал о лете, о том, как поедет на какую-нибудь речушку. Они возьмут с собой палатку, приедут на эту речушку, накачают байдарку, и она станет как индейская пирога... Прощай тогда Москва и асфальт, и всякие процедуры, и юридическая консультация!

И он тут же вспомнил, как они первый раз уехали из Москвы вместе. Они тогда поехали в Эстонию, в крохотный городок, где он как-то был по делам. Как они ехали на автобусе, как ночью приехали в Валдай, там все было черно и один только ресторан еще жил, светился; как он выпил стакан старки и опьянел, и ему весело было в автобусе, потому что рядом ехала она и глухой ночной порой дремала, прислоняясь к нему. И как они приехали на рассвете, и хоть была середина августа и в Москве зарядили дожди, здесь было чисто и светло, восходило солнце, беленькие домики, острые красные черепичные крыши, обилие садов, глушь и тишина и заросшие курчавой травкой между камнями улицы.

Они поселились в чистой, светлой комнате, везде там, по подоконникам, под кроватью и в шкафу лежали, зрели антоновские яблоки и крепко пахли. Был еще богатый рынок, они ходили вместе и выбирали себе копченое сало, мед кусками, масло, помидоры и огурцы (дешевизна была баснословная). И этот запах из пекарни, непрерывное воркование и плеск крыльев голубей. А главное — она, такая неожиданная, будто бы совсем незнакомая и в то же время любимая, близкая. Какое было счастье, и еще, наверное, не такое будет, только бы не было войны!

Последнее время он часто думал о войне и ненавидел ее. Но теперь, глядя на сияющий снег, на леса, на поля, слушая гул и звон рельсов, он с уверенностью подумал, что никакой войны не будет, так же как и не будет и смерти вообще. Потому что, подумал он, есть минуты в жизни, когда человек не может думать о страшном и не верит в существование зла.

Они сошли чуть не последними на далекой станции. Снег звонко заскрипел под их шагами, когда они пошли по платформе.

— Какая зима! — снова сказала она, щурясь. — Давно такой не было!

Им надо было пройти километров двадцать до его дачи, переночевать там, покататься еще днем и возвратиться вечером домой, по другой железной дороге.

У него был маленький фруктовый участок с летней дощатой дачкой, а на этой дачке — две кровати, стол, грубые табуретки и чугунная немецкая печь.

Надев лыжи, он подпрыгнул несколько раз, похлопал лыжами по снегу, взметая пушистую порошу, потом проверил крепления у нее, и они потихоньку двину-

лись. Сначала они хотели идти быстрее, чтобы пораньше добраться до дому, успеть прогреть его хорошенько и отдохнуть, но идти быстро в этих полях и лесах невозможно было.

— Смотри, какие стволы у осин! — говорила она и останавливалась. — Цвета кошачьих глаз.

Он тоже останавливался, смотрел — и верно, осины были желто-зелены наверху, совсем как цвет кошачьих глаз.

Лес был пронизан дымными косыми лучами. Снег пеленой то и дело повисал между стволами, и ели, освобожденные от груза, раскачивали лапами.

Они шли с увала на увал и видели иногда сверху деревни с белыми крышами. Во всех избах топились печи, и деревни исходили дымом. Дымки поднимались столбами к небу, но потом сваливались, растекались, затягивали, закутывали окрестные холмы прозрачной синью, и даже на расстоянии километра или двух от деревни слышно было, как пахнет дымом, и от этого запаха хотелось скорее добраться до дому и затопить печку.

То они пересекали унавоженные, затертые до блеска полозьями дороги, и хоть был декабрь, в дорогах этих, в клочках сена, в голубых прозрачных тенях по колеям было что-то весеннее, и пахло весной. Один раз по такой дороге в сторону деревни проскакал черный конь, шерсть его сияла, мышцы переливались, лед и снег брызгали из-под подков, и слышен был дробный хруст и фырканье. Они опять остановились и смотрели ему вслед.

То неровно и взлохмачено летела страшно озабоченная галка, за ней торопилась другая, а вдаль ныряла, не выпуская галок из виду, заинтересованная сорока: что-то они узнали? И на это нужно было смотреть. А то качались, мурлыкали и деловито копошились на торчащем из-под снега татарнике снегири — необыкновенные среди мороза и снега, как тропические птицы, и сухие семена от их крепких, толстых клювов брызгали на снег, ложась дорожкой.

Иногда им попадался лисий след, который ровной и то же время извилистой строчкой тянулся от быльи к быльи, от кочки к кочке. Потом след поворачивал и пропадал в снежном сиянии. Лыжники шли дальше, и им попадались уже заячьи следы или беличьи в осиновых и березовых рощах.

Эти следы таинственной ночной жизни, которая шла в холодных пустынных полях и лесах, волновали сердце, и думалось уже о ночном самоваре перед охотой, о тулупе и ружье, о медленно текущих звездах, о черных стогах, возле которых жируют по ночам зайцы и куда издали, становясь иногда на дыбки и поводя носом, приходят лисицы. Воображался громовой выстрел, вспышка света и хрупкое ломающееся эхо в холмах, брех потревоженных собак по деревьям и остывающие, стекленеющие глаза растянувшегося зайца, отражение звезд в этих глазах, заиндевелые толстые усы и теплая тяжесть заячьей тушки.

Внизу, в долинах, в оврагах, снег был глубокий и сухой, идти было трудно, но на скатах холмов держался муаровый наст с легкой порошей — взбираться и съезжать было хорошо. На далеких холмах, у горизонта, леса розово светились, небо было синее, а поля казались безграничными.

Так они и шли, взбираясь и скатываясь, отдыхая на поваленных деревьях, улыбаясь друг другу. Иногда он брал ее сзади за шею, притягивал и целовал ее холодные, обветренные губы. Говорить почти не говорили, редко только друг другу: «Посмотри!» или «Послушай!».

Она была, правда, грустна и рассеяна и все отставала, но он не понимал ничего, а думал, что это она от усталости. Он останавливался, поджидая ее, а когда она догоняла и смотрела на него с каким-то укором, с каким-то необычным выражением, он спрашивал осторожно, — он-то знал, как неприятны спутнику такие вопросы:

— Ты не устала, а то отдохнем.

— Что ты! — торопливо говорила она. — Это я так просто... Задумалась.

— Ясно! — говорил он и продолжал путь, но уже медленней.

Солнце стало низко, и только одни поля на вершинах холмов сияли еще; леса же, долины и овраги давно стали сизеть и глохнуть, и по-прежнему по необозримо-му пространству лесов и полей двигались две одинокие фигурки — он впереди, она сзади, и ему было приятно слышать шуршание снега под ее лыжами и чирканье палок.

Однажды в розовом сиянии за лесом, там, где зашло уже солнце, послышался ровный рокот моторов, и через минуту показался высоко самолет. Он был один озарен еще, солнечные блики вспыхивали на его фюзеляже, и хорошо было смотреть на него снизу, из морозной сумеречной тишины, и воображать, как в нем сидят пассажиры и думают о конце своего пути, о том, что скоро Москва и кто их будет встречать.

В сумерки они наконец добрались до места. Потопали заледенелыми ботинками на холодной веранде, отомкнули дверь, вошли. В комнате было совсем темно, и казалось холоднее, чем на улице.

Она сразу легла, закрыла глаза, дорогой она разгорячилась, вспотела, теперь стала остывать, озноб сотрясал ее, и страшно было пошевелиться. Она открывала глаза, видела в темноте дощатый потолок, видела разгорающееся пламя в запотевшем стекле керосиновой лампочки, зажмуривалась — и сразу начинали плавать, сменять друг друга желто-зеленое, белое, голубое, алое — все цвета, на которые нагляделась она за день.

Он доставал из-под террасы дрова, грохотал возле печки, шуршал бумагой, разжигал, кряхтел, а ей не хотелось ничего, и она была не рада, что поехала с ним в этот раз.

Печка накалилась, стало тепло, можно было раздеться. Он и разделся, снял ботинки, носки, развесил все возле печки, сидел в нижней рубаше — довольный, жмурился, шевелил пальцами босых ног, курил.

— Устала? — спросил он. — Давай раздевайся!

И хоть ей не хотелось шевелиться, а хотелось спать от грусти и досады, она все-таки послушно разделась и тоже развесила сушить куртку, носки, свитер, осталась в одной мужской ковбойке навыпуск, села на кровать, опустила плечи и стала глядеть на лампу.

Он сунул ноги в ботинки, накиннул куртку, взял ведро, которое, когда он вышел на веранду, вдруг певуче зазвенело. Вернувшись, он поставил на печку чайник, стал рыться в рюкзаке, доставал все, что там было, и раскладывал на столе и подоконнике.

Она молча дожидалась чаю, налила себе кружку и потом тихо сидела, жевала хлеб с маслом, грела горячей кружкой руки, прихлебывала и все смотрела на лампу.

— Ты что молчишь? — спросил он. — Какой сегодня день был. А?

— Так... Устала я страшно сегодня... — Она встала и потянулась, не глядя на него. — Давай спать!

— И это дело, — легко согласился он. — Погоди, я дров подложу, а то дом настыл...

— Я сегодня одна лягу, можно вот здесь, у печки? Ты не сердись, — торопливо сказала она и опустила глаза.

— Что это ты? — удивился он и сразу вспомнил весь ее сегодняшней грустно-отчужденный вид, а вспомнив, озлобился, и сердце у него больно застучало.

Он понял вдруг, что совсем ее не знает — как она там учится в своем университете, с кем знакома и о чем говорит. И что она для него загадочна, как и в первую встречу, незнакома, что он, наверное, груб и туп для нее, потому что не понимает, что ей

нужно, и не может сделать так, чтобы она была постоянно счастлива с ним, чтобы ей уж ничего и ни кого не нужно было.

И ему стало сразу стыдно за весь сегодняшний день, за эту жалкую дачу и печку, и даже почему-то за мороз и солнце, и за свой покой; зачем ехали, зачем все это нужно? И где же это хваленое проклятое счастье.

— Ну что ж... — сказал он равнодушно и перевел дух. — Ложись где хочешь.

Не взглянув на него, не раздеваясь, она сразу легла, накрылась рукой и стала смотреть в печку на огонь. Он перешел на другую кровать, сел, закурил, потом потушил лампу и лег. Горько ему стало, потому что он чувствовал: она от него уходит. Что-то не выходило у них со счастьем, но что, он не знал и злился.

Через минуту он услышал, что она плачет. Он привстал, посмотрел через стол на нее. От печки было довольно светло, а она лежала ничком, глядела на пылающие дрова, и он видел ее несчастное, залитое слезами лицо, жалко и некрасиво кривящееся дрожащие губы и подбородок, мокрые глаза, которые она все вытирала тонкой рукой.

Отчего ей сегодня стало вдруг так тяжело и несчастливо? Она и сама не знала. Она чувствовала только, что пора первой любви прошла, а теперь наступает что-то новое и прежняя жизнь ей стала не интересна. Ей надоело быть никем перед его родителями, дядями и тетками, перед его друзьями и своими подругами, она хотела стать женой и матерью, а он не видит этого и вполне счастлив так. Но и смертельно жалко было первого тревожного времени их любви, когда было все так неясно и неопределенно, зато незнакомо, горячо и полно ощущением новизны.

Потом она стала засыпать, и ей пригрезилось снова ее давнишняя мечта, с которой она засыпала каждый раз еще девочкой. Что будто бы он сильный и мужественный и любил ее, а она его тоже любила, но почему-то говорила: «Нет!» — и он уехал далеко на север и стал рыбаком, а она страдала. Он там охотился в прибрежных скалах, прыгал с камня на камень, сочинял музыку, выходил в море ловить рыбу и думал все время о ней. Однажды она поняла, что счастье у нее только с ним, все бросила и поехала к нему. Она была так красива, что все ухаживали за ней дорогой: летчики, шоферы, моряки, но она никого не видела, а думала только о нем. Встреча с ним должна была быть такой необыкновенной, что страшно было даже вообразить. И придумывали все новые и новые задержки, чтобы как-то отдалить эту минуту. Так она и засыпала обыкновенно, не встретившись с ним.

Давно уже не думала она на сон ни о чем подобном, а сегодня почему-то опять захотелось помечтать. Но и сегодня, в то время, когда она уже ехала на попутном мотоботе, мысли ее стали мешаться и она уснула.

Проснувшись она ночью оттого, что было холодно. Он сидел на корточках и растоплял остывшую печку. Лицо у него было грустное, и ей стало его жалко.

Утром они помолчали сначала, молча завтракали, пили чай. Но потом повеселели, взяли лыжи и пошли кататься. Они взбирались на горы, съезжали, выбирая все более крутые и опасные места.

Дома они грелись, говорили о незначительном, о делах, о том, какая все-таки хорошая зима в этом году. А когда стало темнеть, собрались, заперли дачу и пошли на лыжах на станцию.

К Москве они подъезжали вечером, дремали, но когда показались большие дома, ряды освещенных окон, он подумал, что сейчас им расставаться, и вдруг вообразил ее своей женой.

Что ж! Первая молодость прошла, то время, когда все кажется простым и необязательным — дом, жена, семья и тому подобное, время это миновало, уже тридцать, и что в чувстве, когда знаешь, что вот она рядом с тобой, и она хороша, и все такое, а ты можешь ее всегда оставить, чтобы так же быть с другой, потому что ты свободен, — в этом чувстве, собственно, нет никакой отрады.

Завтра целый день в юридической консультации писать кассации, заявления, думать о людских несчастьях, в том числе и о семейных, а потом домой — к кому? А там лето, долгое лето, всякие поездки, байдарка, палатка — и опять — с кем? И ему захотелось быть лучше и человечнее и делать все так, чтобы ей было хорошо.

Когда они вышли на вокзальную площадь, горели фонари, шумел город, а снег уже успели убрать, увезти, и они оба почувствовали, что их поездки как и не было, не было двух дней вместе, что им нужно сейчас прощаться, разъезжаться каждому к себе и встретиться придется, может быть, дня через два или три. Им обоим стало как-то буднично, покойно, легко, и простились они, как всегда прощались, с торопливой улыбкой, и он ее не провожал.

1962

НОЧЛЕГ

— Ну давай сходим, Никита! — просил Илюша и клал руку Никите на плечо, смотрел в окно куда-то по деревне, и когда он так клал руку, выходило, что он не один смотрел, я вроде бы вместе с другом. — Давай, Никита, а?

А еще час назад Илюша был замучен, шли они болотами двадцать километров, и под конец Никита все чаще останавливался и глядел назад, в сумерки долгого весеннего вечера, в тончайшую пелену тумана, покуда в этом тумане не определилась фигура — тонкая и длинная, с головой понуро свернутой набок, слышалось усиленное чавканье сапог, и Никита только вздыхал от жалости.

Но когда пришли в деревню, когда договорились о ночлеге в избе, в которой жили старик со старухой, Илюша свалил в угол рюкзак, сел к окну, закурил, стащил — нога об ногу — сапоги, вытянулся, поглядел в окно, и глаза его заблестели.

Старика не слышать было, старуха накрывала на стол, говорила о чем-то с пятого на десятое. Илюша старуху не слушал, спрашивал иногда о хозяйстве, и вопросы его были какие-то дикие, на все повторял почему-то «спасибочки» — и встрепенулся, и особенно поглядел на Никиту, когда узнал, что сегодня в клубе танцы.

...Стояла на севере самая ранняя весна — та пора, когда ночи уже тлеют, истекают светом по горизонту, когда березы еще голы, когда на многие километры слышно, как однообразно напряженно играют, гулькают тетерева, а снег еще только сошел, все залито полкой водой, и часа в четыре солнце уже высоко и греет вовсю.

В одно такое утро Илюша и Никита и двинулись в обратный путь. Были они геологи-однокурсники, бродяги и поэты, как они сами себя называли и как пелось об этом в их же песнях. Три месяца, еще с зимы, проработали они далеко в болотах, в партии, потом срок их кончился, они собрались быстро, выпили накануне у костра, спели свои песни, записали все поручения, а утром перебудили всех, потискали руки на прощанье, глянули уже как-то отдаленно на буровую вышку, на дощатые сарайчики, фургоны, палатки, на трактора — и пошли...

Им надо было ночевать в этой деревне на берегу необозримого озера, а завтра в три вставать, спускаться на пристань и ехать на катере связи на другую сторону — в город, а оттуда уже в Москву, на поезде.

Все было прекрасно, только Никите хотелось спать, и он думал, что все-таки в три часа вставать, но Илюша все не отставал, все просил:

— Ну, Никита, ну, дорогой, пойдем, посмотрим! — а сам уже и штормовку скинул, натянул мокасины, замшевый спереди джемпер, и побрился, и сигареты американские достал из рюкзака, которые берег специально до того времени, когда будет ехать в Москву и сидеть в вагоне-ресторане.

И как только запахло в избе приторно-сладким заграничным дымком и одеколоном, Никита тоже не выдержал, нацедил кипятку, побрился, тоже надел свежую рубашку, и они вышли — даже плечами в сенях столкнулись.

Ребят в клубе было мало, больше девчат, и девчата показались Никите и Илюше прекрасными, какие-то синеглазые, в веснушках, крепкие и веселые. Как рассеянно сразу заулыбался Илюша, как нарочито скромно, чуть сутулясь — руки в карманы, — мелким шагом пошел в угол, как бы говоря: «Не беспокойтесь, что вы!», как округлил, выкатил глаза и как стал сразу оглядывать девчат! И Никита тоже заволновался, понюхал, сразу уловил запах пудры и губной помады, запах горячего женского тела, сразу вспомнил редкие и давние свои вечера в таких же клубах и неизменный грубоватый и в то же время многое обещающий вопрос «Разрешите?», и допотопные, каких больше нигде не играют, кроме как в глухих деревнях, вальсы и польки на баяне, и топоток ног, и крыльцо потом, шум и возню ребятишек в темных сенях — и подобрался, закаменел некрасивым своим лицом и с привычной завистью подумал об Илюше, что опять тот выберет себе лучшую, а ему достанется какая-нибудь...

Заиграл баянист, начались танцы, и сначала танцевали одни девчата, ребята все стояли в углу, покуривали, похохатывали, а окна все светились закатом, хоть и бледнели, синели уже. Но света не зажигали.

И тут же к Никите и Илюше подошел парень, а был он стрижен по затылку и вискам чуть не наголо, добела, зато золотистый кудрявый чуб стоял дыбом и водопадом валился на сторону, и был он в шелковой тенниске, в широких брюках, вправленных в сапоги гармошкой, в пиджаке внакидку, и пахло от него одеколоном, бензином и водкой. Он нагнулся и, поглядывая по сторонам, заговорил культурно, тихо:

— Вы, ребята, вот чего... Вы, я вижу, народ культурный — так чтобы все у нас в ажуре было, кого не надо — не трогайте, ясно? Кого себе возьмете на прицел, меня пригласите, я вам скажу, с ними можно или нет. Это чтобы, культурно сказать, какая с кем уже гуляет, а вам неизвестно, так ребята обидеться могут. Нехорошо может произойти. Ясно? Ну и действуйте, извините, а я с вами культурно.

И отошел, а баянист играл, перебирал, склонял голову, и Илюша, уже смело поглядывая на ребят, улыбаясь им, как будто он не один, а вместе с ними, — уже танцевал, уже говорил что-то какой-то девчонке, приближался к ней, отстранялся и опять, кругля глаза, поглядывая по клубу и на ребят в углу, будто он все это не для себя делал, а для них, для всех, кто там был.

А потанцевавши, сел — весь другой, новый, нежный какой-то, тихий, обнял Никиту, забормотал: «Никита, Никита... А? Хорошо, а?» — а сам смотрел все на ту девчонку, с которой только что танцевал, широко, щедро улыбался, и видно было, что он счастлив и про все забыл, — забыл, как работал, забыл, как по болоту шел, забыл, что впереди и что было позади, а только этот нежный, тихий брезжущий свет по окнам, только этот баян, этот клуб, с нечистым полом, эти девчата — одни были для него теперь.

Ребята вдруг стали выходить вон, а давешний парень серьезно мигнул Никите с Илюшей, мотнул головой на выход, раз и другой, и не выходил, пока Никита с Илюшей не встали и не подошли к нему.

— А ну, выйдем! — тихо, серьезно сказал парень, водя глазами по сторонам, и пошел, и Никита с Илюшей, сразу испугавшись, двинулись за ним. Вышли на крыльцо и увидели, что все уже зашли за угол, стоят, покуривают, ждут их. «Сейчас бить будут!» — холодея подумал Никита.

— Ребята! Вы как насчет выпить? — весело, заговорщицки предложил им, как только они подошли.

Илюша сразу опять заулыбался и округлил глаза. Никита сказал: «А!» и — передохнул, и голос у него был какой-то не свой, и еще почувствовал, что весь вспотел, лицо и шея вспотели, вытащил платок и стал утираться.

— А можно? Магазин открыт?

Оказалось, что можно, магазин закрыт, а у продавщицы дома есть. Водки нет, а есть спирт. И тут же сложились на спирт, и кто-то побежал, а через пять минут и стаканы появились, и вода, и потом все они — человек восемь — дружно пили возле глухой стены клуба разведенный спирт, закусывали окаменевшими мятными пряниками, и Илюша угощал всех сигаретами; все недоверчиво курили, нюхали сладкий дымок и говорили о тракторах, о зарплате, о нормах, о геологах, о том, что в прошлом году тоже работала недалеко от них экспедиция, и ребята ходили к ним в гости, на танцы и в кино, и что ничего, какие все были хорошие ребята, ленинградцы.

И баянист выскочил, сам почуял или кто ему сказал, выскочил, тоже приложился, спросил про какого-то Мишку, курнул, вернулся в клуб, а за ним и все потянулись, уже горячие, веселые, смелые, и как-то уютнее, милее стало в клубе, и музыка лучше, и грустно как-то было, хорошо и жалко, что один вечер только у них, и Никита думал, что всегда, всегда так — один вечер, одна ночь, а жалко, и уже больше ничего похожего не будет, вернее, похожее будет, а вот точно такого никогда уже не будет, и это помнится потом долго. Ах, как жалко!

С непривычки он опьянел, но не плохо, не тяжело, а горячо, все ему нравились, и когда Илюша потанцевал, поговорив с той же девчонкой, подозвал его к себе знакомить с ней и с ее подругой, они обе так ему понравились, что он сначала и разобрать не мог, какая лучше и какая же его, а какая — Илюши.

Илюша что-то говорил, ворковал, понизив голос, смотря пристально то на одну, то на другую. А говорил он обыкновенное, что всегда говорится в таких случаях, первое попавшееся, что как жалко, как ужасно, что у них в партии не было таких девочек — а то жизнь в болотах была бы сказкой, и почему они не хотят стать геологами: все геологи — романтики и поэты, и тому подобное, пустое. Но Никите все нравилось, и все было правдой, потому что он в эту минуту забыл тоже про сырость, холод и грязь, и ругань, и тоску и только горячо подхватывал: «Конечно!», «Еще как!».

И они танцевали, а в перерывах говорили и старались острить, чтобы рассмешить девочек, чтобы было весело, а потом вышли и сначала постояли вместе, а потом разошлись — каждый в другую сторону, каждый со своей девочкой... Никита, когда Илюша ушел, скрылся, — Никита примолк, ему как-то неловко стало, он забыл, как звать эту, что шла с ним. Потом спросил. Оказалось, звать Ниной.

— А, Нина... Ниночка... — забормотал он, стараясь опять попасть в давешнее легкое настроение. — Как я не знал, что вы есть на свете...

Дальше у него не выходило, он перестал улыбаться, почувствовал, как у него устало лицо от улыбки и что опьянение — первое, горячее — прошло, взял ее под руку, попробовал было обнять ее на ходу, но та не далась, и Никита совсем опомнился. «Все ясно, — подумал он, — ей Илюша понравился, а пришлось со мной идти. Все ясно!»

Да, наверное, он ей не нравился. А может быть, она думала, что — зачем ей это, вот он приехал, появился откуда-то на одну ночь и уедет, а она останется, так зачем же ей одна-то ночь.

Она не прощалась, не уходила, но и не становилась оживленнее, а была как каменная — синеглазая, налитая, крепкая, пахучая, и пахло от нее бесхитростно: пудрой, женщиной, молоком, деревней. И она была еще замкнутая, далекая. Был ли кто-нибудь в ее жизни и что она думала о любви? «Наверно, солдат какой-нибудь есть, — думал Никита. — Переписываются!»

Прошел где-то вдаль баянист с девчатами, шли по домам, и баянист еще наигрывал вологодские страдания, а девчата подпевали. Потом все утомилось, успокоилось, и хоть было уже часов двенадцать, на севере еще сочился светло-зеленый омут

света с багровой каемкой по горизонту, поблескивали стекла изб, а крыши, восточные их скаты, были черные, как нарисованные сажей.

Никита еще пробовал говорить, она отмалчивалась... Они медленно прошли мимо бревенчатых глухих стен, изгородей и бань, вышли к обрыву над озером и сели на лавку под березой. Перед ними, будто налитое воздухом, простиралось громадное пространство озера. Оно не темно было и не светло, не имело цвета, не имело границ... Только в двух отдаленнейших местах, как бы в космосе, мигали вперемежку маяки, и уже где-то совсем далеко, в неверном восточном сумраке переливались, вспыхивали и потухали, как мелкие звезды, огни районного центра на противоположном берегу.

«А ведь надо спать! — совсем трезво подумал Никита. — Где же эта наша изба?»

В эту самую минуту на озере, неизвестно где, возник упругий, вроде бы негромкий, но в то же время мощный звук, похожий на «Уыыыыыппп!» — и не ослабевая, а даже как бы усиливаясь, со стоном, со вздохами стал кататься по озеру, уходить и возвращаться.

— Что это? — быстро спросил Никита, чувствуя, как тоскливо дрогнуло у него сердце и холод пошел по всему телу. — А? Что это?

— А-а!.. — отдаленно отозвалась она. — Это воздух... Это воздух замерзает зимой на дне, а весной выходит. И нипочем не угадаешь, где звук, а так, везде...

Эта протяженность, эта нежная отдаленность ее голоса так непохожи были на ее замкнутый, каменный вид, что Никита опять обнял ее, но она вскочила и уже больше не садилась, а стояла в двух шагах от лавки, сцепив руки на подоле, полуотвернувшись, глядя на озеро.

— Ну что ж, раз так — гуд бай, спокойной ночи! — сказал грубовато Никита.

Как же радостно подала она ему свою шершавую ладошку, как повернулась, как быстро пошла, а потом и побежала по мосткам, закидывая на стороны крепкие светлые икры! А Никита посидел еще некоторое время, покряхтел, покашлял от стыда, закурил, и хоть ему сперва стыдно и нехорошо было от неудачи — потом забыл про все, остыл и только глядел на озеро, направо и налево, и уже стал замечать тончайшие перламутровые облачка высоко наверху и три обвисших паруса на неподвижных, заштилевших лодках, и когда из какого-то заливчика, примерно в километре от деревни, стал выгребать рыбак на лодке, явственно слышал скрип уключин. «Уыыыыыппп!» — опять раздался тот же звук, будто водяной простонал, и эхо, как большое медленное колесо, долго катилось по неподвижной воде. А когда, поплутав в изгородях и дворах, Никита нашел свою избу, Илюша был уже дома, сидел спиной к раскрытому окну и говорил о чем-то со старухой. Увидев Никиту, Илюша заулыбался, обрадовался, будто они бог знает когда расстались и, по своей привычке проводя ладонью по губам, сразу спросил:

— Ну как, а? Никита, ну как, правда? — глаза у него были круглые, но спрашивал он так, будто поощрял и осуждал одновременно, как, бывает, отец сына.

Никита не ответил, повел плечом только, сел на лавку рядом и стал следить, шурясь, за старухой, слушая, как шумит самовар на кухне, и думая, скоро ли чай и можно будет ложиться спать.

Илюша сразу все понял, что у Никиты неудача, провел ладонью по губам и припустил серьезно веки.

— Ну, ну, ну... Ну, Никита, прости, прости... — и длинной рукой нежно коснулся его плеча, и завиноватился как-то... Илюша, когда бывал смущен, начинал как-то приборматывать, повторяя слова. — Но согласись, согласись... Согласись, слушай, грандиозный вечер, а? А, Никита? А спиртик, спиртик — тебе, тебе понравился?

— Ничего, нормально, — кисло сказал Никита и зевнул. — Проспим мы...

— Не проспим, не проспим, Никита, ты, ты... на кровать ляжешь? Я же знаю, знаю — ты любишь мягкое. Ты устал, устал... На кровати, хорошо?

И он зачем-то повернулся, согнул свою длинную шею, высунулся за окно и поглядел по сторонам.

А возле печи, в темноте, там, где должен был спать Никита, — за перегородкой, за занавеской — послышалось вдруг кряхтенье, потом стали грабать рукой по занавеске, откидывая ее, и показался старик. Он ни на кого не смотрел — смотрел перед собой, шел, редко и мелко переставляя ноги, вытянув руку, другой рукой еще придерживаясь за косяк. Был он страшен, черен, с лиловыми веками, весь зарос сивой щетиной, был еще брит по голове, и шишковатая голова тоже была в грязной, редкой щетине. Глаза у него провалились, лицо при каждом шаге кривилось, и видно было, что ему неважно перейти открытое пространство, не придерживаясь ни за что. Никита было встал поддержать его, но старик враждебно и твердо сказал:

— Сядь! Я сам... — и со стоном и кряхтеньем продолжал свой путь.

Наконец он уместился за столом, долго молчал, смотрел на лампу, тер щеки, потом спросил:

— Экспедиция?

— Экспедиция... — поторопился сказать Никита. — Геологи.

— Типятку дай! — помолчав, твердо приказал старик.

— Чего? — не понял Никита.

— Типятку! Типятку, я говорю, дай! — сердито повторил старик. — Вон в горке, я говорю, типяток!

— В какой горке? — краснея от напряжения понять, спросил Никита.

Илюша высунулся в окно, шумно курил, дул дымом, будто любовался природой.

— Вода кипяченая там в шкафчике за стеклом у него! — крикнула из кухни слышавшая старуха.

— А! — облегченно сказал Никита и подал старику банку с желтоватой кипяченой водой.

Старик стал пить. Он сопел, глотал, дышал носом в банку, но не оторвался, пока не допил.

— Мать, а мать! — крикнул он, отдышавшись. — Самовар когда?

— Несу! — отозвалась старуха и действительно внесла шумящий самовар.

— Кружку мою! — приказал старик. Старуха поставила перед ним большую эмалированную белую кружку.

— Налей! — сказал старик. — Постой! Мать, а иде у меня водка?

— Так ее и нету, днем-то сам всю выдул...

— А ты дай, дай! Водку дай, я говорю! — крикнул старик страдальчески.

Старуха сердито достала ему из горки бутылку.

— Гм... — старик посмотрел водку на свет. — Гм! Мало. Не стану! Убери. Завтра допью. И стал пить чай.

— Дедушка, а что у вас с ногами? — спросил, помолчав, Никита.

— Совсем заболел, — грустно, задумчиво сказал старик. — По колени ноги болят. Ступить нельзя. Ляжки ничего, не болят ляжки-то, а ниже колен...

— А что врачи говорят?

Старик ничего не ответил, усиленно и хмуро хлебнул чай.

— Какие врачи, — ласково сказала из другой комнаты старуха. — Врачи ему теперь ничего не поделают. Восемьдесят ведь первый ему... — Она вышла на свет, села на лавку сбоку старика и весело улыбнулась. — Совсем помирает старый-то мой... Да и то — пожил! Восемьдесят годов.

— Чаю мне еще! — буркнул старик. — Табак-то у меня иде? — спросил он, проследив, как ему наливали чай.

— Какой тебе еще табак! — живо возразила старуха. — И не думай, не дам!

Старик наклонил голову, некоторое время молча смотрел на клеенку, потом взялся за кружку.

— Горе одно с этим табаком, — сказала старуха. — Как закурит, так и почнет кашлять, спать не дает... И так спит плохо. Кричит больно во сне, сны ему снятся... — Старуха усмехнулась. — Влазит в него ночью. Вот он и орет.

Старик допил вторую кружку, посидел, подумал.

— Время сколько? — спросил он, ни на кого не глядя.

— Одиннадцать, — сказал Никита.

— Спать пойду, пусти! — сказал старик старухе.

— Дойдешь сам-то?

— Дойду, пусти!

Он мучительно встал, постоял немного, перебирая напряженными пальцами по столу, будто собираясь с духом, потом, вытянув вперед руку, осторожно стал переходить избу. Дошел до притолоки, торопливо оперся, постоял там и начал, держась за печь, двигаться к лежанке. Потом долго взбирался на печь, кряхтел, охал, наконец лег и затих.

Старуха убрала со стола, зевая, ушла к себе, и там у нее долго скрипела кровать. Илюша постлал себе какие-то дождевики и вытертые полушубки на широкой лавке под окном, положил в голову телогрейку. Никита как бы видел и не видел ничего, судорожно зевал, торопливо накуривался перед сном. Он соображал, зачем это Илюша лег возле окна, зачем не закрывает окно, и его такая особенная, хищная какая-то улыбка и нетерпение, и он сам где-то не здесь, в избе, а далеко — но и думать об этом уже не вмоготу было, мысли мешались. Он быстро докурил, сплюнул в окно, посмотрел — все было видно, все избы и озеро, и туман на берегу, тонкая пелена, а Илюша тем временем уже лег, закрыл глаза, тихо дышал...

Никита пошел к себе за стенку, нащупал в темноте кровать, повалился, сразу услышал, как дурно пахнут подушка и одеяло, успел только подсунуть ладонь под щеку, и сразу поплыло перед ним болото, закачалась топь, потянулась деревянная тропа, а по сторонам грозно и загадочно раздавалось «Уыыыыыыппп!...» Он еще не понимал, почему болото и куда он идет, а сам уже жадно спал. Проснулся он от крика.

— А-а-а! О-о-о! — кричал на печке старик.

«Что это? Почему я во тьме? А, старик!» — вспомнил Никита и тут же услышал тихие голоса за перегородкой, скрип лавки, даже в стену избы стучало что-то.

— Да лезь же ты! — напряженно шептал Илюша. — Кому говорят, ну! Скорей... Ух, черт, тя-жел-ая!

— Обожди, обожди... — шептала она. — Руки пусти, слышь! Пусти, больно! Да влезу я, влезу! Там вон старик орет, может, помирает...

— Не помрет... Давай, давай!

— Да больно же! Офонарел ты? Руку пусти — коленку поставлю. А друг твой спит?

— Спит, спит... Давай... Тихо! Вот так...

— А-а-а! О-о-о! Пусти! Пусти — твою мать! — заорал, задыхаясь, на печи старик.

У Никиты стало холодно в животе, сердце колотилось, но и сон душил его, навивался. «Сволочь! — думал Никита, засыпая. — Плевать! Счастливый... Победитель! Не в этом главное». — И он стал думать что-то очень хорошее про себя, как он кого-нибудь встретит, и тогда будет не то что здесь, а это так — бодяга, а не любовь, сука этот Илюшка, подонок! И он уже ничего не слышал больше.

И еще раз он проснулся — на стене, на темных бревнах над его кроватью был желтый квадрат света, и ему показалось, что лучи идут по избе мимо печи и упирают-

ся в стену над ним. «Солнце встало! — испугался он спросонок. — Проспали!» — посмотрел на часы, но не мог разобрать: одна стрелка стояла на четыре, другая возле часу. Он поднял голову, поморгал — старик зажег лампу на кухне, лампа стояла на столе, а старик, вытянув руку, кряхтя, двигался куда-то. Никита поднялся, затопал босой к лампе, поглядел на часы — было двенадцать минут второго. «А! Спать, спать...» — подумалось ему, и он, качаясь, словно пьяный, цепляясь за печь, добрал до кровати, опять повалился и тут же, как ему показалось, проснулся от грохота.

После грохота была тьма, хриплый стон из тьмы и потом голос старика...

— Мать! А мать... Иди скорее! Ма-а-ать! — вдруг заорал он отчаянно.

— Чего, чего ты... Иде ты? Чего там? — забормотала старуха на своей кровати.

— Иди скорее... твою мать! — злобно, визгливо кричал старик. — Иди, я в тару упал, встать не могу...

«В какую тару? В какую тару? О черт, ну и ночлег достался!» — подумал Никита, окончательно проснувшись.

Старуха уже шла ощупью к печке. Она дошла, все время спрашивая: «Иде ты?» — и старик каждый раз подавал ей голос в ответ. И началось там у них какое-то сопенье, начался громкий старческий говор, когда старикам нет дела, что кто-то спит у них, ни до кого им, до себя только, когда они где-то далеко-далеко, в своих годах.

— Бродило, бродило ты старый, — кричала во тьме старуха. — Чудо ты ночное, и кто тебе велел слезать-то?

— Три кружки... — говорил в ответ старик с усилием, — три кружки чаю выпил... Выпил, это-то меня и смутило...

И закричал, застонал, задышал, а старуха, видно, подпихивала его снизу, кричала:

— Ногу-то, ногу куда прешь! Сюды вот на приступку ставь, руками-то цапайся, цапайся, ползи-и! Ползешь?

— Ползу-у!..

А ночь между тем длилась. Никита не мог уже спать, и не старик со старухой расстрожили его, а то, что происходило за перегородкой, и как там смеялись, прыскали, и он понимал, что они слушают стариков и им смешно, что старик — упал в «тару», но им еще и не потому смешно, а так просто, потому что они не спят, как он, в душной темноте, а лежат вместе в ночном слабом свете. Вот, значит, как. Им весело! Как это у Пушкина? Ах, да как же это? А! Вот как: «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи...». Вот она и пришла к нему, уж он-то знает свое дело, и в клуб поэтому пошел. Пошел бы он в клуб просто так! А он пошел, и все у него вышло, а потом ждал, чай пил и ждал, курил, «спасибочки» говорил. «Никита, — говорил, — милый, грандиозно», и разные слова, а сам знал и ждал, и она, наверно, ждала где-нибудь там, — ну, я не знаю! — где-нибудь на огородах, за баней, когда же погаснет свет, когда все заснут, чтобы прийти. У, шалашевка! А он потом говорит где-нибудь в компании, ноги свои длинные вытянет и говорит о себе: «Я не умею, — говорит, — я просто теряюсь, я робкий, вот Никите везет!» — ах ты сука, гад!.. Бедная старуха, бедный старик — не дай бог дожить до такой старости, о-о, не дай, не дай бог. А они прощаются? Спишетесь? Хрен он тебе напишет, дура ты третичная! Написал один такой... «Вся жизнь — одна ли, две ли ночи!» — вот так, дура, это не кто-нибудь сказал — Пушкин сказал... Не дали поспать, черти, уже на пристань идти надо».

Он поднял голову и поглядел под занавеску на пол. Было совсем светло.

— Илюша! — позвал он. Илюша молчал.

— Слушай, который час?

— А? Никита? Что ты, милый? Ты проснулся?

— Давно уже! — сердито сказал Никита и посопел: — Какой час?

— Без четверти три...

— Надо идти.

— Да, да... — Илюша зевнул. — Ах, сейчас поспать бы! Ну — идти так идти... Чай не будем пить?

Через десять минут они подходили уже к пристани. На катере давно собрался народ — бабы с бидонами, с кошелками, девчата в надвинутых козырьком платках, два-три парня. Все сидели на корме, молча смотрели на озеро. Северо-восток уже горел, уже казалось, что там встают световые дрожащие столбы, деревня была освещена, и стены и крыши были бледны. Вдали по озеру двигались лодки, люди в них там наклонялись и наклонялись, играла рыба... «Уыыыыыпшпш!» — вздохнуло опять неизвестно где, и все посмотрели на озеро, но в разные стороны, потому что никто не понял, в каком месте раздался этот загадочный звук.

Кого-то ждали, матрос заглянул в рубку, ему что-то сказали там, и он побежал вверх по берегу, скрылся и закричал, а ему тоже отвечали криком издали. Потом матрос показался с парнем — тащили плоские коробки с кинолентами. Скоро загудел дизель, и за бортом зафыркала вода.

Катер тронулся, косо, боком пошел от берега, и ветерок тронул лица холодом. Скоро стал виден весь плоский берег и вся деревня. Илюша — теплый, усталый, ласковый — положил руку на плечо Никите и с широкой улыбкой глядел на деревню, будто надеялся увидеть что-то. И опять улыбка его была не для себя только, но и для всех, будто все вместе с ним тоже глядели на деревню и искали что-то. Но никто не глядел назад, наоборот, смотрели все на озеро, на рассвет, на далеких рыбаков, следили за утками. А утки уже летали вовсю, присаживались стайками на воду, а вода была светла, и чем дальше к горизонту, тем светлее и воздушнее, и дальше стайки уток, казалось, плавают по воздуху.

— А? Никита? — сказал Илюша, восхищенно глядя на Никиту. — Грандиозно, а? Я тебя страшно люблю, Никита!

В лице Илюши что-то дрогнуло, он подумал секунду и вдруг поцеловал Никиту, очень нежно, слабо и почему-то за ухо.

Никита освободился из-под руки Илюши, подошел к борту, поглядел на шипящую, вываливающуюся из-под носа волну и хмуро закурил. Он ненавидел Илюшу, но знал, что это потом пройдет, и он опять будет его любить — такой тот был нежный, когда хотел. И он знал еще, что все это ему потом вспомнится — и клуб, и озеро, и эти северные девчата, и как он пил спирт за углом, как ему было хорошо, как все-таки хорошо, — вот старику плохо, бедный, бедный старик, — а ему хорошо.

1963

ПРОКЛЯТЫЙ СЕВЕР

Весной на меня наваливается странная какая-то тоска. Я все хочу чего-то, мне скучно, я думаю о проходящей своей жизни, много сплю и встаю осоловевший и разбитый.

Стоял апрель, мы жили в Ялте, бездельничали после девяти месяцев отчаянной трепки в зимнем океане.

Всю осень и зиму мы ловили треску в Баренцевом море, забирались иногда в Норвежское, в Атлантику, и ни разу залитая рыбьим жиром палуба нашего траулера не была спокойной.

В Ялте горы казались красно-лиловыми, море синело и блестело, туманы были редки, а на набережной продавалось кислое крымское вино. Везде из садов, из-за ка-

менных стен, на узких кривых татарских улочках в гористой части Ялты тянуло запахом цветов и влажной земли. И вообще пахло югом, древними горами и морем. На камнях, на плитах тротуаров лежали розовые лепестки — деревья осыпали свой цвет, и весь Крым в эту пору розово дымился и пах нежным дурманом. На базаре продавали красную редиску и невиданную иглу-рыбу с черной спиной, белым брюхом и зеленым позвоночником.

Мы жили в гостинице на набережной, и по ночам под нашими окнами шумело море, иногда перехлестывая через парапет. Мигал рубиновым глазом маяк в конце мола, и часто заходили, медленно вдвигались и застывали в порту красивые, освещенные, белые пароходы.

Мы презирали эти пароходы за их величину, за лень и благополучие, за их освещенность и легкость. Мы не могли смотреть без смеха на южных моряков-каботажников, на их белые мичманки, белые рубашки, на галстуки и на их отутюженные брючки. Мы вспоминали, как кривоного, беспомощно и упорно пляшем мы в полярном мраке, среди воя и свиста, среди гулких ударов, скрипа и треска — на палубах, резко освещенных рабочими лампами.

— А то давай переведемся, а? — предлагал я, лежа на балконе в шезлонге, глядя вниз на белые пароходы.

Друг мой только скалился.

Еще цвело в Ялте иудино дерево. Не было на нем веток, не было листьев — просто мучительно искривленные коряги, черные во время захода солнца и будто сочащиеся кровью. Но в то же время они и мохнаты были, как уродливые гусеницы, от цветов, которые лезли прямо из коры.

Одно такое дерево торчало как раз под верандой нашей гостиницы. Мы сидели вечерами на веранде, пили коньяк и кофе — единственный хороший кофе во всей Ялте, — смотрели молча то на море, на огни в порту, то на набережную, на женщин и пижонов в цветных рубахах, то на это дерево. Когда нам надоело смотреть вниз, мы поворачивались и смотрели на горы, которые постепенно теряли свои краски, становились сперва палевыми, дымчатыми, потом густо-лиловыми, потом черными...

Днем мы толкались на набережной или ездили в Гурзуф, в Ореанду, вечером снова бродили по набережной, под фонарями. И днем и вечером всюду было оживленно, шумно, людно, пахло духами, пудрой, женским телом — все будто торопились жить, все хотели счастья, легкости и знакомств.

А нам было скучно. Каждый раз вечером наваливалась на нас тоска, и Ялта казалась нам убогой, веселье людей — неестественным, и даже море было для нас ненастоящим, слишком прилизанным и удобным, созданным будто специально для отдыхающих, для прогулок на катерах. А катера были обязательно с громкоговорителями, и обязательно на весь порт, на всю Ялту, на все море хрипели и выли давно знакомые, заезженные пластинки.

Отчего нам было скучно, мы не знали.

И этот день плохо начался для нас. Мы валялись в номере, засыпали и просыпались, зевали, шелестели газетами. Мы ходили в буфет, но и пить с утра нам не хотелось. Наконец друг мой спросил:

— Слушай, а в доме Чехова ты был?

— Не был. А что?

Я где-то видел этот дом на открытке, но забыл, и теперь мне представилось что-то белое и решетчатое, что-то такое восточное.

— Давай, старик, поедem! — предложил мой друг. — Я люблю Чехова, знаешь? Как-то я его нежно очень люблю.

Мы побрились, пошли по набережной к почтамту, взяли такси и поехали. День был яркий, знойный, солнце отражалось от домов, от дороги, от каменных стен, от

крыш вниз, когда дорога взбегала наверх. В машине было жарко, и машина была расхлябанная, брэнчала и громычала, и воняло бензином, и шофер был почему-то неразговорчивый, мрачный.

Все оказалось совсем не таким, как я думал. Внизу под дорогой стоял дом и флигель, и стены, выходящие на двор, были какие-то плоские, слепые. Двор около дома засыпан был гравием. На гравий больно было смотреть, так он был бел под солнцем. Под ногами неприятно шуршало и скрипело, а на верхней дороге жужжали МАЗы, и душный выхлопной дымок сносило вниз к дому.

А когда мы вошли, друг мой стал морщиться, сопеть, играть скулами.

— Ты чего? — спросил я. — Сам приехал, не тянули!

Нам было как-то неловко в этом доме. Я все думал, что вот строил человек себе дом, хотел тихо пожить, чай пить, глядеть на море, вообще как-то побыть самому, писать там что-нибудь, думать. И вот мы надели шлепанцы, и ходим по комнатам, заглядываем в разные углы. Там, глядишь, висит пальто, шляпа — Чехов надевал. Там марки какие-то лежат, стопочкой связаны, крючки рыболовные, лески... Думаешь, вот марками занимался, радость ему была, небось слюнями мочил или над самоваром отпаривал, разглядывал. А может, если бы он знал, что через шестьдесят лет мы будем разглядывать все это — ни за что бы не стал собирать.

Ходила вместе с нами какая-то компания, на машине приехали, и от всех слегка пахло выпивкой. И были они все красные, распаренные и, видно, не знали сами, как это их сюда занесло. Они шептались, впрочем, достаточно громко, чтобы слышать их. И было в их шепоте что-то гнусное и жалкое одновременно:

— А она его любила? Зачем он с бородой был, ему не идет. А домик ничего себе! В таком доме и я бы написал чего-нибудь. Сколько тут комнат? Ого! А говорят, скромный был.

Я скорей перешел в кабинет. Тут был камин, письменный стол с какими-то вещицами, фотографии на стенах. Был стенд, заваленный весь фотокарточками — вот красавец Шаляпин с коком, с резкими ноздрями вздернутого носа, вот узкококий Бунин с твердыми, серыми, надменными глазами, с пушком по верхней губе. И на всех карточках были надписи — все размашистые, нарочито небрежные, будто каждому и не было вовсе лестно подарить карточку Чехову. Но было в то же время во всех надписях и еще что-то такое — для потомства, для истории, словно каждый хотел сказать своей надписью: вот, мол, хоть и Чехов, а я его знаю, хоть он и знаменит, однако и сам я не хуже, и неизвестно еще, кто кому оказывает честь — он мне, принимая карточку, или я ему — даря.

Заглянули мы и в спальню с жалкой какой-то узкой железной кроватью, а больше уж и глядеть нечего было, да и не хотелось нам, и все время неловко было, будто пришли, а хозяина нет, вот-вот вернется и застанет нас.

С облегчением сняли мы шлепанцы, вышли на двор, сели на лавочку под каким-то деревом, закурили. Глаза у моего друга были мокрые, скулы побелели, он щурясь оглядывал двор.

— Кувшины видал какие? — кивнул я на огромные глиняные круглые сосуды под водосточными трубами у флигеля. — Это при нем было?

— При нем, — сказал мой друг. Он все знал о Чехове. — Тогда водопровод плохо работал, дождевую собирали.

Мы помолчали. Как-то нам стало очень грустно в этом доме и жалко чего-то.

— А сад какой! — сказал мой друг. — Это он сажал, знаешь? Очень это хорошо! А знаешь, есть такая фотография: стоит он в кабинете, у стены, возле шкафа...

Сигарета у него погасла, он стал ее раскуривать.

— Ну?

— Я поглядел, шкаф стоит. И все как было. Вот так, старик. Шкаф стоит... Он тогда как раз возле шкафа стоял, даже опирался плечом. Или нет? Забыл... Но он там стоял, без пенсне, очень какой-то весь черный.

Мы еще посидели. Давешняя компания вышла из дому. Мужчины радостно закурили, женщины вынули зеркальца и пудреницы. Потом все пошли к машине, повозились там с какими-то тайными приспособлениями, отомкнули ее и уехали.

— Подумать только! — с внезапной злобой сказал мой друг. — Как он жил, как жил, господи ты боже мой! Равнодушная жена в Москве, а он здесь или в Ницце, пишет ей уничижительные письма, вымалывает свидания! А здесь вот, в этом самом доме печки отвратительные, температура в кабинете десять градусов, холод собачий, тоска... В Москву поехать нельзя, и в Крыму болеет Толстой. А на севере — Россия, снег, бабы, нищие, грязь и темнота и угарные избы. Ведь он все это знал, а у самого чахотка, кровь горлом, эх! Пошли, старик, выпьем! Несчастливая была у него жизнь, а крепкий все же был человек, настоящий! Я его люблю, как никого из писателей, даже Толстого. Вот так.

Солнце стояло уже низко над горами, мы посидели еще и пошли домой пешком. Шли мы долго, и я думал, что и в этот вечер у меня снова будет тоска и что хорошо бы куда-нибудь пойти на люди. А когда пришли на набережную, солнце совсем скрылось, горы посинели, на маяке зажгли огонь. На набережной прямо под небом сидели за столиками и пили багровое и светлое сухое вино.

— Выпьем вина? — вяло предложил я.

— Иди, пасись! — сказал мой друг. — Мне три литра надо выпить, чтобы почувствовать. А три литра выпьешь, идешь будто траулер с полными трюмами. Вот так, старик, давай-ка лучше погребем к коньячку!

Потом мы стали ругать коньяк и водку и вообще пьянство. Нам надоело пить, но мы никак почему-то не могли это бросить. Когда долго живешь в море и видишь все одно и то же: треску, морского окуня, поднимающийся и опускающийся горизонт, вспененную, взлохмаченную поверхность воды, когда в каюте у тебя все ерзает, падает, когда ты сам во сне валишься через борт койки и только в последнее мгновение цепляешься за что-нибудь и снова забираешься под одеяло, — хочется чего-то высокого и настоящего: настоящих женщин, музыки, настоящей еды, интересных разговоров и тишины. Но все это где-то далеко, все это отделено от нас сотнями миль пустынной штормовой поверхности океана, и проходит целая вечность, пока ты ступишь на берег, уж забудешь его запах и вид. И вот, когда Кольским заливом идешь к Мурманску, то еще часа за четыре бросаешь робу, надеваешь чистую рубаху, бреешься, и рубаха так прекрасно пахнет! Надеваешь еще галстук, от которого отвык, и узкие ботинки, которые жмут, и почему-то думаешь только о том, как придешь в ресторан, где будет тепло, светло и покойно, где будут женщины — пусть не твои, — где будет вино и бифштексы, пусть плохие, но все лучше, чем стряпня корабельного кока и тресковая опостылевшая уха.

И в Ялте мы были одни, как будто только что вернулись из долгого рейса, нам некуда было деваться, а только разговаривать о смысле жизни, о ее краткости, переменчивости, и чем веселее было вокруг нас, тем грустнее было нам, хоть это и глупо грустить, когда весна, когда ты в Ялте, на берегу прекрасного моря, когда кругом так много людей, и так южно и древне пахнет, так все зовет к бездумности, к счастью — но что делать, и кто виноват, что нам плохо!

В ресторане было уж порядочно народу, когда мы пришли. Но столик возле оркестра как раз освобождался, и мы поскорей сели. Нам долго пришлось ждать среди грязной посуды и пустых бутылок, пока не пришел официант. Он был старый, раздраженный, ходил медленно, приседая, выворачивая ступни, и лицо у него было пошлое

и алчное. Кое-как он убрал стол, пренебрежительно записал, что мы ему наговорили, и ушел, а мы выложили сигареты, закурили, облокотились и стали слушать музыку и глядеть по сторонам.

Музыкантов на эстраде было трое: пианист, скрипач и гитарист. Когда я слушаю музыку в ресторане, смотрю на оркестр, на лица музыкантов, как они переговариваются, отдыхают, как они играют давным-давно знакомые вещи, которые играли, кажется, еще до того, как ты родился, — мне делается жалко музыкантов. Я думаю о том, как некоторые из них учились когда-то, ходили в музыкальную школу или в училище, или даже в консерваторию, слышали из-за дверей классов звуки роялей, виолончелей; как разучивали концерты Моцарта и Бетховена, как им грезились симфонические концерты, мраморные залы, партер и ложи, мощно, дружно звучащий оркестр, и они в этом оркестре, и их соло в каком-то месте симфонии. И как потом у каждого из них что-то не получилось, не удалось, и вот все они мало-помалу превратились в лабухов, усвоили легко тот музыкальный жаргон, который теперь так широко подхватили пижоны, — и человека уже называют «чуваком», о своей игре говорят: «лабать», еда и выпивка для них «бирлянство» и «кирянство», а если играют на похоронах, то это удача, и покойник для них не покойник, а «жмурик»...

Лица у них потасканные, судьбы у них нет никакой, спят они до часу дня, дома не занимаются и постепенно забывают все, чему их учили когда-то, играть начинают хуже и если киксуют, то уже не конфузятся, а если фальшивят, то не слышат.

Но эти музыканты как-то сразу понравились нам. У каждого из них было лицо, и играли они хорошо, и вещи, которые они играли, хотя бы и старые, вдруг казались как новые, и почему-то все выходило у них грустно.

Пианист был слеп, и у него, как у всех слепых, было неподвижное лицо. А этот, кроме всего, был еще худ, изящен, с бабочкой и в темных французских очках. Локти, плечи, колени — все у него было нервное, острое, пальцы белые и длинные, сухие. Но лучше всего было лицо — аскетически худое, со страдальческими морщинами возле губ, со втянутыми щеками, запавшими висками, очень трагический профиль, и в тонких бледных губах постоянно тлела сигарета. Когда музыканты кончали номер и отдыхали, он откидывался, поднимал лицо и брал тихонько необыкновенные, сказочные по сложности аккорды и, как птица, слушал себя, и даже моряки за соседним столиком, уловив что-то необычное, замолкали, прислушивались.

Скрипач был чудовищно толст, пузат и маслянист, с выдувленными, как луковицы, глазами. Он постоянно улыбался, переступал, весь вытягивался к микрофону, закатывал глаза и играл с подъездами, сипло и неистово, как румын, и звук его скрипки, усиленный микрофоном, терзал сердце, и хотелось плакать и говорить, и пить, и чтобы рядом сидела смуглая прекрасная женщина, которая все понимает.

А гитарист, с каменным, медалевидным профилем даже берета не снимал, сидел, вольно выставив ноги, тихо трогал свою гитару, к которой присоединен был динамик, и она у него пела чисто и звучно. И ни на кого не смотрел, а смотрел куда-то в стену, поверх голов, и вид у него был, как у орла в клетке, замороженно глядящего на ослепительный конус горной вершины. Иногда он вставал, если заказывали песню, и, сделав шаг к микрофону, скосив глаза на тетрадку со словами, которая лежала на пульте, пел с бесстрастным лицом, еле шевеля губами, на иностранный манер выговаривая пошлые слова о том, как встретились мы в баре-ресторане. Скрипач в этот момент отступал в глубь эстрады, елозил смычком по баскам, шевелил пухлыми пальцами, пожирал глазами тот столик, который заказал песню, и сладко улыбался.

— А я бы взял в плавание этого — в берете, — сказал вдруг мой приятель и прищурился. — Смотри, какое лицо — с этим можно идти в разведку, а?

— Почему мне грустно, старик, скажи? — спросил я и стряхнул пепел с сигареты. — И зачем мы пошли к Чехову?

За соседним столиком моряки пили коктейль. Как всегда, они преувеличивали свою отрешенность от земли, девочки у них были с высокими круглыми прическами, крашенные, с загорелыми руками и шеями и требовали себе мороженого и сухого вина. А моряки пили коктейль, который составляли из шампанского, пива и водки. Сперва в фужер наливали водку, потом смешивали с пивом и доливали шампанским. Потом чокались и пили, зажмурившись. Наверное, им было противно, но они держали марку: коктейль все-таки.

— Видал? — спросил я.

Мой друг налил себе и мне коньяку.

— Выпьем за Чехова, — сказал он. — Как-то на меня это подействовало, знаешь. Раньше как-то не думал, а теперь понял: несчастный он был. Дом этот и вообще все — бодяга это. Какая тут жизнь? Ему Россия нужна была, он на Шпицберген все собирался съездить. У меня сердце что-то болит, нельзя мне пить. Уехать бы нам куда-нибудь из этой Ялты, а, старик?

За соседним столиком не знали, о чем говорить, но молчать было нельзя, и вот один стал рассказывать анекдоты, другой достал блокнот, листал и с нетерпением ждал своей очереди.

— Вопрос армянскому радио, — говорил первый с акцентом. — Можно ли убить человека газетой? А отвечаем: можно! Надо в газету завернуть утюг!

Девочки хохотали, курили и кашляли.

— А вот статистика любви, — среди хохота начинал другой и тут же кричал: — Слушайте! Тихо! Статистика любви: в одну минуту на всем земном шаре происходит три миллиона поцелуев!

— Брось! Ха-ха-ха! — закатывались девочки.

— Пять тысяч четыреста шестьдесят три женщины рожают! — кричал моряк.

— Сильно, а? — спросил я.

— Ты знаешь, чего я вспомнил, — сказал мой друг. — Мы раз ловили в Норвежском море на РТ-206, тебя тогда с нами не было, а я старпомом плавал. Штормяга был крепкий, декабрь, темно, волна шла с Атлантики неимоверная. А у нас в трюмах течь, дрейфует, все время авралы, но не уходим, все думаем — вот кончится. Да где там — только разыгрывается. Душу выматывает, туман слоями идет, навалит — носа не видно. Десять дней штормовали, а на одиннадцатый у нас матрос один с ума сошел. Молоденький был, салага, вот и чокнулся. Прибегают ко мне ребята, кричат отчаянно: «Гляньте, товарищ старпом!» Я гляжу, а матрос этот по палубе в кальсонах и в тельнике бегаёт. Волной его заливают, бьет о лебедку, как только за борт не смыло! «Хватайте его», — кричу. Навалились, схватили, а он орет, вырывается... Вечером немного утих, пошел я на полубак. «Что с тобой?» — спрашиваю. «Знаете, — говорит, — товарищ старпом, ребята надо мной издеваются». — «Как же так?» — спрашиваю. «А так, — говорит, — лягу на койку, а они снизу меня шилом колют, я с ними не могу, я лучше за борт кинусь! Велите им меня не трогать!» Ну, я на ребят смотрю, кричу: «Вы это что же, тра-та-та, да вы как это смеете, тра-та-та, да я вас, тра-та-та!» А он радуется, язык им показывает. «Вот, — говорю, — больше они не будут тебя колоть, будь спокоен, у нас на корабле дисциплина!» А сам ребятам тихонько сказал, чтоб глаз с него не спускали.

Еще два дня прошло, стало стихать. Встретился нам один траулер, домой шел, связались мы с Мурманском, оттуда приказывают — на берег его. Стали мы его пересаживать, а он не хочет. Ребята на хитрость пошли, говорят ему тихонько: «Давай скорей на тот! Тот новый, а у этого полны трюма воды, вот-вот дуба даст, потонет к чертям собачьим!» — «А! — говорит. — Тогда, ребята, давайте, скорей давайте!» — И покатила в Мурманск. А мы остались тресочку ловить...

— А что потом с ним стало, не знаешь?

— Вылечился, опять плавает. Я его встречал, хороший матрос.

— Да, — сказал я и закурил. — Давай выпьем!

В ресторане было светло, шумно, хлопало шампанское, кто-то в углу орал, ругался, его выводили. Музыканты играли себе, и скрипач, выворачивая белки, жадно глядел на столики, и если встречал чей-нибудь взгляд, начинал восторженно улыбаться. А музыка была грустная-грустная, гитарист, далеко растянув пальцы на грифе, глухо брал аккорды, гитара его звучала, как электроорган, а пианист курил и откидывал горькое свое лицо в темных очках.

— Тихо! — кричал за соседним столиком моряк. — Шесть тысяч пятьсот женщин изменяют в минуту своим мужьям!

— Иди ты! — небрежно отвечали девочки. — А про вас там написано? Ну? Давай!

Моряк что-то прочел про себя, фыркнул и показал приятелю. Они загоготали, переглядываясь.

— Ты помнишь, как мы с тобой познакомились? — спросил внезапно мой друг.

И я тотчас вспомнил Ленинград в декабре, туманно-морозные дни, солнце, красным шаром проступающее сквозь туман, черно-серебряный по утрам Исаакий... И как мой друг на другой день после знакомства приехал ко мне в гостиницу, был выпивши, весел, рассказывал, как прошел с караваном малых сейнеров по Великому Северному пути, как схватил ревмокардит и язву желудка, и как, обманув врачей, опять плавает, и что за баба у них буфетчица на траулере. Потом мы еще выпили тут же у меня, потом он звонил своей подруге, потащил меня к ней, приехали, и он сразу в шинели лег на пол и сказал: «Пой! А я умру! И все». Подруга его любила петь, только голос у нее был сиплый, а я смотрел на них и завидовал им. Он тогда веселый был, радостный, все ждал чего-то замечательного, хоть и закрыли ему заграничную визу за какую-то грандиозную драку в Мурманске в ресторане «Арктика». Да и я начинал только плавать, говорил лишь о море, о Севере, имена Норденшельда, Нансена святые были для меня имена. Еще бы не помнить — веселое было время! И этот зимний Ленинград, его улицы, кафе, толкотня на Невском, пустота ночных площадей, пар над каналами, снег на Медном Всаднике, тихие пасмурные утра в гостинице, когда тело звенит от сил и легкости и спрашиваешь себя: «Что мне сегодня предстоит такое хорошее?» И появления моего друга, уже неистового, с одной мыслью: гулять, гулять, пить, ехать к приятелям, к женщинам. И мы ехали, гуляли, много смеялись, кажется, все время смеялись, я хохотал, а друг мой только скалился, хохотать он и тогда не умел. Да, я тогда окончил мореходку и начинал жить.

— А Наташу ты помнишь? — спросил мой друг, опуская глаза. Это была та его женщина, которая пела когда-то в зимнем Ленинграде.

— Ты это брось, — сказал я. — Брось, старик, а то и так тоска!

— А Мишку помнишь, длинного Мишку? Ты тогда, пьяный, сильно его презирал?

— Ну, помню, — сказал я. — Я потом его встречал, прекрасный парень оказался. Я дурак, а ты брось, не вспоминай ничего!

— Он погиб два года назад, в проливе Вилькицкого. Забыл тебе совсем сказать, я на его могиле был, когда в прошлом году на перегоне работал. Вот так, старик, а мы с тобой в Ялте коньячок лакаем.

— А! — сказал я.

И затосковал, а музыка наигрывала что-то печальное, и в голову почему-то все лезли три миллиона поцелуев в минуту. Это была такая страшная цифра, что как-то даже и не воображалось ничего, нельзя было осознать, почувствовать эти поцелуи, которыми в эту минуту занимались где-то у нас на громадном пространстве, и в Африке, и в Австралии, и в Польше... А вспоминались мне почему-то дикие фактории — все,

какие я видел на Севере, острова, черные базальтовые скалы и ледяные купола, уходящие в фиолетовое арктическое небо, и изумрудные изломы ледников, синие тени в трещинах, вечные молчаливые чайки за кормой, вздохи машин, жар в котельных преисподних, тесные кубрики, каюты, паровое тепло в рубках, сильные низкие ревы паровых гудков в тумане и безмянные по всему Северу могилы, в которых коченеют ребята, и эти ребята никогда никого не поцелуют... Все это проходило, смешивалось, и было радостно, и холодно, и тоскливо одновременно.

— Эй, кореша! — окликнули нас с соседнего столика. — Извиняюсь, вы моряки будете? Будем здоровы!

И поднимаются к красным лицам мутные бокалы с водочно-шампанской бурдой.

— Будьте счастливы, попутного ветра! — отвечаем мы и тоже поднимаем свои рюмки.

Девочки оттуда во все глаза смотрят на нас, и нам уже нехорошо, что их только две, а не четыре, а то пересесть бы к ним и так же, как их ребята, травить какую-нибудь бодягу.

— Ты мне вот что скажи, — спросил меня друг. — Тебя женщины любят?

— Нет, — сказал я. — Я неинтересный. Все мне скучно. И вообще как-то так...

— А у меня все некрасивые, — сказал друг. — Мне на них везет. Я на них глядеть спокойно не могу, жалею. И они это чувствуют, собаки. А красивых у меня как-то, знаешь, не было. Странно это.

— Фиг с ней, — сказал я. — Красивая из тебя душу вынет. А так, видишь, душа на месте.

— А может, мне как раз надо, чтобы вынула? Может, я как раз хочу, чтоб было такое смертельное, что ли, понимаешь? Чтобы я погорел на этом деле к чертям собачьим! А?

— Ничего, ничего, — сказал я. — Спокойно, старик! У тебя хоть некрасивые есть, а у меня ничего. А вот видишь, сижу, коньячок пью, музыку слушаю — и ничего.

— А какие бабы есть несчастные! — сказал мой друг и пригорюнился, подперся. — Мне их всех страшно жалко. Женщины все-таки. Они ведь нежные. У них животы очень нежные, знаешь?

— Брось! — сказал я. — Дай-ка лучше сигарету, посидим, покурим, музычку послушаем. Мы же с тобой в отпуску. Нам надо отдыхать, салага ты скуластая!

В это время музыканты умолкают, скрипач кладет скрипку на стул, сходит с эстрады и идет мимо нашего столика. Он сошел будто бы только промяться, но я знаю — ждет, когда его кто-нибудь позовет и что-нибудь закажет из песен.

— Маэстро! — говорю я ему. — Вы здорово играете!

Скрипач тотчас подходит к нам.

— Разрешите? — спрашивает он как-то не по-русски и садится. Он разгорячен, потен, резко пахнет, как пахнут запаленные лошади, улыбается одновременно заискивающе и нагло, но в глубине его выпученных глаз дрожит что-то бесконечно смиренное, услужливое, покорное. — О да! — говорит он и кивает на эстраду. — Настоящие музыканты! Разрешите? — смотрит на коньяк.

Друг мой скалится и наливает ему.

— Попутного ветра! — говорит он так же, как и морякам.

Скрипач быстро пьет, причем лицо его ничего не выражает, только глаза влажнеют.

— Спасибо! — говорит он. — Что бы вы хотели послушать?

— Вы не русский? — спрашивает мой друг.

— Да, я итальянец, мы все итальянцы... — говорит скрипач и оглядывается на наших соседей моряков. Те радостно прислушиваются.

— Аллегро пиццикато! — говорит один из них. — Калор... рагацца модерато!
Девочки хохочут, скрипач тоже.

— Как же вы к нам попали? — спрашивает мой друг скрипача.

— О ля-ля! — машинально отвечает скрипач, дрожа белками, косясь, оглядывая весь зал, кивая кому-то. — Длинная история, еще в войну. Разрешите? — он сам наливал себе и пьет, не закусывая.

— Извиняюсь, — моряк с соседнего столика подходит, покачиваясь, с бокалом своей бурды. — Выпей, папаша! — он хлопает скрипача по жирной спине. — Виваче, адажио, а? Ха-ха!.. Давай — за здоровье моряков, ну?

— Спасибо! — говорит скрипач радостно и выпивает. Моряк, довольный, отходит.

— Вы позволите, я угощу нашего пьяниста? — спрашивает скрипач.

— А гитарист? — Друг мой берется за бутылку.

— О, гитарист не пьет. Спасибо! — Скрипач поднимается на эстраду, дает рюмку пианисту и что-то говорит ему. Пианист поворачивается в нашу сторону — теперь мы видим его длинное острое лицо, сухой нос, губы, опущенные вниз, громадные французские темные очки. Пианист поднимает рюмку, как бы приветствуя весь зал, выпивает и тотчас закуривает новую сигарету.

— Так что бы вы хотели послушать? — спрашивает опять скрипач, ставя на стол пустую рюмку.

Я сразу вспоминаю один полярный поселок, осень, которую я однажды там провел, и какое все там было деревянное, а кругом камни, мох и темная шумящая река. И как однажды приехали артисты и был концерт в недостроенном клубе. Там были только стены и крыша, и эстрада, потолка не было, видны были все балки. Электричества тоже не было, принесли много керосиновых ламп, зажгли возле эстрады, развесили на дощатых стенах. Но все равно в сарае был холодный полумрак. Все сидели в одежде, курили, артисты мерзли, торопливо бормотали что-то, и это забылось, и только один номер был хорош.

Вышел аккордеонист и чечёточник. Чечёточник был тонкий, гибкий, в шерстяном черном трико и в белой рубашке с отложным воротником. И зазвучала вдруг французская шансонетка, такой вальсик, и чечеточник, изображая лицом и телом задумчивость, сложил на груди руки, бросил на лоб прядь темных волос, прикрыл глаза и даже голову склонил, и только ноги с фантастической неутомимостью и ритмичностью мелькали, подобно велосипедным спицам, и подошвы издавали однообразный стрекот «ч-ч-ч-ч-ч», и звучала, звучала, звала куда-то, навевала теплую печаль эта самая французская песенка.

Чечёточника долго вызывали на бис, и он опять повторил тот же номер, потом выступали, кричали и орали, воображая, что поют, другие артисты, а мне стало хорошо, и я ушел, ходил один, напевал этот мотивчик, чтобы не забыть, и думал о любви и вообще о всех людях. И шел снег, а на другое утро все кругом было такого цвета, как гречневая каша с молоком, и только река была черная и дымилась.

И вот я вспомнил ту осень, и опять что-то встrepенулось и заняло у меня на душе, я поглядел в глаза скрипачу и сказал:

— А знаете вы вот такую штуку... Я не знаю, как она называется, но в общем вот так: та-ра-ра-ра-а-там-там... А?

— О! — скрипач улыбнулся. — Конечно! Хорошо.

— Только подольше поиграйте, ладно? — попросил я.

— Хорошо.

Скрипач поднялся опять на эстраду, сказал тихо гитаристу и пианисту. Гитарист все так же равнодушно подстроил свою гитару, пианист сразу взял медленные два-три аккорда из этой песенки. Он будто остановил ритм, время, выхватил несколько созву-

чий и любовался ими, вслушивался и откидывал лицо. Скрипач тоже позудел, настроиваясь, и прозвучали всегда так волнующие меня пустые квинты. Гитарист стал возиться с динамиком, и тот у него уркал и завывал тихонько, а мы все ждали, ждали, и друг мой хоть и не знал этой песенки, но по лицу моему понимал, что в ней для меня что-то необыкновенное, курил, пил коньяк мелкими глотками и опускал глаза.

Наконец заиграли, и вновь ударило меня по сердцу, и завертелось, закружилось, понеслось мимо — и та осень, и зима в Ленинграде, и вся моя жизнь на кораблях, все мечты, разочарования и грусть.

Я вспомнил о своей работе, о бессонных вахтах, о разговорах с друзьями, об опостылевшем море, куда нас опять почему-то тянет — стоит пожить на берегу недели две...

Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на Север — там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно.

И, думая обо всем этом, я поехал от сладкой печали, от любви к жизни, ко всем ее подаркам, все-таки и не очень редким, если припомнить.

— Ты что? — спросил у меня друг.

— Слушай, ты, морской волкодав, — сказал я ему, — я тебе расскажу кое-что, как я сидел на приколе в одном поселке на Кольском, хочешь?

— Валяй! — сказал друг и поерзал, устраиваясь поудобнее. И я рассказал ему о своей тогдашней жизни, как странно мне было напевать там вот эту песенку, — и рассказывать мне было приятно.

Моряки за соседним столиком расплатились, взяли своих девочек и пошли к выходу, мы посмотрели им вслед.

Музыка кончилась, и как-то кончилось для нас одно настроение и началось другое. Нам захотелось домой. Мы допили коньяк и вышли. Маяк на молу мигал. Стоял и светился, как обычно, большой белый пароход, и на нем играла музыка, но совсем другая, чем мы только что слышали, — что-то маршеобразное и громкое.

Мы потолкались по набережной, посмотрели на женщин и пошли в магазин пить вино. Мы взяли сперва по стакану сладкого, оно было клейко и пахло горелым. После него захотелось чего-нибудь кисленького, и мы выпили еще сухого вина.

Друг мой заметно опьянел, настроение у него стало хорошее, он шел, выбрасывая в стороны ноги, и я знал, будь мы в Ленинграде или в Мурманске, сейчас бы поехали куда-нибудь, оттуда опять бы поехали, и было бы все хорошо.

Мы остановились и поглядели друг на друга, что-то такое было в наших лицах и глазах, дьявольски смелое и большое.

— Слушай, — старательно выговаривая, сказал мне друг. — Что должен делать человек? В высшем смысле что он должен делать?

— Работать, наверно, — неуверенно предположил я.

— Это грандиозно! — сказал мой друг. — И мы работаем. И плевать нам в высшем смысле на всякие нежности. Пошли спать... Слушай, сколько нам еще осталось?

— Чего осталось?

— Быть в Ялте.

— Долго еще. Недели две.

— Так... Пошли спать, а завтра поедem в этот... как его?

— Куда?

— Как его?... А! Да черт с ним, куда-нибудь!

СВЕЧЕЧКА

Такая тоска забрала меня вдруг в тот вечер, что не знал я, куда и деваться — хоть вешайся!

Мы были с тобой одни в нашем большом, светлом и теплом доме. А за окнами давно уже стояла ноябрьская тьма, часто порывами налетал ветер, и тогда лес вокруг дома начинал шуметь печальным голым шумом.

Я вышел на крыльцо поглядеть, нет ли дождя...

Дождя не было.

Тогда мы с тобой оделись потеплее и пошли гулять.

Но сначала я хочу сказать тебе о твоей страсти. А страсть тогда была у тебя одна: автомашины! Ты ни о чем не мог думать в те дни, кроме как об автомашинах. Было их у тебя дюжины две — от самого большого деревянного самосвала, в который ты любил садиться, подобрав ноги, и я возил тебя в нем по комнатам, — до крошечной пластмассовой машинки, величиной со спичечный коробок. Ты и спать ложился с машиной и долго катал ее по одеялу и подушке, пока не засыпал...

Так вот, когда вошли мы в аспидную черноту ноябрьского вечера, ты, конечно, крепко держал в руке маленький пластмассовый автомобильчик.

Медленно, еле угадывая во тьме дорожку, пошли мы к воротам. Кусты с обеих сторон, сильно наклонившиеся под тяжестью недавнего снега, который потом растаял, касались наших лиц и рук, и прикосновения эти напоминали уже навсегда невозвратное для нас с тобой время, когда они цвели и были мокры по утрам от росы.

Поравнявшись с другим нашим домом, в котором был гараж, ты вдруг побежал к гаражу и взялся за замок.

— Хочешь кататься на настоящей машине! — сказал ты.

— Что ты, милый! — возразил я. — Теперь поздно, скоро спать... А потом — куда же мы поедем?

— Поедем... поедем... — ты запнулся, перебирая в уме места, куда бы мы могли поехать. — В Москву!

— Ну — в Москву! — сказал я. — Зачем нам Москва? Там шумно, сыро, а потом это ведь так далеко!

— Хочешь далеко! — упрямо возразил ты.

— Ладно, — согласился я, — поедем, но только через три дня. Зато я тебе обещаю: завтра мы поедем с тобой в магазин, а теперь ведь мы вышли просто погулять? Давай руку...

Ты покорно вздохнул и вложил в мою руку свою маленькую теплую ладошку.

Выйдя за ворота и подумавши несколько, пошли мы с тобой направо. Ты шел впереди, весь сосредоточась на своем автомобильчике, и по твоим движениям, смутно различимым в темноте, я догадывался, что ты его катаешь то по одному, то по другому рукаву. Иногда, не выдержав, ты присаживался на корточки и катал свой автомобильчик уже по дороге.

Куда, в какие прекрасные края ехал ты в своем воображении? Я останавливался в ожидании, пока далекая твоя, неведомая мне дорога кончится, когда приедешь ты куда-нибудь и мы пойдем с тобой дальше.

— Слушай, любишь ты позднюю осень? — спросил я у тебя.

— Любишь! — машинально отвечал ты.

— А я не люблю! — сказал я. — Ах, как не люблю я этой темноты, этих ранних сумерек, поздних рассветов и серых дней! Все уведоша, яко трава, все погребихися... Понимаешь ты, о чем я говорю?

— Понимаешь! — тотчас откликнулся ты.

— Эх, малыш, ничего-то ты не понимаешь... Давно ли было лето, давно ли всю ночь зеленовато горела заря, а солнце вставало чуть не в три часа утра? И лето, казалось, будет длиться вечность, а оно все убывало, убывало... Оно прошло, как мгновение, как один удар сердца. Впрочем, мгновенным оно было только для меня. Ведь чем ты старше, тем короче дни и страшнее тьма. А для тебя, может быть, это лето было как целая жизнь?

Но и ранняя осень хороша: тихо светит солнце, по утрам туманы, стекла в доме запотевают — а как горели клены возле нашего дома, какие громадные багряные листья собирали мы с тобой!

А теперь вот и земля черна, и все умерло, и свет ушел, и как же хочется взмолиться: не уходи от меня, ибо горе близко и помочь мне некому! Понимаешь!

Ты молчал, мчался куда-то на своей машине, удаляясь от меня, как звезда. Ты так далеко уехал, что когда нам пришлось свернуть с тобой вбок по дороге и я свернул, но ты не свернул. Я догнал тебя, взял за плечо, повернул, и ты послушно пошел за мной: тебе все равно было, куда идти, ведь ты не шел, ты ехал!

— Впрочем, — продолжал я, — не обращай внимания, это мне просто тоскливо бывает такими ночами. А на самом деле, малыш, все на земле прекрасно — и ноябрь тоже! Ноябрь — как человек, который спит. Что ж, что темно, холодно и мертво — это просто кажется, а на самом деле все живет.

Вот когда-нибудь ты узнаешь, как прекрасно идти под дождем, в сапогах, поздней осенью, как тогда пахнет, и какие мокрые стволы у деревьев, и как хлопотливо перелетают по кустам птицы, оставшиеся у нас зимовать. Погоди, сделаем мы кормушку у тебя под окном, и станут к тебе прилетать разные синички, поползни, дятлы...

— Ну, а то, что деревья сегодня кажутся мертвыми, то это просто от моей тоски, а на самом деле они живы, они спят.

И откуда знать, почему нам так тоскливо в ноябре? Почему так жадно ездим мы на концерты, в гости друг к другу, почему так любим огни, лампы? Может быть, миллион лет назад люди тоже засыпали на зиму, как засыпают теперь медведи, барсуки и ежи, а теперь вот мы не спим?

А в общем, не беда, что темно! Ведь у нас с тобой есть теплый дом и свет, и, вернувшись, мы растопим камин и станем смотреть в огонь...

Вдруг словно мышшь пробежала у меня по рукаву, потом по спине, потом по другому рукаву — это ты ехал уже по моей дубленке и, проехав какое-то воображаемое расстояние, опять побежал впереди.

— Ничего, — заговорил я снова, — скоро ляжет зазимок, станет светлее от снега, и тогда мы с тобой славно покатаемся на санках с горки. Тут рядом с нами есть деревушка Глебово, вот туда мы и будем ходить, там такие хорошие горки — как раз для тебя! И станешь ты надевать шубку и валенки, и без варежек уже нельзя будет выходить на двор, а возвращаться ты будешь весь в снегу и входить в дом румяным с мороза...

Я оглянулся: сквозь голые деревья только один наш дом светил окнами в непроглядной тьме. С соседних дач все давно съехали, и они сиротливо и мертво отражали иногда своими стеклами свет редких неярких фонарей.

— Счастливый ты человек, Алеша, что есть у тебя дом! — вдруг неожиданно для самого себя сказал я. — Это, малыш, понимаешь, хорошо, когда есть у тебя дом, в котором ты вырос. Это уж на всю жизнь... Недаром есть такое выражение: отчий дом! Хотя не знаю, почему, например, не «материнский дом»? Как ты думаешь? Может, потому, что дома испокон веку строили или покупали мужики, мужчины, отцы?

Так вот, милый, у тебя-то есть дом, а у меня... Не было никогда у меня отчего дома, малыш! А где я только не жил! В каких домах только не проходили мои дни — и

в сторожках бакенщиков, и на лесных кордонах, и в таких, где и перегородки-то не до потолка, и в таких, которые топились по-черному, и в хороших старых домах, в которых и фарфор был, и рояли, и камины, и даже — представь себе! — даже в замке пришлось пожить, в самом настоящем замке — средневековом, далеко, во Франции, возле Сан-Рафаэля!

А там, братец ты мой, по углам и на лестницах стояли рыцарские доспехи, по стенам висели мечи и копья, с которыми еще крестоносцы ходили в свои походы, и вместо деревянных полов были каменные плиты, а камин в зале был такой, что быка целого можно в нем зажарить, а рвы кругом какие были, а подъемный мост на цепях, а башни по углам!..

И отовсюду приходилось мне уезжать, чтобы больше уж никогда туда не вернуться... Горько это, сынок, горько, когда нету у тебя отчего дома!

— Вот, знаешь, ехали мы в один прекрасный день на пароходе с приятелем по чудесной реке Оке (погоди, милый, подрастешь ты, и повезу я тебя на Оку, и тогда ты сам увидишь, что это за река!). Так вот, ехали мы с товарищем к нему домой, а не был он дома больше года. До дома его было еще километров пятнадцать, а приятель уж стоял на носу, волновался и все показывал мне, все говорил: вот тут мы с отцом рыбу ловили, а вон там такая-то горка, а вон, видишь, речка впадает, а вон такой-то овраг...

А была весна, разлив, дебаркадеров еще не поставили, и поэтому, когда мы приехали, пароход наш просто ткнулся в берег. И сходни перебросили, и сошли мы на берег, а на берегу уж ждал отец моего приятеля, и тут же лошадь стояла, запряженная в телегу...

Вот ты все мчишься на своей автомашине и не знаешь даже, что куда лучше ехать на телеге или в санях по лесной или полевой дороге — смотришь по сторонам, думаешь о чем-то, и хорошо тебе, потому что чувствуешь всей душой, что все, что вокруг тебя, все это и есть твоя родина!

И взвалили мы все свои чемоданы и рюкзаки на телегу, а сами пошли на изволок, вверх по скату, по весеннему прозрачному лесу, и чем ближе подходили к дому, тем сильнее волновался мой приятель.

Еще бы! Ведь дом этот, малыш, строил дед моего товарища, и отец и мать прожили здесь всю жизнь, и товарищ мой тут родился и вырос.

И как только взошли мы в этот дом, так и пропал мгновенно мой товарищ, побежал по комнатам, побежал здороваться с домом. А и было же с чем здороваться! Ведь дом тот был не чета нашему с тобой и недаром назывался: «Музей-усадьба».

Столько там было милых старых вещей, столько всех этих диванов с погнутыми ножками, резных стульев. Столько прекрасных картин висело по стенам, такие заунывные и радостные пейзажи открывались из окон! А какие разные были там комнаты: светлые, с громадными окнами, узкие, длинные, затененные деревьями и совсем крохотные, с низкими потолками! А какие окна там были — большие, маленькие, с внезапными витражами в верхних фрамугах, с внезапными формами, напоминающими вдруг то фигурные замковые окна, то бойницы... А между комнатами, коридорами, закоулками, площадками — какие шли скрипучие антресоли, лестницы с темными перилами, истертыми ступеньками. И какими, наконец, старыми, приятными запахами пропитана была там каждая вещь, и не понять было — не то пахло чебрецом, сорванным когда-то какой-нибудь романтической мечтательницей, не то старыми книгами, целый век простоявшими в шкафах, пожелтевшими, с сухой кожей и бумагой, не то пахли все эти лестницы, перила, мебель, дубовые балки, истончившийся паркет...

Ты не думай, малыш, что дома и вещи, сделанные человеком, ничего не знают и не помнят, что они не живут, не радуются, не играют в восторге или не плачут от горя.

Как все-таки мало знаем мы о них и как порою равнодушны к ним и даже насмешливы: подумай, старье!

Так и ты уедешь когда-нибудь из отчего дома, и долго будешь в отлучке, и так много увидишь, в таких землях побываешь, станешь совсем другим человеком, много добра и зла узнаешь...

Но вот настанет время, ты вернешься в старый свой дом, вот поднимешься на крыльцо, и сердце твое забьется, в горле ты почувствуешь комок, и глаза у тебя защиплет, и услышишь ты трепетные шаги старой уже твоей матери, — а меня тогда, скорей всего, уж и не будет на этом свете, — и дом примет тебя. Он обвеет тебя знакомыми со младенчества запахами, комнаты его улыбнутся тебе, каждое окно будет манить тебя к себе, в буфете звякнет любимая тобою прежде чашка, и часы особенно звонко пробьют счастливый миг, и дом откроется перед тобою: «Вот мой чердак, вот мои комнаты, вот коридор, где любил ты прятаться... А помнишь ты эти обои, а видишь ты вбитый когда-то тобой в стену гвоздь? Ах, я рад, что ты опять здесь, ничего, что ты теперь такой большой, прости меня, я рос давно, когда строился, а теперь я просто живу, но я помню тебя, я люблю тебя, поживи во мне, возвратись в свое детство — вот что скажет тебе твой дом.

Как жалею я иногда, что родился в Москве, а не в деревне, не в отцовском или дедовском доме. Я бы приезжал туда, возвращался бы в тоске или в радости, как птица возвращается в свое гнездо.

И поверь, малыш, совсем не смешно мне было, когда один мой друг, рассказывая о войне, о том, как он соскакивал с танка, чтобы бежать в атаку, — а был он десанником, — и кругом все кричали: «За Родину!», и он вместе со всеми тоже кричал: «За Родину!», а сам видел в эти, может быть, последние свои секунды на земле не Родину вообще, а отцовский дом и сарай, и сеновал, и огород, и поветь в деревне Лошпенга на берегу Белого моря!

Так, разговаривая о том, о сем, свернули мы с тобой на едва светлевшую аллею в лесу, который полого спускался к крохотной речке Яснушке. Тут стало так темно, что я тебя почти не видел и поймал опять твою нежную руку.

Дойдя до речки, дальше мы не пошли, чтобы не переходить во тьме скользких узеньких мостков.

Внизу едва внятно бежала по камешкам вода. Ветер иногда касался вершин берез и елей, и они начинали отдаленно шуметь. Вдохнув несколько раз горький, сиротский запах мокрой земли и облетевших листьев, я решил закурить — и выпустил твою руку.

Пламя спички показалось мне ослепительным, пока я прикуривал, и несколько секунд после этого плавали перед глазами оранжевые пятна.

Когда же я опустил руку, чтобы тронуть тебя за плечо, снова взялся за твою нежную ладошку и повернуть назад, к дому — тебя не было возле меня!

— Алеша! — позвал я.

Ты не отозвался.

И мгновенно вспомнил я, как часто, заигравшись, ты не откликался, когда тебя звали!

Мгновенно представилась мне солнечная поляна в августе, по которой я чуть не час ползал, срезая рыжики и опята и оглядываясь временами на тебя: где ты? А ты за этот час ни разу не подумал обо мне, не подбежал ко мне — ты ходил по опушке, выискивая самые большие пни, и катал по ним свою машину.

Я помертвел, вообразив, как ты в этой черноте, занятый своим автомобильчиком, все дальше уходишь в лес. И ведь мертвые дачи во всей округе, даже днем души не увидишь нигде!

И что с тобой станет, когда, очнувшись наконец от своей игры где-нибудь далеко в лесу, ты станешь звать меня, исходить в захлебывающемся крике, а я тебя уже не услышу!

Как бросался ты со всех ног к настоящему автомобилю, когда я выезжал из гаража, собираясь ехать в магазин. Как торопливо обрывался ты, не попадая коленками на порог кабины, когда я открывал тебе дверцу. И как потом счастливо стоял всю дорогу на цыпочках, уцепившись побелевшими пальчиками за панель, потому что был ты еще таким маленьким, что, когда садился на сиденье, тебе не было видно дороги впереди. И как упоенно шептал ты изобретенное тобой словечко, когда мы переезжали какую-нибудь трещину в асфальте и слышался сдвоенный мягкий толчок колес:

— Ждаль-ждаль!..

И я подумал с ужасом, что, катая сейчас свою машину по стволам деревьев или по своим рукавам и уходя все дальше от меня, ты в воображении своем, может быть, едешь на настоящей автомашине, слышишь звук мотора, и фары ярко освещают дорогу перед тобой, и светится в кабине панель, и дрожат красные стрелки на ней, и зеленый глазок загадочно горит — до того ли тебе, что тьма вокруг, а я не знаю даже, в какую сторону ты едешь!

Я присел, надеясь снизу увидеть бледное пятно твоего лица, если ты недалеко ушел. Потом зажег спичку, и, загородив ее ладонью от себя, сделал несколько шагов в одну сторону, потом зажег еще, пошел в другую... После неверного, колеблющегося света спички, хватавшего едва ли на два шага, стало как бы еще темнее.

— Алешка! Иди сейчас же ко мне! — звал я тебя то ласково, то строго.

Шумел поверху лес...

— Алеша, пошли домой, мы там свет будем включать и свечи зажжем... — жалко добавил я, вспомнив, как ты любишь зажигать и гасить бесчисленные лампочки в доме, как любишь горящие свечи.

«Папа, поднеси меня, пожалуйста, к выключателю!» — бывало просил ты, подходя, обнимая мои колени, и, закинув вверх голову, счастливо заглядывал мне в лицо.

Я брал тебя на руки, ты упирался пальчиком в кнопку выключателя, щелкал, тут же мгновенно оборачивался, взглядывал на лампу и упоенно выпевал:

«Лампочка голи-ит!»

Но и выключатели и свечи не действовали — ты не откликался.

Тогда мне счастливо пришло в голову последнее средство, и я оживленно-фальшивым голосом громко воскликнул:

— А ну-ка, иди скорей сюда! У меня в кармане есть т а к а я автомашина! Скорей!

И тотчас зашуршали по листве твои торопливые шаги, и ты подбежал ко мне. Острое же зрение было у тебя!

— Хочешь т а к у ю машину! — с торопливой готовностью к новому счастью сказал ты, хватая меня сначала за одну, потом за другую руку.

— Никаких тебе машин! — страдальчески, даже злобно закричал я в ответ и только теперь почувствовал, как обдало меня холодным потом и как колотится мое сердце. — Мерзкий ты мальчишка! Как смеешь ты не откликаться, когда тебя папа зовет!

Но ты еще не верил, что тебя обманули и что новую машину ты не получишь, ты полез мне в карманы...

Ты потрясен был обманом, и как долго пришлось мне, присев на корточки, успокаивать тебя, обнимать, поглаживать по спине и вытирать ладонью твои слезы.

Велико же и младенческое горе!

Домой пришли мы обиженные друг на друга.

— И никакого камина я тебе не растоплю, и никаких свечек тебе не будет, никаких выключателей, и гулять мы с тобой больше никогда не пойдем! — выговаривал я тебе дорогой. — И вообще, не будь ты такой маленький, я бы тут же поставил тебя в угол на целый час! И все бы машины отобрал и запер!

Ты молча бежал впереди меня, не желая со мной разговаривать. Придя домой, я сердито включил телевизор, а ты ходил по столовой и играл сам с собой. (До сих пор простить себе не могу, что, сердясь на тебя, так долго смотрел какую-то скучную передачу!) Ты мог часами играть один, не обращая ни на кого внимания, но в тот вечер ты томился.

Тебе не хотелось быть одному, и ты иногда подходил к телевизору, как бы общаясь ко мне, соединяясь со мной, заранее виновато, но в то же время шаловливо улыбался, пытался нажать какую-нибудь кнопку и тут же укоризненно восклицал, обращаясь сам к себе, заранее зная, что я скажу:

— Алеша, ну зачем ты это делаешь?

Я досадливо отводил тебя рукой, говорил: «Не мешай!» — и ты вздыхал, покорно отходил, катал свою машину по столу и шептал, подражая звуку передних и задних ее колес, когда она переезжала какое-нибудь препятствие:

— Ждаль-ждаль!

Я иногда оглядывался на тебя рассеянно, проверяя, не делаешь ли ты чего-нибудь такого, чего тебе нельзя делать — ведь жизнь твоя состояла из сплошных ограничений: нельзя было стаскивать скатерть со стола, брать спички, рисовать в книгах, да мало ли что еще, всего не перечтешь!

Но вот я взглянул на тебя пристальней, встретил твой какой-то особенный, ожидающий взгляд и увидел твое томление и как бы мечту о чем-то. Звук, ток укоризны и опрошения исходил от тебя, и сердце мое забилося.

— Ну-ну, милый, ладно! — сказал я. — Иди ко мне...

А когда ты подошел, потупившись, с несмело-выжидательной полуулыбкой, я обнял тебя и почему-то тихо сказал тебе на ухо, одновременно с замиранием вдыхая запах твоих волос:

— Хочешь, поиграем вместе?

— Хочешь! — тотчас звонко сказал ты.

— Гм... А во что же мы станем играть? Знаешь что? Иди-ка ты садись у той стены, и мы будем друг к другу катать машину. Ладно?

Как мгновенно преобразился ты, какое счастье переполнило тебя сразу, как кинулся ты опрометью от меня, наклоняясь вперед, будто летя, и, еще не добегая до стены, уже приседая, полуоборачиваясь одновременно, с разбегу упал на четвереньки, потом сел, повернулся ко мне лицом и, — уже придвигаясь задом, прижимаясь к стене спиной, расставляя ноги, чтобы удобнее было ловить машину, с выражением восторга, ожидания, но в то же время и робко еще — не раздумал ли я? — взглянул своими потемневшими, расширившимися от волнения глазами на меня!

Дождавшись, пока ты окончательно устроился и укрепился, я пустил к тебе инерционную машину, и, нежно жужжа, она покатила к тебе через всю столовую. Ты же, пригнувшись до полу, стараясь заглянуть ей под колеса, упиваясь их непостижимым, таинственным вращением, жадно ждал ее, поймал, крепко сжал ее своими короткими пальчиками и уже доверчиво, общнически глядя на меня, засмеялся своим непрерывно льющимся, закатывающимся смехом, который бывает только у таких маленьких, как ты, детей, когда смех журчит и горлышко трепещет не только при выдохе, но и при вдохе...

Отодвинув кресло, к совершенному твоему восторгу, я сел на пол и, так же, как ты, широко расставил ноги. И теперь уже одинаково принадлежащая нам ярко-

красная пожарная машина с тонким своим жужжанием бегала от тебя ко мне и от меня к тебе.

Потом я лежал на полу перед тобой — но ты сидел! — и уже не пускал автомобильчик, а медленно катал его, выделывая самые прихотливые повороты, подражая звуку мотора и сигнала, а ты, весь напрягшись, вытянув шейку, следя за малейшим движением машины, за всеми ее поворотами и разворотами, будто одной своей волей, одним взглядом управляя ею, — только нежно и обожающе произносил иногда своим свирельным голоском, когда автомобильчик переезжал с половицы на половицу:

— Ждаль-ждаль!

И еще одно счастье в этот вечер ожидало тебя, и ты знал об этом!

Когда пришла пора тебе спать, я раздел тебя, уложил в кровать, укрыл одеялом, погасил свет и вышел. Из детской твоей не доносилось ни звука, но я знал; что ты не спишь, дожидаясь последнего за этот день наслаждения. Я знал, что, зарывшись с головой в подушку, затаив дыхание, с бьющимся сердцем, ты ждешь меня, ждешь той захватывающей минуты, когда я приду к тебе со свечкой.

Надо сказать, что у нас с тобой был чудесный подсвечник — мне подарили его в Германии. А представлял он из себя фарфорового добродушного человечка, столбиком стоявшего на медной подставке, — с круглым животом, в камзоле, в коротких панталонах, в белых чулках, с пухлыми щечками и с шандалом на треугольной шляпе.

И вот зажег я свечу в этом подсвечнике, подождал некоторое время, пока она лучше разгорится, а потом медленно, шагами командора, подошел к твоей комнате и остановился перед дверью.

Ну, несомненно же ты слышал мои шаги, знал, зачем я подошел к твоей двери, видел свет свечи в щелочке между дверью и косяком, но терпеливо, весь напрягшись, ждал.

Наконец я торжественно, медленно стукнул тебе в дверь три раза: «Тук! Тук! Тук!» — тотчас услышал стремительный шорох, — ты вскочил, как пружинка, открыл дверь (кровать твоя стояла рядом с дверью) и выговорил нараспев:

— Све-е-ечечка!

Озаренный свечой, ты сиял, светился, глаза твои, цвета весеннего неба, лучились, ушки пламенели, взлохмаченный пух белых волосиков нимбом окружал твою голову, и мне на миг показалось, что ты прозрачен, что не только спереди, но и сзади ты освещен свечой.

«Да ты сам свечечка!» — подумал я и сказал:

— Ну! Давай!

— Это... это... — заторопился ты, трогая пальцем подставку, — подсвечничек!

— Так. Дальше?

— Это животик...

— Э, братец кролик, ты уж не перескакивай, давай по порядку!

— Знаешь, знаешь! — заспешил ты, торопясь поскорее добраться до главного. — Подсвечничек, потом ножки, потом штанишки и уже животик... Потом головка... шапочка...

— Опять пропустил! — напомнил я

— Щечки, носик... — спохватился ты. — Потом шапочка, а это... это... — запнулся ты, не зная, как назвать шандал, укрепленный на треуголке, — это — такая штучка...

И вот наконец главное!

— Све-е-ечечка го-ли-и-ит! — с упоением протянул ты.

— Ну вот, — весело сказал я. — Вот и все. Теперь спать. Гаси свечку и — бай, бай, — хорошо?

Еще несколько секунд глядел ты на огонь свечи своими огромными лучистыми глазами, и на лице твоём промелькнула некая таинственная тень, будто хотел ты ос-

тановить мгновенье, потом лицо твое опять просияло, ты вздохнул легко, дунул на свечку и, восторженно взбрыкнув ногами, бросился головой в подушку.

Укрыв тебя одеялом, погладив пушистые твои волосики, я вышел и стал ходить по столовой.

Я думал о тебе, и мне пришла вдруг на память поздняя осень на Севере и одинокие мои скитания. Однажды я возвращался с охоты вечером, и была такая же тьма, как и сегодня, вдобавок еще дождь моросил, и я заблудился. Отшагал за день я не меньше сорока километров, ружье и рюкзак казались мне до того тяжелыми, что готов был бросить их.

Я уж потерял всякую надежду выйти к жилью, но не это меня угнетало, — хоть кругом на сотни километров были глухие леса! — а угнетало то, что все было мокро, под ногами чавкало, и не было никакой возможности развести костер, отдохнуть и обсушиться.

И вот далеко, как затухающая звезда в космосе, мелькнул мне во тьме желтый огонек. Я пошел на него. Еще не зная, что это — костер ли охотников, окошко ли лесного кордона, — я упорно шел к этому огоньку, скрывавшемуся иногда за стволами деревьев и снова показывавшемуся, и мне сразу стало хорошо: вообразились какие-то люди, разговоры, тепло, свет, жизнь...

И, вспомнив этот давний случай и думая о тебе, я почувствовал вдруг, как мне стало весело, недавнюю тоску мою как рукой сняло, и снова захотелось жить.

Гагра, декабрь 1973

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

Был один из тех летних теплых дней... Мы с товарищем стояли и разговаривали возле нашего дома. Ты же прохаживался возле нас, среди травы и цветов, которые были тебе по плечи, или приседал на корточки, долго разглядывая какую-нибудь хвостинку или травинку, и с лица твоего не сходила неопределенная полуулыбка, которую тщетно пытался я разгадать.

Набегавшись среди кустов орешника, подходил к нам иногда спаниель Чиф. Он останавливался несколько боком к тебе и, по-волчьи выставив плечо, туго повернув шею, скашивал в твою сторону свои кофейные глаза и молил тебя, ждал, чтобы ты ласково взглянул на него. Тогда он мгновенно припал бы на передние лапы, завертел бы коротким хвостом и залился бы заговорщицким лаем. Но ты почему-то боялся Чифа, опасливо обходил его, обнимал меня за колено, закидывал назад голову, заглядывал в лицо мне синими, отражающими небо глазами и произносил радостно, нежно, будто вернувшись издалека:

— Папа!

И я испытывал какое-то даже болезненное наслаждение от прикосновения твоих маленьких рук.

Случайные твои объятия трогали, наверное, и моего товарища, потому что он вдруг замолкал, ерошил пушистые твои волосы и долго, задумчиво созерцал тебя.

Теперь никогда больше не посмотрит он на тебя с нежностью, не заговорит с тобой, потому что его уж нет на свете, а ты, конечно же, не вспомнишь его, как не вспомнишь и многого другого...

Он застрелился поздней осенью, когда выпал первый снег. Но видел ли он этот снег, поглядел ли сквозь стекла веранды на внезапно оглохшую округу? Или он застрелился ночью? И валил ли снег еще с вечера, или земля была черна, когда он приехал на электричке и, как на Голгофу, шел к своему дому?

Ведь первый снег так умиротворяющ, так меланхоличен, так повергает нас в тягучие мирные думы...

И когда, в какую минуту вошла в него эта страшная, как жало, неотступная мысль? А давно, наверное... Ведь говорил же он мне не раз, какие приступы тоски испытывает он ранней весной или поздней осенью, когда живет на даче один, и как ему тогда хочется разом все кончить, застрелиться. Но и то сказать — у кого из нас в минуты тоски не вырываются подобные слова?

А были у него ночи страшные, когда не спалось, и все казалось: лезет кто-то в дом, дышит холодом, замораживает. А это ведь смерть лезла!

— Слушай, дай ты мне, ради бога, патронов! — попросил он однажды. — У меня кончились. Все, понимаешь, чудится по ночам, — ходит кто-то по дому! А везде — тихо, как в гробу... Дашь?

И я дал ему штук шесть патронов.

— Хватит тебе, — сказал я, посмеиваясь, — отстреляться.

А какой работник он был, каким упреком для меня была всегда его жизнь, постоянно бодрая, деятельная. Как ни придешь к нему — и, если летом зайдешь со стороны веранды, — поднимешь глаза на растворенное окно наверху, в мезонине, крикнешь негромко:

— Митя!

— Ау! — тотчас раздастся в ответ, и покажется в окне его лицо, и целую минуту глядит он на тебя затуманенным отсутствующим взором. Потом — слабая улыбка, взмах тонкой руки:

— Я сейчас!

И вот он уже внизу, на веранде, в своем грубом свитере, и кажется, что он особенно глубоко и мерно дышит после работы, и смотришь тогда на него с удовольствием, с завистью, как, бывало, глядишь на бодрую молодую лошадь, все просящую поводьев, все подхватывающую с шага на рысь.

— Да что ты распускаешься! — говорил он мне, когда я болел или хандрил. — Ты бери пример с меня! Я до глубокой осени купаюсь в Яснушке! Что ты все сидишь или лежишь! Встань, займись гимнастикой...

Последний раз видел я его в середине октября. Пришел он ко мне в чудесный солнечный день, как всегда прекрасно одетый, в пушистой кепке. Лицо у него было печально, но разговор у нас начался бодрый — о буддизме почему-то, о том, что пора, пора браться за большие романы, что только в ежедневной работе единственная радость, а работать каждый день можно только тогда, когда пинешь большую вещь...

Я пошел его провожать. Он вдруг заплакал, отворачиваясь.

— Когда я был такой, как твой Алеша, — заговорил он, несколько успокоясь, — мне небо казалось таким высоким, таким синим! Потом оно для меня поблекло, но ведь это от возраста? Ведь оно прежнее? Знаешь, я боюсь Абрамцева! Боюсь, боюсь... Чем дольше я здесь живу, тем больше меня сюда тянет. Но ведь это грешно — так предаваться одному месту? Ты Алешу носил на плечах? А я ведь своих сначала носил, а потом мы все на велосипедах уезжали куда-нибудь в лес, и я все говорил с ними, говорил об Абрамцеве, о здешней радонежской земле — мне так хотелось, чтобы они полюбили ее, ведь, по-настоящему, это же их родина! Ах, посмотри, посмотри скорей, какой клен!

Потом он стал говорить о зимних своих планах. А небо было так сине, так золотисто-густо светились под солнцем кленовые листья! И простились мы с ним особенно дружески, особенно нежно...

А три недели спустя, в Гагре — будто гром грянул для меня! Будто ночной выстрел, прозвучавший в Абрамцеве, летел и летел через всю Россию, пока не достиг

меня на берегу моря. И точно так же, как и теперь, когда я пишу это, било в берег и изрыгало глубинный свой запах море в темноте, далеко направо, изогнутым луком огибая бухту, светилась жемчужная цепочка фонарей...

Тебе исполнилось уж пять лет! Мы сидели с тобой на темном берегу, возле невидимого во тьме прибоя, слушали его гул, слушали влажный щелкающий треск гальки, скатывавшейся назад, вслед за убегавшей волной. Я не знаю, о чем думал ты, потому что ты молчал, а мне воображалось, что я иду в Абрамцево со станции домой, но не той дорогой, какой я обычно ходил. И пропало для меня море, пропали ночные горы, угадываемые только по высоко светящимся огонькам редкие домики, — я шел по булыжной, покрытой первым снегом дороге, и когда оглядывался, то на пепельно-светлом снегу видел свои отчетливые черные следы. Я свернул налево, прошел мимо черного пруда в светлеющих берегах, вошел в темноту елей, повернул направо... Я взглянул прямо перед собой и в тупике улочки увидел его дачу, осененную елями, с полыхающими окнами.

Когда же все-таки это случилось? Вечером? Ночью?

Мне почему-то хотелось, чтобы настал уже неуверенный рассвет в начале ноября, та пора его, когда только по посветлевшему снегу да по проявившимся, выступившим из общей темной массы деревьям догадываешься о близящемся дне.

Вот я подхожу к его дому, отворяю калитку, поднимаюсь по ступеням веранды и вижу...

«Слушай, — спросил он как-то меня, — а дробовой заряд — это сильный заряд? Если стрелять с близкого расстояния?» — «Еще бы! — отвечал я. — Если выстрелить с полуметра по осине, ну, скажем, в руку толщиной, осинку эту как бритвой срежет!»

До сих пор мучит меня мысль — что бы я сделал, увидь я его сидящим на веранде с ружьем со взведенным курком, с разутой ногой? Дернул бы дверь, выбил бы стекло, закричал бы на всю округу? Или в страхе отвел бы взгляд и затаил дух в надежде, что, если его не потревожить, он раздумает, оставит ружье, осторожно, придерживая большим пальцем, спустит курок, глубоко вздохнет, как бы опоминаясь от кошмара, и наденет башмак?

И что бы сделал он, если бы я выбил стекло и заорал, — отбросил бы ружье и кинулся бы с радостью ко мне или — наоборот, с ненавистью взглянув уже мертвыми глазами на меня, поторопился бы дернуть ногой за спусковой крючок? До сих пор душа моя прилетает в тот дом, в ту ночь, к нему, силится слиться с ним, следит за каждым его движением, тщится угадать его мысли — и не может, отступает...

Я знаю, что на дачу он добрался поздно вечером. Что делал он в эти последние свои часы? Прежде всего переоделся, по привычке аккуратно повесил в шкаф свой городской костюм. Потом принес дров, чтобы протопить печь. Ел яблоки. Не думаю, что роковое решение одолело его сразу — какой же самоубийца ест яблоки и готовится топить печь!

Потом он вдруг раздумал топить и лег. Вот тут-то, скорее всего, к нему и пришло это! О чем вспоминал он и вспоминал ли в свои последние минуты? Или только готовился? Плакал ли?..

Потом он вымылся и надел чистое исподнее.

Ружье висело на стене. Он снял его, почувствовал холодную тяжесть, стылость стальных стволов. Цевье послушно легло в левую ладонь. Туго подался под большим пальцем вправо язычок замка. Ружье переломилось в замке, открывши, как два тоннеля, затыльный срез двух своих стволов. И в один из стволов легко, гладко вошел патрон. Мой патрон!

По всему дому горел свет. Зажег свет он и на веранде. Сел на стул, снял с правой ноги башмак. Со звонким в гробовой тишине щелчком взвел курок. Вложил в рот и сжал зубами, ощущая вкус маслянистого холодного металла, стволы...

Да! Но сразу ли сел и снял башмак? Или всю ночь простоял, прижавшись лбом к стеклу, и стекло запотевало от слез? Или ходил по участку, прощаясь с деревьями, с Яснушкой, с небом, со столь любимой своей баней? И сразу ли попал пальцем ноги на нужный спусковой крючок или, по всегдашней неумелости своей, по наивности нажал не на тот крючок и долго потом передыхал, утирая холодный пот и собираясь с новыми силами? И — зажмурился ли перед выстрелом или до последней аспидной вспышки в мозгу глядел широко раскрытыми глазами на что-нибудь?

Нет, не слабость — великая жизненная сила и твердость нужны для того, чтобы оборвать свою жизнь так, как он оборвал!

Но почему, почему? — ищу и не нахожу ответа. Или в этой, такой бодрой, такой деятельной жизни были тайные страдания? Но мало ли страдальцев видим мы вокруг себя! Нет, не это, не это приводит к дулу ружья. Значит, еще с рождения был он отмечен неким роковым знаком? И неужели на каждом из нас стоит неведомая нам печать, предопределяя весь ход нашей жизни?

Душа моя бродит в потемках...

Ну а тогда все мы были живы, и, как я сказал уже, стоял в зените долгий-долгий день, один из тех летних дней, которые, когда мы вспоминаем о них через годы, кажутся нам бесконечными.

Простившись со мной, еще раз взъерошив твои волосы, нежно коснувшись губами, в усах и бородке, твоего лба, от чего тебе стало щекотно и ты залился счастливым смехом, — Митя пошел к себе домой, а мы с тобой взяли большое яблоко и отправились в поход, который, предвкушали еще с утра. Увидев, что мы собрались в дорогу, за нами немедленно увязался Чиф, тут же обогнал нас, едва не сбив тебя с ног, и, трепеща раскинувшимися в воздухе ушами, как бабочка крыльями, высоко и далеко прыгая, скрылся в лесу.

О, какой долгий путь предстоял нам — чуть не целый километр! И какое разнообразие ожидало нас на этом пути, правда отчасти уже знакомом тебе, исхоженном не раз, но разве одно время похоже на другое время, хотя бы даже и один час на другой? То бывало пасмурно, когда мы шли, то солнечно, то росисто, то небо было сплошь заволочено тучами, то порывкивал и перекатывался гром, то накрапывал дождь и бусинки капель унизывали сухие нижние ветки елей, и твои красные сапожки ласково блестели, и тропинка маслянисто темнела, то дул ветер и лопотали осины, шумели вершинами березы и ели, то бывало утро, то полдень, то холодно, то жарко — ни одного дня не было похожего на другой, ни одного часа, ни одного куста, ни дерева — ничего!

На этот раз небо было безоблачно, спокойного бледно-голубого цвета, без той пронзительной синевы, которая рекою льется нам в глаза ранней весной или бьет нам в душу в разрывах низких туч поздней осенью. А на тебе в тот день были коричневые сандалии, желтые носки, красные штанишки и лимонная майка. Коленки твои были поцарапаны, ноги, плечи и руки белыми, а серые с фиштовыми крапинками большие глаза почему-то потемнели и посинели...

Сначала мы пошли в противоположную от ворот сторону, к задней калитке, по тропе, испещренной солнечными пятнами, переступая через еловые корневища, и хвоя мягко пружинила у нас под ногами. Потом ты остановился как вкопанный, озираясь по сторонам. Я тотчас понял, что тебе нужна палка, без которой ты не представлял почему-то себе гуляния, нашел ореховый хлыст, обломал его и дал тебе палку.

Потупившись от радости, что я угадал твое желание, ты взял ее и опять скоро побежал впереди, трогая палкой стволы деревьев, подступавших к тропинке, и высокие, со скрипичными завитками на верхушках, еще мокрые в тени папоротники.

Глядя сверху на мелькающие твои ножки, на нежную шейку с серебристой косичкой, на пушистый хохолок на макушке, я постарался и себя вообразить маленьким, и сразу же воспоминания обступили меня. Но какое бы раннее детство мне не

вспомнилось, всюду я был старше тебя, пока вдруг в лесной просвет слева, в лесной дух, окружавший нас, не кинулся с той стороны долинки, по дну которой текла Яснущка, теплый запах разогретых на солнце лугов.

— Але-ши-ны но-жки... — нараспев, машинально сказал я.

— Бегут по до-ожке... — тотчас послушно откликнулся ты, и по дрогнувшим твоим прозрачным ушкам я понял, что ты улыбнулся.

Да, и я так же бежал когда-то, во тьме времен, и было лето, пекло солнце, и такой же луговой запах гнал душистый ветерок...

Я увидел большое поле где-то под Москвой, которое разделяло, разъединяло собравшихся на этом поле людей. В одной кучке, стоявшей на опушке жиденького березового леска, были почему-то только женщины и дети. Многие женщины плакали, вытирая глаза красными косынками. А на другой стороне поля стояли мужчины, выстроенные в шеренгу. За шеренгой возвышалась насыпь, на которой стояли бурокрасные теплушки, чухающий далеко впереди и выпускающий высокий черный дым паровоз. А перед шеренгой расхаживали люди в гимнастерках.

И моя близорукая мать тоже плакала, беспрестанно вытирала набегающие слезы, щурилась и все спрашивала: «Ты видишь папу, сынок, видишь? Где он, покажи хоть, с какого края он?» — «Вижу!» — отвечал я и действительно видел отца, стоявшего с правого края. И отец видел нас, улыбался, махал иногда рукой, а я не понимал, почему он не подойдет к нам или мы к нему.

Вдруг по нашей толпе пронесся какой-то ток, несколько мальчиков и девочек с узелками в руках несмело выбежали на луговой простор. Торопливо сунув мне тяжелый узелок с бельем и консервными банками, мать подтолкнула меня, крикнув вдогонку: «Беги, сыночек, к папе, отдай ему, поцелуй его, скажи, что мы его ждем!» — и я, уставший уже от жары, от долгого стояния, обрадовался и побежал...

Вместе с другими, мелькая голыми загорелыми коленками, бежал я через поле, и сердце мое колотилось от восторга, что наконец-то отец обнимет меня, возьмет на руки, поцелует и я опять услышу его голос и такой уютный запах табака — ведь так давно я не видел отца, что короткая моя память о нем подернулась как бы пеплом и обернулась жалостью уже к себе за то, что я одинок без его грубых мозолистых ладоней, без его голоса, без его взгляда на себя. Я бежал, поглядывая то себе под ноги, то на отца, у которого я различал уже родинку на виске, и вдруг увидел, что лицо его стало несчастным, и чем ближе я к нему подбегал, тем беспокойней становилось в шеренге, где стоял отец...

Выйдя через калитку в лес, мы повернули направо, в сторону ротонды, которую когда-то начал строить наш сосед, но не достроил, и теперь она дико серела своим бетонным куполом и колоннами среди зелени елово-ольховой чащи, и которую ты любил подолгу, с восхищением рассматривать.

Слева от нас катила по камешкам свои струи крошечная речка Яснущка. Мы ее пока не видели за разросшимися кустами орешника и малины, но знали, что тропинка выведет нас к обрыву под ротондой, под которым медленно кружатся хвоинки и редкие листья в небольшом темном омутке.

Почти отвесными столпами прорывалось к нам солнце, в его свете медово горели волнистые потеки смолы, кровяными каплями вспыхивала там и сям земляника, невесомыми табунками толкалась мошकारа, невидимые в густоте листвы, перекликались птицы, мелькнув в солнечном луче, переметнулась с дерева на дерево белка, и ветка, мгновение назад оставленная ею, закачалась, мир благоухал...

— Смотри, Алеша, белка! Видишь? Вон она, смотрит на тебя...

Ты посмотрел вверх, увидел белку и выронил палку. Ты всегда ее ронял, если тебя вдруг занимало что-то другое. Проводив белку взглядом, пока она не скрылась, ты вспомнил о палке, подобрал ее и снова пустился в путь.

Навстречу нам, по тропе, прыгая так высоко, будто он хотел полететь, выскочил Чиф. Остановившись, он некоторое время созерцал нас своими глубокими длинными, как у газели, глазами, спрашивая: бежать ли ему все вперед, не собираемся ли мы повернуть назад или в сторону? Я безмолвно показал ему на тропинку, по которой мы шли, он понял и опрометью бросился дальше.

Через минуту мы услышали его азартный лай, не передвигавшийся по звуку, а доносившийся из одного места. Значит, он никого не гнал, а что-то нашел и звал нас поскорее прийти.

— Слышишь? — сказал я тебе. — Наш Чиф что-то нашел и зовет нас!

Чтобы тебе не исколоться об елки и побыстрее дойти, я взял тебя на руки. Лай раздавался все ближе, и скоро под огромной прекрасной березой, стоявшей несколько особняком на едко-зеленой, сиреневой и желтой моховой полянке, мы увидели Чифа и услышали не только его лай, но и страстные, задыхающиеся всхлипывания во время вздохов.

Он нашел ежика. Береза стояла метрах в тридцати от тропинки, и я в который раз удивился его чутью. Весь мох вокруг ежика был вытоптан. Завидев нас, Чиф принялся брехать еще пуще. Я поставил тебя на землю, оттащил Чифа за ошейник, и мы присели перед ежиком на корточки.

— Это ежик, — сказал я, — повтори: ежик.

— Ежик... — сказал ты и тронул его палкой. Ежик фукнул и слегка подскочил. Ты отдернул палку, потерял равновесие и сел на мох.

— Ты не бойся, — сказал я, — только его не надо трогать. Вот теперь он свернулся клубком, одни иголки торчат. А когда мы уйдем, он высунет носик и побежит по своим делам. Он тоже гуляет, как и ты... Ему нужно много гулять, потому что он спит целую зиму. Его засыпает снегом, и он спит. Ты помнишь зиму? Помнишь, как мы катали тебя на санках?

Ты улыбнулся загадочно. Господи, чего бы я не отдал, чтобы только узнать, чему ты улыбаешься столь неопределенно наедине с собой или слушая меня! Уж не знаешь ли ты нечто такое, что гораздо важнее всех моих знаний и всего моего опыта?

И я вспомнил тот день, когда приехал за тобой в родильный дом. Ты представлял из себя тогда довольно тяжелый, как мне показалось, тугой и твердый сверток, который нянечка вручила почему-то мне. Я еще не донес тебя до машины, как почувствовал, что внутри свертка — теплое и живое, хоть лицо твое было прикрыто и дыхания твоего я не ощущал.

Дома мы сразу же распеленали тебя. Я ожидал увидеть нечто красное и сморщенное, как всегда пишут о новорожденных, — но никакой красноты и сморщенности не было. Ты сиял белизной, шевелил поразительно тонкими ручками и ножками и важно смотрел на нас большими глазами неопределенного серо-голубого цвета. Ты весь был чудо, и только одно портило твой вид — пластырная наклейка на пупке.

Скоро ты был снова спеленат, накормлен и уложен спать, а мы все пошли на кухню. За чаем разговор начался для женщин упоительный: о подгузниках, о сцеживании молока перед кормежкой, о купании и о прочих столь же важных предметах. Я же все вставал, присаживался возле тебя и подолгу рассматривал твое лицо. И вот когда я пришел к тебе в третий или четвертый раз, я вдруг увидел, что ты улыбаешься во сне и лицо твое трепещет...

Что значила твоя улыбка? Видел ли ты сны? Но какие же сны ты мог видеть, что могло тебе сниться, что мог ты знать, где бродили твои мысли и были ли они у тебя тогда? Но не только улыбка — лицо твое приобрело выражение возвышенного, вещного знания, какие-то облачка пробежали по нему, каждое мгновение оно становилось иным, но общая гармония его не угасала, не изменялась. Никогда во время бодрст-

вованья, — плакал ли ты или смеялся или смотрел молча на разноцветные погрешки, повешенные над твоей кроватью, — не было у тебя такого выражения, какое поразило меня, когда ты спал, а я, затаив дыхание, думал, что же с тобой происходит. «Когда младенцы так улыбаются, — сказала потом моя мать, — это, значит, их ангелы забавляют».

Вот и теперь, сидя над ежиком, на мой вопрос ответил ты неясной своей улыбкой и промолчал, и я так и не понял, помнишь ли ты зиму. А первая твоя зима в Абрамцеве была чудесна! Такой обильный по ночам выпадал снег, а днем так розово сияло солнце, что и небо становилось розовым, и мохнатые от инея березы... Ты выходил на воздух, на снег, в валенках и в шубке, до того толстый, что руки твои в толстых варежках были растопырены. Ты садился в санки, обязательно брал в руку палку, — несколько палок разной длины были прислонены у крыльца, и ты каждый раз выбирал другую, — мы вывозили тебя за ворота, и начиналась упоительная поездка. Чертя палкой по снегу, ты принимался разговаривать сам с собой, с небом, с лесом, с птицами, со скрипом снега под нашими ногами и под полозьями санок, и все тебя слушало и понимало, одни мы не понимали, потому что говорить ты еще не умел. Ты заливался на разные лады, ты булькал и агукал, и все твои ва-ва-ва, и ля-ля-ля, и ю-ю-ю, и уип-тип-уип означали для нас только, что тебе хорошо.

Потом ты замолкал, и мы, оглянувшись, видели, что палка твоя чернеет на дороге далеко позади, а ты, растопырив руки, спишь, и румянец всю горит на твоих тугих щеках. Мы возили тебя час и два, а ты все спал — спал так крепко, что потом, когда мы вносили тебя в дом, разували, раздевали, расстегивали и развязывали, укладывали в кровать, — ты не просыпался...

Наглядевшись на ежика, мы вышли снова на тропинку и скоро подошли к ротонде. Ты первый увидел ее, остановился и, как всегда, с наслаждением выговорил:

— Кака-ая бо'ша-ая, к'аси-ивая башня!

Некоторое время ты смотрел на нее издали, повторяя изумленным тоном, будто видел ее впервые: «Какая ба-ашня!», потом мы подошли, и ты стал по очереди трогать своей палочкой ее колонны. Затем ты перевел взгляд вниз, на маленькое лоно прозрачного омутка, и я тотчас подал тебе руку. Так, рука об руку, мы и спустились осторожно с обрыва к самой воде. Чуть пониже был перекат, и вода там звенела, омутки же казались неподвижны, и течение можно было обнаружить, если долго следить за каким-нибудь плавающим листком, который почти с медленностью минутной стрелки подвигался к перекату. Я сел на поваленную ель и закурил, потому что знал, что сидеть здесь мне придется до тех пор, пока ты не насладишься всеми прелестями омутка.

Выронив палку, ты подошел к очень удобному для тебя корню у самой воды, лег на него грудью и принялся смотреть в воду. Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать по ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку. Миллиметровый кусочек краски, отколупнутый тобою от стены дома, надолго повергал тебя в созерцательное наслаждение. Жизнь, существование пчел, мух, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок и птиц. Какая же бесконечность, какая неисчислимость открывалась тебе на дне омутка, когда ты, лежа на корне, приблизив лицо почти к самой воде, разглядывал это дно! Сколько там было крупных и мелких песчинок, сколько камешков всевозможных оттенков, какой нежнейший зеленый пух покрывал крупные камни, сколько там было прозрачных мальков, то застывавших неподвижно, то разом брызгающих в сторону, и сколько вообще микроскопических предметов, видимых только твоим глазом!

— П'авают 'ыбки... — сообщил ты мне через минуту.

— А-а, — сказал я, подходя и присаживаясь возле тебя, — значит, не ушли еще в большую речку? Это такие маленькие рыбки, мальки...

— Майки... — радостно согласился ты.

Вода в омутке была столь прозрачна, что только синева неба и верхушки деревьев, отраженные в ней, делали ее видимой. Ты, перевесившись через корень, зачерпнул со дна горсточку камешков. Облачко мельчайших песчинок образовалось возле дна и, подержавшись немного, опало. Ты бросил камушки в воду, отражения деревьев заколебались, и по тому, как торопливо ты стал подниматься, я понял, что ты вспомнил о любимом своем занятии. Для тебя настало время бросать камни.

Я опять сел на поваленное дерево, а ты выбрал камень покрупнее, любовно оглядел его со всех сторон, подошел к самой воде и бросил его на середину омутки. Взлетели брызги, окруженный волнистыми струями воздуха, камень глухо тукнул о дно, а по воде пошли круги. Насладившись видом взволнованной воды, брызгами, стуком камня, плеском воды, ты дождался, пока все успокоится, взял еще камень и, как в первый раз, оглядев его, опять бросил...

Так ты бросал и бросал, любуясь всплесками и волнами, а мир вокруг был тих и прекрасен — не доносилось шума электрички, не пролетел ни один самолет, никто не проходил мимо нас, никто нас не видел. Один Чиф изредка появлялся то с той, то с другой стороны, высунув язык, с плеском вбегал в речку, шумно лакал и, вопросительно поглядев на нас, опять исчезал.

На плечо тебе сел комар, ты долго не замечал его, потом согнал комара, сморщился и подошел ко мне.

— Комаик кусил... — сказал ты, морщась.

Я почесал тебе плечо, подул на него, похлопал.

— Ну? Что будем теперь делать? Еще побросаешь или пойдем дальше?

— Пойдем дайше, — решил ты.

Я взял тебя на руки, перешел через Яснушку. Нам нужно было пересечь потную долинку, вдоль которой тянулась сплошная кипень медуницы. Белые шапки ее, казалось, плавилась на солнце, струились и были наполнены счастливым гудением пчел.

Тропинка начала подниматься — сначала среди ельника и лещины, потом между дубов и берез, пока не вывела нас на большой луг, окаймленный справа лесом, а слева переходящий в волнистое поле. Мы поднимались, уже по лугу, все выше, пока не взойшли на его вершину, и нам стало далеко видно, открылся горизонт с еле заметными черточками антенн вдали, с тонкой дымкой над невидимым Загорском. На лугу уже начался сенокос, и хоть сено было еще в валках, но еле уловимый ветерок уже гнал над землей вянувший запах. Мы с тобой сели в еще не кошенной траве и цветах, и я утонул в них по плечи, ты же ушел в них с головой, и над тобой было одно небо. Я вспомнил о яблоке, достал его из кармана, до блеска вытер о траву и дал тебе. Ты взял обеими руками и сразу откусил, и след от укуса был подобен беличьему.

Кругом нас простиралась одна из древнейших русских земель — земля радонежская, тихое удельное княжество Московской земли. Над краем поля, высоко, плавными медленными кругами ходили два коршуна. Ничего нам с тобой не досталось от прошлого, сама земля переменялась, деревни и леса, и Радонеж пропал, будто его и не было, одна память о нем осталась, да вон те два коршуна ходят кругами, как и тысячу лет назад, да, может быть, Яснушка течет все тем же руслом...

Ты доедал яблоко, но мысли твои, я видел, были далеко. Ты тоже заметил коршунов и долго следил за ними, бабочки пролетали над тобой, некоторые из них, привлеченные красным цветом твоих штанишек, пытались сесть на них, но тут же взмывали, и ты провожал взглядом их восхитительный полет. Ты говорил мало и коротко, но по лицу твоему глазам видно было, что думаешь ты постоянно. Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!

Нет, благословен, прекрасен был наш мир! Не рвались бомбы, не горели города и деревни, трупные мухи не вились над валяющимися на дорогах детьми, не окостеневали они от холода, не ходили в лохмотьях, кишасших паразитами, не жили в развалинах и во всяческих норках, подобно диким зверям. Лились и теперь детские слезы, лились, но совсем, совсем по другому поводу... Это ли не блаженство, это ли не счастье!

Я опять огляделся и подумал, что этот день, эти облака, на которые в нашем краю в ту минуту, может быть, никто не смотрел, кроме нас с тобой, эта лесная речка внизу и камушки на дне ее, брошенные твоей рукой, и чистые струи, обтекающие их, этот полевой воздух, эта белая набитая тропа в поле, между стенками овса, уже подернутого голубовато-серебристой изморозью, и как всегда, красивая издали деревенька, дрожащий горизонт за нею, — этот день, как и некоторые другие прекраснейшие дни моей жизни, останется во мне навсегда. Но вспомнишь ли этот день ты? Обратишь ли ты когда-нибудь свой взор далеко, глубоко назад, почувствуешь ли, что прожитых лет как бы и не было и ты опять крошечный мальчик, бегущий по плечи в цветах, вспугивающий бабочек? Неужели, неужели не вспомнишь ты себя и меня и солнце, жарко пекущее тебе плечи, этот вкус, этот звук неправдоподобно длинного летнего дня?

Куда же это все канет, по какому странному закону отсечется, покроется мглой небытия, куда исчезнет это самое счастливое ослепительное время начала жизни, время нежнейшего младенчества?

Я даже руками всплеснул в отчаянии от мысли, что самое великое время, то время, когда рождается человек, закрывается от нас некоей пеленой. Вот и ты! Ты уже так много знал, уже приобрел характер, привычки, научился говорить, а еще лучше понимать речь, у тебя уже есть любимое и нелюбимое...

Но кого ни спросишь — все помнят себя с пяти-шести лет. А раньше? Или все-таки не все забывается и иногда приходит к нам, как мгновенная вспышка, из самого раннего детства, от истока дней? Разве не испытывал почти каждый, как, увидев что-то, вовсе даже неяркое, обыкновенное, лужу какую-нибудь на осенней дороге, услышав некий звук или запах, поразишься вдруг напряженной мыслью: это было уже со мной, это я видел, пережил! Когда, где? И в этой ли жизни или в жизни совсем другой? И долго силишься вспомнить, поймать мгновенье в прошлом — и не можешь.

Наступило время твоего дневного сна, и мы пошли домой. Чиф давно прибежал, умял себе в густой траве ямку и, растянувшись, спал, подрагивая во сне лапами.

В доме было тихо. Яркие квадраты солнца лежали на полах. Пока я раздевал тебя в твоей комнате и натягивал на тебя пижамку, ты успел вспомнить обо всем, что видел в этот день. В конце нашего разговора ты два откровенно зевнул. Уложив тебя в постель, я пошел к себе. По-моему, ты успел заснуть прежде, чем я вышел. Я сел у открытого окна, закурил и принялся думать о тебе. Я представлял твою будущую жизнь, но, странно, мне не хотелось видеть тебя взрослым, бреющим бороду, ухаживающим за девушками, курящим сигареты... Мне хотелось как можно дольше видеть тебя маленьким — не таким, каким ты был тогда, в то лето, а, скажем, десятилетним. В какие только путешествия не пускались мы с тобой, чем только не увлекались!

Потом из будущего я возвращался в настоящее и опять с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка! Что царствие божие принадлежит тебе! Не теперь сказаны эти слова, но, значит, и тысячи лет назад ощущалось загадочное превосходство детей? Что же возвышало их над нами? Невинность или некое высшее знание, пропадающее с возрастом?

Так прошло более часу, и солнце заметно передвинулось, тени удлинились, когда ты заплакал.

Я ткнул папиросу в пепельницу и прошел к тебе, думая, что ты проснулся и тебе что-нибудь нужно.

Но ты спал, подобрав коленки. Слезы твои текли так обильно, что подушка быстро намокала. Ты всхлипывал горько, с отчаянной безнадежностью. Совсем не так ты плакал, когда ушибался или капризничал. Тогда ты просто ревел. А теперь — будто оплакивал что-то навсегда ушедшее. Ты задыхался от рыданий, и голос твой изменился!

Сны — всего лишь сумбурное отображение действительности? Но если так, какая же действительность тебе снилась? Что ты видел кроме наших внимательных, нежных глаз, кроме наших улыбок, кроме игрушек, солнца, луны и звезд? Что слышал ты, кроме звуков воды, шелестящего леса, пения птиц, убаюкивающего шума дождя по крыше и колыбельной матери? Что успел узнать ты на свете, кроме тихого счастья жизни, чтобы так горько плакать во сне? Ты не страдал и не жалел о прошлом, и страх смерти был тебе неведом! Что же тебе снилось? Или у нас уже в младенчестве скорбит душа, страшись предстоящих страданий?

Я осторожно принялся будить тебя, похлопывая по плечу, глядя твои волосы.

— Сынок, проснись, милый, — говорил я, слегка тормоша тебя за руку. — Вставай, вставай, Алеша! Алеша! Вставай...

Ты проснулся, быстро сел и протянул ко мне руки. Я поднял тебя, прижал крепко и, нарочито бодрым голосом приговаривая: «Ну, что ты, что ты! Это тебе приснилось, погляди, какое солнышко!» — стал раздвигать, откидывать на стороны занавески.

Комната озарилась светом, но ты все плакал, уткнувши лицо мне в плечо, прерывисто набирая в грудь воздух и так крепко вцепившись пальцами мне в шею, что мне больно стало.

— Сейчас обедать будем... Смотри, какая птица полетела... А где наш беленький пушистый Васька? Алеша! Ну, Алешка, милый, не бойся ничего, все прошло... Кто это там идет, не мама ли? — я говорил что попало, стараясь развлечь тебя.

Постепенно ты стал успокаиваться. Рот твой еще страдальчески кривился, но улыбка уже пробивалась на лице. Наконец ты просиял и засветился, увидев любимый тобою, висящий на окне крошечный обливной кувшинчик, нежно выговорил, наслаждаясь одним только этим словом:

— Куинчи-ик...

Ты потянулся к нему, не сделал попытки схватить его, как хватают обычно дети любимую игрушку, — нет, ты смотрел на него омытыми слезами и от этого особенно чистыми глазами, упиваясь его формой и расписной глазурью.

Умыв тебя, обвязав салфеткой, усадив за стол, я вдруг понял, что с тобой что-то произошло: ты не стучал ножкой по столу, не смеялся, не говорил «скорей!» — ты смотрел на меня серьезно, пристально и молчал! Я чувствовал, как ты уходишь от меня, душа твоя, слитая до сих пор с моей, — теперь далеко и с каждым годом будет все отдаляться, отдаляться, что ты уже не я, не мое продолжение и моей душе никогда не догнать тебя, ты уйдешь навсегда. В твоём глубоком, недетском взгляде видел я твою, покидающую меня душу, она смотрела на меня с состраданием, она прощалась со мною навеки!

Я тянулся за тобою, спешил, чтобы быть хоть поблизости, я видел, что я отстаю, что моя жизнь несет меня в прежнюю сторону, тогда как ты отныне пошел своей дорогой.

Такое отчаяние охватило меня, такое горе! Но хриплым, слабым голосом звучала во мне и надежда, что души наши когда-нибудь опять сольются, чтобы уже никогда не разлучаться. Да! Но где, когда это будет?

Впору, братец ты мой, было и мне заплакать...

А было тебе в то лето полтора года.